

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством

Отделения историко-филологических наук РАН

3

МАЙ – ИЮНЬ

А.А. Зализняк, В.Л. Янин (Москва). Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г.	3
Г.А. Золотова (Москва). О возможностях грамматической науки	14
И.А. Секерина (Нью-Йорк). Метод вызванных потенциалов мозга в экспериментальной психолингвистике.....	22
А.И. Солопов (Москва). Топонимы с элементами Augusta, Σεβαστή, Σεβαστεία, Σεβαστόπολις, Αὐγουστόπολις в греко-латинской географической номенклатуре	46
В. Брой (Констанц). Флективный и деривационный глагольный вид в молизско-славянском языке	70
Н.Ш. Александрова (Берлин). Родной язык, иностранный язык и языковые феномены, у которых нет названия.....	88
Е.М. Верещагин (Москва). “Повесть о Светомире” Вячеслава Иванова в прочтении рассказной погласицей	101

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

В.Г. Кузнецов (Москва). Ф. де Соссюр и А. Сеше. Место работы А. Сеше “Программа и методы теоретической лингвистики” в истории языкознания	117
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М.В. Всеволодова (Москва). <i>О.Н. Селиверстова</i> . Труды по семантике	130
Е.В. Вельмезова (Москва). <i>М.А. Робинсон</i> . Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов)	135
Т.Б. Агранат (Москва). <i>Е.Ю. Протасова</i> . Феннороссы: жизнь и употребление языка	139
Т.А. Майсак (Москва). <i>Ö. Dahl</i> . The growth and maintenance of linguistic complexity	143
О.М. Мазо (Москва). <i>B. Zeisler</i> . Relative tense and aspectual values in Tibetan languages: a comparative study	147
О.В. Федорова (Москва). Deixis and demonstratives in Oceanic languages	151
И.С. Аксенова, И.Н. Топорова (Москва). <i>J. Cammenga</i> . Phonology and morphology of Ekegusii. A Bantu language of Kenya. <i>J. Cammenga</i> . Igikuria phonology and morphology. A Bantu language of South-West Kenya and North-West Tanzania	155

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

Г.В. Глинских, М.А. Грачев (Нижний Новгород). Международная конференция “Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка – IV)”	158
---	-----

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко,

В.А. Виноградов (зам. главного редактора), Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков,

В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский,

Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик (зам. главного редактора), М.М. Маковский, А.М. Молдован,

Т.М. Николаева (главный редактор), В.А. Плунгян (отв. секретарь), Е.В. Рахилина

Зав. отделами: М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова

Зав. редакцией Н.В. Ганнус

Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2,

Институт русского языка им. В.В. Виноградова

Редакция журнала “Вопросы языкознания”

Тел. 201-25-16

© 2006 г. А. А. ЗАЛИЗНЯК, В. Л. ЯНИН

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ ИЗ НОВГОРОДСКИХ РАСКОПОК 2005 г.*

Статья представляет собой предварительную публикацию берестяных грамот, найденных в Новгороде в археологическом сезоне 2005 г.

Новгородские раскопки 2005 года принесли, как и в прошлом археологическом сезоне, небольшое число новых берестяных грамот — всего три. Но две из них — это целые, относительно большие документы, представляющие чрезвычайный интерес как для историков, так и для лингвистов.

В 2005 году на новгородском Троицком раскопе продолжались работы на 13-м участке (руководитель работ А. Н. Сорокин) и на 14-м участке (руководитель работ А. М. Степанов). На 13-м участке пройдены напластования первой половины XII века и найдена грамота № 954. На 14-м участке пройдены напластования середины — второй половины XII века и найдены грамоты № 955 и 956.

Принципы записи текста и комментирования — такие же, как в предшествующих публикациях данной серии. Указанные при грамотах стратиграфические датировки носят предварительный характер.

Грамота № 954. Троицкий раскоп. Целый документ из семи строк.

Предварительная стратиграфическая оценка: первая половина XII века. Внестратиграфическая оценка: предпочтительно первая четверть XII века.

грамота · ѿ жирѡуѣка и ѿ тѣшѣка
къ в[ѣ]дѣвиноу · мави шильцевѣ [·] цѣ
моу пошибаеши свинѣ ѡужѣ · а п[ѣ]
нес]ла нѣдрѣка · а еси посоромилъ ко
нѣцъ вѣхъ людинѣ · со оного ꙗꙋ
грамата · про кѣни же та бѣ оже ѣ
си тако сѣтворилъ

К сожалению, в нескольких точках буквы читаются ненадежно. Так, в строке 2 возможно также чтение в[ѣ]дѣвиноу вместо в[ѣ]дѣвиноу, в строке 3 — а п[ѣ] вместо а п[ѣ]. В строке 4 начальное н написано поверх и (или наоборот), так что выбирать между н и и приходится по смыслу. Следующие две буквы (очень похожие друг на друга) скорее следует интерпретировать как се, чем как ес. Поскольку, однако, последовательности аѣнсеа, аѣнсеа, аѣнсеа, аѣнсеа не допускают никакой приемлемой интерпретации, следует предполагать, что автор все же имел в виду а ꙗнесеа (= а понесеа), хотя, возможно, при записи по ошибке переставил буквы е и с.

Отрезок нѣдрѣка, по-видимому, невозможно истолковать иначе, чем прозвище Ноздрѣка, записанное с пропуском буквы з. Это уменьшительное от ноздря, вариант к про-

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФНФ (проект № 03-04-00109а) и INTAS (проект № 03-51-3867). Экспедиционные работы в Новгороде поддержаны проектом РФНФ № 05-01-18091е.

вищу *Ноздрьца* (*Ноздрьча*), которое носил новгородец, живший в Неревском конце и упоминаемый в НПЛ под 1118 г., после того как его дом был разграблен во время некоего внутригородского конфликта (см. подробнее ниже). Судя по времени, к которому относится грамота № 954, женщина по прозвищу Ноздрька могла быть какой-то его родственницей.

Заметим еще, что над буквами *ѣд* в слове *Нѣдрька* усматриваются слабые следы, похожие на букву *з*, так что не исключено, что автор вписал здесь пропущенную букву над строкой; но это ненадежно. Такое же положение со словом *еси*, над которым, возможно, было надписано слово *се*, ныне едва угадываемое.

К счастью, для понимания текста эти неясности большого значения не имеют. Они сводятся в сущности лишь к тому, исправил ли сам писавший свои пропуски и ошибки.

Не соответствует обычным нормам порядок слов в словосочетании *а еси посоромилъ*. Возможно, автор просто пропустил слово *се* (как уже отмечено, может быть, он даже пытался это слово надписать); фраза *а се еси посоромилъ* была бы уже вполне синтаксически правильна. Другие возможности объяснения состоят в том, что сочетание *а еси* образует здесь проклитико-энклитическую тактовую группу (см. [Зализняк 1985, § 2.4]) или что словоформа *еси* несет здесь эмфазу ('ты и в самом деле...'), которая превращает ее в акцентно самостоятельную. Для решения вопроса о том, допускал ли древнерусский язык проклитико-энклитические группы такой структуры, необходимо накопление дополнительного материала.

Неясно окончание *-и* (вместо ожидаемого *-ѣ*) в В. мн. *про к(о)ни*: это может быть либо эффект фонетического перехода конечного *ѣ* в *и*, либо аналогический перенос окончания И. мн. в В. мн. И то и другое явление в истории древненовгородского диалекта известно, но лишь в более позднюю эпоху. По-видимому, для выяснения этого вопроса тоже придется ожидать появления дополнительного материала.

Колебание между *грамота* и *грамата* — не ошибка: *грамата* есть старый вариант этого заимствованного слова, ср. *Къснатина грамата* в берестяной грамоте № 397.

Написание *млви* — не встречавшийся ранее в берестяных грамотах (но изредка представленный в рукописях) вариант записи сочетания типа *ТылТ*. Ныне в берестяных грамотах отмечены уже все теоретически возможные варианты реализации слогового *л*: *мльви*, *мьлви*, *мльви* и *млви*.

Специфическая древненовгородская словоформа В. ед. муж. *въхъ* 'весь' — ценнейшее подтверждение гипотезы о том, что здесь еще до падения редуцированных произошло ассимилятивное изменение корневого *ь* в *ѣ*. До сих пор мы располагали на этот счет только свидетельством грамоты № 806 — менее показательным, поскольку эта грамота, во-первых, очень сильно повреждена (она состоит из разрозненных фрагментов), во-вторых, относится к несколько более позднему времени (60-м – 80-м гг. XII в.). В грамоте № 954 словоформа *въхъ* выступает в полностью сохранным и не вызывающем никаких сомнений контексте.

Примечательно, что этой диалектной древненовгородской формы (как и формы *млви*) автор не сумел избежать, хотя он явно старался писать официальным языком: это видно из того, что он употребляет наддиалектное окончание *-ѣ*, а не новгородское *-е* в *посоромилъ* и *сътворилъ* (этим же стремлением, вероятно, объясняется и употребление аориста *бысть*).

Окончание *-ѣ* (а не *-ѣ*) в В. ед. муж. *Людинъ* — отражение древнейшего варианта данного наименования; ср. *Людинъ коньѣ* в Синод. НПЛ под 1220 г., *съ Людинемъ концемъ* под 1218 г., также *Людинъ конѣ* в Комисс. НПЛ под 1194, 1425, 1433 гг.

Фраза с *цемоу* ('почему?') лишь по форме является вопросом. Реально это вполне обычная для древнерусских источников форма выражения обвинений или юридических претензий. Ср. в НПЛ: *чему хотель еси сести Переяслави* (под 1136 г.); *чему еси отьяль Волховъ гогольными ловци* (под 1270 г.); *чему взялъ еси Олексинъ дворъ Морткинича*

(там же); *чему поймае еси серебро ѿ Микифорѣ Манускиничи (там же); а иное, чему выводишь отъ насъ иноземца (там же)*. Также в берестяных грамотах: *цому молотиши безъ нашихъ сиротъ; а намъ в землѣ половина а верьши часть* (в № 755); *цѣмоу, брате, -- Ба не бѣишися* (в № 548); *цему ма еси погубилъ* (в № 272) и др.

Для *понести* здесь следует предполагать значение ‘заявить (о чем-то порочащем человека)’, ‘разнести (дурную славу)’, ‘опозорить’. Хотя в словарях такое значение прямо не отражено, оно легко выводится из хорошо засвидетельствованных *поносити* ‘ругать, позорить, поносить’, *поношение* ‘позор, поношение’. Близки по значению также *донести* ‘сообщить о преступлении, проступке’, *проносити* ‘разносить (дурную славу)”; ср. *а нинече проноситеа ѿ Коряка* в берестяной грамоте № 538.

Общий смысл документа достаточно ясен: авторы Жирочко и Тешко поручают некоему Вдовину предъявить человеку по прозвищу Шильце обвинение в том, что он “пошибает” чужих свиней. Основанием для этого послужили рассказы некоей Ноздрьки. Это дело означает позор для всего Людина конца, поскольку оно приобрело общегородскую огласку — с Торговой стороны пришла грамота, где сообщается, что то же самое Шильце проделал и с конями.

Шильце — несомненно житель Людина конца. Но к Людину концу, очевидно, принадлежат также и авторы документа, и его непосредственный адресат Вдовин. В авторах естественно видеть представителей администрации Людина конца, в адресате — администратора более низкого ранга, например, уличанского старосту.

Если Ноздрька действительно родственница летописного Ноздрьцы (Ноздрьчи), то она жила в Неревском конце; это значит, что обвинения против Шильца поступили сразу с двух других (чужих) концов города — Неревского и Славенского.

Наиболее сложный вопрос состоит в том, что в точности означает в данном случае словоформа *пошибаеши*.

Самым общим значением глагола *пошибати*, если судить просто по входящим в его состав его морфемам, должно было быть ‘наносить удар, ушиб’, ‘ушибать, подшибать’. В памятниках такое значение отмечено только применительно к удару молнии (см. [Слов. XI–XVII, 18: 84], статья *пошибити*, знач. 1)¹. Сюда же примыкает древнерусское *пошибении* в переносном смысле: ‘безумный, лишенный рассудка’ (характер переносного значения здесь такой же, как в современном разговорном *ушибленный*).

Древнерусское *пошибати* известно в первую очередь из уставов Владимира и Ярослава о церковных судах и из новгородской договорной грамоты 1190-х гг. Контексты таковы: *аще кто пошибаетъ боярьскую дочь или боярьскую жену* (Устав Ярослава, ст. 3; в одном из списков в совершенном виде: *а кто пошибеѣ женѣ боярскѣ*; см. [Княж. уставы: 92 и др., 104]), *оже пошибаетъ мужеску жену либо дочь* [ГВНП, № 28] — в обоих случаях следует указание о размере штрафа за это преступление. В уставе Владимира в список преступлений, подлежащих церковному суду, входит *пошибание* (в части списков *пошибение*; см. [Княж. уставы: 15 и др., 67]) — в составе группы, начинающей весь список: *ропсуты, смильное заставание, умыканіе, пошибание*.

Все словари — Срезн., Слов. XI–XVII, СДРЯ — переводят *пошибати* в этих контекстах как ‘(из)насиловать’; при этом, правда, СДРЯ помечает данный перевод знаком «?». Сомнение здесь связано с тем, что в уставе Ярослава есть также и термин *насилити*: *аще кто оумчитъ дѣвку или насилитъ* (ст. 2, см. [Княж. уставы: 91 и др.]; отметим, что размер штрафа за причиненный *соромъ*, указываемый в статье с глаголом *пошибати* и в статье с глаголом *насилити*, в точности одинаков). Весьма важен здесь латинский пере-

¹ Но сюда не относится глагол совершенного вида *пошибати* ‘нанести удары многим’, построенного так же, как *побросать* (всё, многое), *поубивать* (всех, многих) и т. п., который выступает во фразе из Жития Стефана Пермского: *воеводы нѣсѣтъ, иже бы их порокомъ духовнымъ пошибать и разнать* ([Слов. XI–XVII, 18: 84], статья *пошибати*, знач. 1; к сожалению, в этой статье ошибочно объединены глаголы разного вида: “значением 1” назван глагол совершенного вида, “значением 2” — несовершенного).

вод уставов Владимира и Ярослава, сохранившийся в списках XVIII в. [Княж. уставы: 60–62, 125–127]. Слову *пошибание* (из устава Владимира) здесь соответствует *stuprum* 'бесчестье, позор, срам, разврат'; слову *пошибаеть* (из устава Ярослава) — *vitiaverit* (от *vitiare* [virginem] 'осквернять, бесчестить'); слову *насилить* (из устава Ярослава) — *stupraverit* (от *stuprare* 'осквернять, бесчестить, позорить', т. е. практически то же, что *vitiare*). В особенности существенно то, что в переводах слова *пошибание* и слова *насилить* выступает одна и та же основа *stupr-*. Таким образом, глаголы *насилить* и *пошибать* либо обозначали просто одно и то же, либо различались лишь какой-то деталью².

Другой круг данных здесь составляют показания современных говоров. Из многочисленных значений, которые может иметь в говорах глагол *пошибать* и его производные (см. [СРНГ, 31: 31–32]), для нас представляют интерес прежде всего те, где объектом действия могут быть домашние животные, а именно:

пошибать, знач. 9: 'испортить, изуродовать, искалечить'. *Вот тут он (бедняк) и заревел, пошиб коня*. Арх.; знач. 6: 'уничтожать, убивать'. *Зверь пошиб собаку. Пошибали зверье лошадей*. Смол.;

пошибка, знач. 1: 'инфекционная болезнь домашних животных'; 'эпизоотия'. Перм., Тобол.; знач. 2: 'болезнь, порча, напускаемая колдуном'. Перм.

Какое же из всех этих значений следует предполагать для грамоты № 954?

Наименее вероятно первичное значение глагола *пошибать* — 'ударять, ушибать': столь незначительная провинность не могла быть причиной позора для всего Людина конца.

Ущерб, который Шильде наносил чужим свиньям и коням, был явно более серьезным. Следует полагать, что он их как-то "портил" (и именно как "портишь" уместно переводить спорное слово *пошибаеши*); но конкретный смысл этой порчи мог быть различным. Это могла быть зоофилия; статьи, предусматривающие данный вид преступления, имеются во многих древнерусских уставах, в частности, в уставах Владимира и Ярослава; и такое поведение действительно могло быть позором для целого квартала. Но это могла быть и порча, напускаемая на скот колдовством — сглазом, наговором и т. п.³ Это был, вероятно, еще больший позор и вместе с тем источник тревоги и страха. Самым сильным аргументом в пользу этого последнего решения является диалектное *пошибка*, приведенное выше. Сам факт, что эпизоотия до сих пор называется термином *пошибка*, т. е. наведенная кем-то порча, ярче всего свидетельствует о том, что народное сознание в случае падежа скота немедленно начинало искать конкретного виновника.

Итак, можно предложить для грамоты № 954 следующий перевод: 'Грамота от Жирочка и от Тешка к Вдовину. Скажи Шильцу: «Зачем ты портишь чужих свиней? А разнесла [это] Ноздрька. Ты осрамил весь Людин конец: с того берега грамота. Она была про коней — что ты с ними то же сотворил!»'.

В отношении этого необычного по содержанию документа возникает гипотеза о возможной связи отразившихся в нем событий с теми, что отмечены в новгородской летописи под 1115 и 1118 годами.

² Одна из возможных гипотез состоит здесь в том, что статья 3 устава Ярослава первоначально касалась только посягательства на замужнюю женщину (как она и читается в некоторых списках, см. [Княж. уставы: 104, 126]). Если это так, то различие между *насилить* и *пошибать* лишь в том, что первое относится к девице, а второе к замужней женщине. Согласно другому предположению, *насилить* означало реальное насилие, а *пошибать* — соблазнение; при этой версии зоофилическая интерпретация фразы *пошибаеши свинь цюжь* отпадает.

³ В связи с этим Р. Факкани указал также на следующий важный факт: слово *vitiare*, использованное в латинском переводе княжеских уставов в качестве переводного эквивалента для *пошибать*, фигурирует во фразе Плиния Старшего (*Naturalis Historia*, XXVIII, 32): *Idem gallinarum incubitus, pecorum fetus vitiant* 'они же (речь идет о знахарях-колдунах) портят выводки кур и зародыши скота (т. е. делают так, чтобы у скота были выкидыши)'. Тем самым перевод слова *пошибать* глаголом *vitiare* можно расценивать как дополнительное указание на то, что *пошибать* среди прочих значений допускало значение 'портить (колдовством и т. п.) скот'.

Под 1115 г. НПЛ сообщает: *а Новгородѣ измѣроша коня вса у Мстислава и у дружины его*. Поскольку грамота № 954 относится именно к этому периоду, допустимо предположить, что обвинение в “пошибании” коней, поступившее с Торговой стороны, связано именно с этим событием. Из текста грамоты можно заключить, что одновременно с падежом коней в Новгороде наблюдался и падеж свиней. Незаурядность этого события и посрамление Ноздрькой “всего Людина конца” не могли не привести к ответным действиям опозоренных людинцев. Возможно, именно об этих действиях мы узнаем из летописного сообщения 1118 г. К этому времени Владимир Мономах отозвал из Новгорода Мстислава, который передал стол своему сыну Всеволоду. Утверждение последнего на новгородском княжении сопровождалось существенным ограничением его власти: Мстислав вынужден был в целях финансовой поддержки Всеволода передать ему в доменальное пользование ряд территорий Смоленского княжества, пограничных с Новгородской землей (см. [Янин 1998]). Под указанным годом летопись сообщает: *томъ ж(е) лѣт(ѣ) приведе Володимиръ съ Мстиславомъ вса бояры новгородскыа Кыкву, и заводи а къ чѣтньому хѣоу, и пусти на домовъ, а иныа у себе остави; и разгнѣвася на ты, оже то грабили Даньслава и Ноздрѣчу, и на сочьскаго на Ставра, и затоци на вса* [НПЛ: 21, 204–205]. Политическая цель расправы Владимира Мономаха над новгородскими боярами очевидна: ограничение новгородцами княжеских прав Всеволода Мстиславича потребовало напоминания о том, кому в системе Древнерусского государства принадлежала верховная власть.

Усадьбы Даньслава и Ноздрьчи находились в Неревском конце: под 1195 г. летопись упоминает церковь св. Димитрия *Ноздрѣцину*, заново построенную после пожара 1194 г. Эта церковь находилась на Даньславле улице Неревского конца.

Таким образом, грамота № 954, возможно, отражает первопричину описанных в летописи под 1115 и 1118 гг. событий.

Расправа Владимира Мономаха над группой новгородских бояр нашла отражение в циклах былин о Ставре Годиновиче и об Иванушке Годеновиче, в которых повествуется, как “Ставер сын Годинович посажен в погреба глубокие” и выручен молодой женой Василисой Микуличной. Что Ставр Годинович занимал в Новгороде значительный административный пост, ясно из его похвалы перед киевлянами: *В Новегороде живу да я хозяином, // Я хозяином живу да управителем // И полным лицом живу доверенным... // Ой глупые бояре, неразумные, // Они хвалятся градом Киевом... // А что это за ограда во Киеве // У ласкового князь-Владимира? // У меня ль, у Ставра, широкий двор // Не хуже будет города Киева* [Былины Печоры: 112].

Грамота № 954 содержит богатый набор имен собственных.

Имя *Жирочько* — одно из многочисленных гипокористических производных от имени *Жирославъ*. В 1-й половине — середине XII в. в Людином конце нам известно несколько лиц, которые в принципе могли бы быть тождественны автору данной грамоты (равно как и между собой): Жирочка из грамоты № 851 (сер. XII в.); Жирята из № 879 (2-я четв. — сер. XII в.); Жирослав из № 657 (сер. — 2-й пол. XII в.); Жироска, отец жены Полюда Городшинича, поставившей в 1197 г. монастырь св. Евфимии в Плотниках.

Имя *Тѣшко* стоит в том же ряду производных от корня *тѣх-*, что *Тѣхонъ* в грамоте № 926, *Тѣшата* в № 905, *Тѣшаа* в Ст. Р. 21, *Тѣшила* в № 348 и др. В НПК (III, 583, 596) отмечена деревня *Тѣшково* (иначе *Тѣшовичи*).

Вѣдовинъ — вероятно, притяжательное прилагательное от *вѣдова*; но не исключено также, что это существительное с суффиксом *-инъ*, первоначальное сингулятивное значение которого затемнено, как в *попинъ*, *господинъ*, *властелинъ*.

Шильце — уменьшительный вариант прозвища *Шило*, которое было на Руси очень популярно: большое число людей с таким прозвищем отмечено у Тупикова и в НПК; засвидетельствованы и патроним *Шильцовъ* [Тупиков: 897], топоним *Шилцово* [НПК, II: 4; IV: 170]. С морфологической точки зрения это прозвище построено так же, как, например, прозвище *Колѣньце* в грамоте № 31 из Старой Руссы.

Об имени *Но(з)дрька* см. выше.

В грамоте представлены древние наименования частей Новгорода: *Людинь коньць, онъ полъ*. Наименование *онъ полъ* 'та половина, та сторона' отражает взгляд жителя Софийской стороны — точно такой же, как в НПЛ. Упоминание Людина конца в грамоте № 954 — самое древнее из ныне известных; оно примерно на три четверти века старше, чем первое упоминание этого конца в летописи (под 1194 г.).

Грамота № 955. Троицкий раскоп. Целый документ из семи строк; начиная с четвертой строки текст расположен уже в двух столбцах.

Предварительная стратиграфическая оценка: вторая половина XII века. Внестратиграфическая оценка: середина — вторая половина XII века.

Ъ	милоушѣ	къ
марьнѣ	коси	вѣ
ликее	пъехати	бъ
и	за сновѣда	рѣкла ти
Маренко	такъ	милоуша
пѣи	пизда	вѣдаи : бѣ · гриве
и сѣкыае	не	вещѣрашенѣи

В слове *сновѣда* вторая буква читается не вполне надежно: по-видимому, это зеркальное *н*, диагональ которого автор прочертил дважды. В слове *вѣликее* после *вѣли* и после *кее* зачеркнуто по одной букве. В слове *вещѣрашенѣи* после *ра* зачеркнута буква *и*: очевидно, автору не понравилось, как она получилась, и он написал ее снова.

В грамоте представлены не встречавшиеся ранее элементы: вторая ее половина расположена в два столбца; в трех точках (в *Ъ* *милоушѣ*, *Маренко* и *рѣкла*) вырисованы фигурные инициалы книжного типа.

Другая особенность состоит в том, что грамота написана на втором слое листа бересты, на первом слое которого был сделан рисунок: двое святых и большой шестиконечный крест между ними. Рисунок довольно четко пропечатался и на втором слое (в особенности левая фигура и крест); но, разумеется, его линии все же гораздо слабее, чем в буквах письма. Писавший, очевидно, принимал во внимание это изображение: текст письма не затрагивает его. (Не исключено также, что рисунок делался просто на другом листе бересты, который лежал в этот момент в стопке запасенной бересты поверх нашего листа.)

Грамота представляет собой письмо от женщины к женщине; в домонгольский период эта весьма интересная категория берестяных писем встречается неоднократно. Некая Милуша пишет Марене, которая уже хорошо известна нам по нескольким грамотам усадьбы Е Троицкого раскопа, относящихся к тому же времени (см. ниже). Имеется также пряслице с ее именем, найденное неподалеку от самой грамоты № 955 в несколько более позднем слое. Согласно исследованию А. А. Гиппиуса, Марена была женой знатного новгородского боярина Петра Михалковича, игравшего важнейшую роль в новгородской администрации середины — третьей четверти XII века (см. [НГБ XI: 164–174]). Как явствует из берестяных грамот, Марена обладала значительной хозяйственной властью, к ней обращался сам князь, она ведала выдачей денег, поступлением зерна и т. п. Вот тексты грамот, где фигурирует Марена (в переводе).

№ 794 (60-е — 80-е гг. XII в.): 'От Петра к Марене. Если станет князь наделять купцов и придет к тебе, то ты ему скажи: «Ты, князь, [этим] ведаешь. Кого из мужей мор прошлой зимой унес, те (тех, тем) ...»'.

№ 798 (то же время): 'Поклон от Завида к тетке (?). Тому из твоих сыновей, у которого есть зерно, прикажи, чтобы отдал дань Марене, поскольку я приду и ты тогда отдашь (очевидно, своему сыну) назад зерном же. Клянюсь тебе.'

№ 849 (сер. XII в.): 'Приветствие от Петра к Демше. Дай Микуле Кишке гривен шесть, взявши у Марены. Приведа его сам, дай в присутствии Марены. А если попросит Ярко, то тому не давай. Приветствую тебя. Сделай же милость, исполни сам'.

Об имени *Марена* см. [ДНД₂: 314]. *Милуша* — ценное пополнение пока еще довольно ограниченного фонда древнерусских дохристианских женских имен; ср. аналогичное по строению *Малуша* (имя ключницы княгини Ольги).

Четырехстрочная запись во втором столбце (начинающаяся со слова *Рѣкла*) представляет собой относительно самостоятельную часть текста — своего рода приписку: 'Говорит (букв. сказала) тебе Милуша: дай две гривны вчерашние'. Как можно видеть, автор (Милуша) упоминается здесь в третьем лице. Возможно, таким образом, что все письмо записывала не сама Милуша, а кто-то другой. Но это все же не обязательно: называть себя в письме в третьем лице, по-видимому, иногда могли и сами авторы.

Отметим, что *р(е)кла* здесь следует понимать не как 'сказала', а как 'говорит' (этой самой грамотой). Ср. точно такое же употребление перфекта в грамоте Ст. Р. 11 (*Иванаа мовила Оимь*); см. об этом [ДНД₂: 447].

При всей простоте этой приписки она рисует нам довольно яркую сцену из древне-новгородского быта. Видно, с какой удивительной легкостью женщины той эпохи прибегали к письменной форме общения. Милуша виделась с Мареной еще вчера, когда они обсуждали какое-то дело, связанное с двумя гривнами (например, Марена могла обещать эти две гривны Милуше за что-то, или она взяла их у Милуши в долг на один день и т. п.). А уже на следующий день Милуша об этом пишет.

Много труднее для понимания основной текст письма. Он делится на две части, каждая из которых имеет свой инициал. Первая часть, за вычетом адресной формулы, — это отрезок *косивѣликеепѣхатибѣизасновида*, где даже словоделение не вполне очевидно.

Начальное *ко* наводит на мысль, что здесь содержится какое-то приложение (или определение) к имени адресата (*къ Марынѣ*). В частности, по сходству с народными словами типа *сиволатый*, *сиволобый* можно предположить, что здесь стоит *ко сивѣликее* 'к сиволикой (серолицей)'. Но против этого говорит, во-первых, буква *ѣ* (а не *о*) после *сив* (т. е. здесь пришлось бы предполагать прямую буквенную ошибку), во-вторых, сугубо книжный характер морфемы *лик-* (в народном тексте должно было бы быть *лиц-*).

Другое членение — *коси вѣликее*. Можно предположить, в частности, 'коси большие' (подразумевается: пожни). Буква *ѣ* вместо *е* в слове *вѣликее* здесь препятствия не составляет: в грамоте есть и другие, вполне надежные примеры взаимной мены этих двух букв: *рѣкла* вместо *рекла*, *веѣбрашенеи* вместо *вѣчерашнѣи*. Но отсутствие существительного в такой фразе, конечно, странно.

Относительно надежно вычленяется следующее слово: *пѣхати*. Вычленяется также сочетание *за Сновида*, где выступает хорошо известное древнерусское имя *С(ѣ)новидъ*, встречающееся и в берестяных грамотах (см. [ДНД₂: 361]).

Соответственно, для второй части фразы естественно принять членение *пѣхати бѣ еи за Сновида*. Выражение *пѣхати за кого*, насколько можно судить, непосредственно не засвидетельствовано, но его смысл вполне прозрачен. Исходным здесь является устойчивое выражение *пойти за кого* 'выйти замуж за кого-л.'. Слово *замуж*, часто (но все же необязательно) добавляемое здесь в современном языке, в древнем языке не требовалось: ср. хотя бы *пойди за мѣне* в берестяной грамоте № 377. Это вполне логично: древнее *за мужъ* еще ясно осознавалось как словосочетание, совершенно однотипное с *за Петра*, *за князя* и т. п.; *идеть за Петра* было конкретным указанием жениха, а *идеть за мужъ* — просто сообщением о том, что намечается брак.

Что же касается употребления глагола *пѣхати* вместо *пойти*, то, видимо, это реализация образа свадебного поезда. Глагол *пѣхати* и производные от него широко употребляются в народной терминологии, связанной со свадьбой, и в свадебных песнях,

выступая практически как обозначение самого события свадьбы. Так, в [СРНГ, 28: 277–284] отмечено целых 25 терминов с основной *поезд-*, *поезж-*, связанных со свадьбой, в частности: *пѣезд*, *поезда́* (жен. рода), *поѣздины*, *поезжа́ние*, *поезжа́не*, *поезжа́ки*, *поезжа́лый*, *поезжа́ный*, *поезжа́тый*, *поезжа́льня*, *поезжа́нь*. Особый интерес в этой связи представляет отмеченное в КСГРС *уѣхать* ‘выйти замуж’ (Волог.): *Уехано у ѣй было перед самой войной; Уехали все, никто в девках не остался; Пересидевши в девках, не уехала во время*⁴.

Правда, в *поѣхати бѣ ей* может вызвать сомнение бѣ вместо ожидаемого бы: имеющиеся в нынешнем корпусе берестяных грамот примеры бѣ относятся к XIV и XV вв. Однако сравнение с другими примерами утраты конечных гласных (не редуцированных) показывает, что во 2-й половине XII в. это явление было уже возможно. Вот примеры утраты конечной гласной в берестяных грамотах XII в.: *вѣдаешъ* 794, *истерлаешъ* 809, *воземеше* 227, *оправ[ъ]* 850, *ополош* Ст. Р. 10, *быше* <-шь> 809 (из *быша*), *домовъ* ‘домой’ 421, *о[тъ]* 844, *ѡ* (= *отъ*) 809, *ать ти* 502, *дать да* 852; также чуть позднее — в грамотах рубежа XII–XIII вв. и начала XIII в.: *моловише*, *не оуправише*, *оте* <-ть> 705, *молоче* <-въ>, *то те* <-ть>, *пако* <-къ> (из *паку*) 531; подробнее см. [ДНД₂, § 2.28].

С другой стороны, в данном случае бѣ может стоять вместо бы и не по фонетической, а по чисто графической причине: ср. *3 гривнѣ* <-ны>, *сѣ близокѣ* <-кы> 907 (рубеж XI–XII вв.), *дروعъхо* <-гыхъ> 662/684 (XII в.), где представлена графическая замена ы на ѣ.

Представляет интерес также синтаксическая сторона оборота *поѣхати бѣ ей*, т. е. сама конструкция “инфинитив + бѣ + датив субъекта” в значении ‘следовало бы такому-то сделать то-то’, ‘суметь бы такому-то сделать то-то’. Эта конструкция до сих пор в берестяных грамотах не встречалась, но известна, в частности, из Киевской летописи за XII век. Вот некоторые примеры: *то аче бы ми и далеке того блюсти ѡслати, а могъ бы^х Игоря съблюсти* (Ипат. [1147], л. 130); *се иноплемьници ѡали ѡтчиноу ваию, а лѣно вы бы потрудитиса* ([1189], л. 230); *и поча с ни^м думати, ѡко же бы Изаславу оу Киевѣ сѣдѣти, а Стѡславу оу Черниговѣ* ([1154], л. 171); *но ловимъ оу ни^х того, како бы ны взати бродъ Зарубьскыи* ([1151], л. 154); *и почаша с нимъ доумати, коуда бы имъ выѣхати в Роускою землю* ([1190], л. 231 об.).

Кто же та девица, к которой относится слово *ей* в *поѣхати бѣ ей* за *Сновида*? Ни к адресату, ни к автору это *ей* относиться не может: адресат не называется в берестяных грамотах в третьем лице никогда, а автор, хоть и может быть назван в третьем лице, в данном случае по содержательным причинам вне подозрений.

Очевидно, ее имя, если оно вообще названо, может скрываться только в отрезке *косивѣликее*. Здесь следует учесть, что во 2-й половине XII в. уже бывают случаи замены ѣ на и (см. [ДНД₂, § 2.31]); это значит, что *коси* может стоять вместо *коѣ*.

После этого искомая девица уже находится: это дочь Марены (или, может быть, какая-то другая ее родственница) с домашним прозвищем *Коса Великая*. Более уместного и более фольклорного прозвища для дѣвицы-красы трудно и придумать. Могло быть, например, несколько сестер, из которых эта была старшей (следует полагать, что для формирования прозвища старшинство было важнее, чем реальная величина косы). А выдавать дочерей замуж, как хорошо известно, полагалось строго в порядке старшинства.

Таким образом, мы интерпретируем *косивѣликее* как дательный падеж *Косѣ(ѣ) Вѣликиѣ(ѣ)*⁵. Местоимение *ей*, как это нередко бывает в народных текстах, дублирует этот дательный падеж: ‘Большой Косе — пойти бы ей замуж за Сновида’.

⁴ Из общих соображений можно было бы также предположить для выражения *поѣхати за кого* значение ‘выйти замуж в другой город’; но приведенные здесь данные говорят о том, что такое предположение излишнее.

⁵ С грамматической точки зрения допустимо также другое решение: *Коси Вѣликее* — это прозвище “Большие Косы” (т. е. И. мн., а не Д. ед.). Но, во-первых, коса, по-видимому, должна была быть одна; во-вторых, наименования людей словоформой множ. числа предельно редки.

Стоящая затем звательная форма *Маренко* — прямое обращение к адресату, причем в этот раз имя выступает уже в ласкательной или фамильярной форме (с суффиксом *-ьк-). Отметим, что с точно таким же варьированием представлено в грамотах и имя мужа Марены: он именуется то *Петръ*, то *Петрокъ*.

Пропуск *ъ* в *Марен(ъ)ко* — такой же, как в *С(ъ)новида*.

Следующую словоформу *пеи* нужно понимать как императив 3-го (а не 2-го) лица: 'пусть пьет'. (К сожалению, нельзя установить, что стоит за буквой *е* в *пеи*, — прояснившееся [е] или еще исконное [ъ].)

Последняя фраза, выходящая за рамки "нормативной" лексики, — готовое речение, бытовавшее в эротическом фольклоре. Эта формула ('пусть пьет vulva') в буквальном виде неоднократно отмечена в фольклорных записях XIX–XX вв.; см. [РЭФ: 329, 483, 484, 513]. Она явно связана со "срамными" песнями, составляющими важную часть народного свадебного ритуала, исконная функция которых состоит в том, чтобы магическим путем способствовать плодородию, продолжению рода. Первоначальный образ здесь восходит к индоевропейской древности: обожествленное Небо (санскр. *Dyaus*, греч. *Ζεύς*, лат. *Juppiter* — мужское начало) оплодотворяет обожествленную Землю (слав. *Мать сыра земля*, греч. *Διμήτηρ* — женское начало)⁶ дождем. Тем самым Земля пьет; ср. выражения типа *Дождь напоил землю*. "В этнографической и мифологической литературе широко известны славянские и индоевропейские (и не только индоевропейские) свидетельства о небе-отце и матери-земле и связанные с ними обряды вызывания дождя — мужского оплодотворяющего семени, дающего земле плодородие" [Толстой 1995: 413]. Н. И. Толстой указывает [там же: 412–417] на фразеологизмы *пьян как земля* и *пьян как мать*, сохраняющиеся в белорусской и сербской народных традициях, объясняя их как отражения того же первичного мифа. Вариации этого же мотива в сниженной форме сохраняются в эротическом фольклоре; ср., например, в РЭФ [126, № 24]: "А чего тебе, дивчина, / пузо надулось?" / — "В поле была, горох ела, / Воды *напилася*". Наиболее полный анализ мифологических корней русской "заветной" (выражаясь языком Даля) терминологии и ее сакральной функции см. в работе Б. А. Успенского "Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии" [Успенский 1996: 67–161].

Формула, выступающая в грамоте № 955, отражает тот же мифологический образ, что *пьян как мать*, — с теми же семантическими компонентами 'пить, напиться' и 'рождающее начало, genetrix'. В письме Милуши эта формула играет роль своего рода цитаты из предстоящего свадебного празднества с его общим эротическим ("срамным") колоритом. Это образный призыв к Марене (ср. начинающее фразу фамильярное *Маренко!*), чтобы та согласилась на эту свадьбу. Таким образом, в данном случае никакой бранной окраски "заветная" лексика не имеет: она выступает в рамках своей исконной сферы, где она еще отчетливо сохраняет свой первоначальный сакральный и ритуальный характер.

За написанием *сѣкыле* стоит либо *сѣкыл(ь)*, либо *с(и)кыл(ь)* (в последнем случае мы имеем дело с еще одним примером мены *и* и *ѣ*, помимо *косу*). Это то же, что *sikoll* у Фенне (с. 89) и *сѣкиль*, *сѣкель* 'clitoris' в говорах [СРНГ, 37: 126 (Забайкалье); 37: 300 (Перм., Сев.-Двин., Сиб.)]; в этих же двух вариантах слово многократно представлено в РЭФ). Суффикс *-иль*, который выявлен благодаря данной грамоте в этом слове, — тот же, что в *мотыль* (ср. *мотаться*, *метаться*), *костыль* (от *кость*), *горбыль* (от *горб*) и др. Корень — *сик-*, *сѣк-*, *сы-* 'mingere' (с разными ступенями чередования).

Последние два слова, соединенные союзом *и*, образуют характерную для народных текстов риторическую фигуру — так наз. гендиадис (парное обозначение единого понятия), типа *совет да любовь*, *страх и ужас* и т. п.

⁶ Ср. также непосредственное включение слов 'отец' и 'мать' в наименования *Juppiter*, *Мать сыра земля*, *Διμήτηρ*.

По предположению М. Бобрик, Милуша — сваха (подобно Ярине в берестяной грамоте № 731). Вполне возможно также, что две гривны “вчерашие” прямо связаны с этой ее деятельностью. Например, фраза про гривны может означать, что, по мнению Милуши, она уже заслужила обещанную ей накануне награду.

По предположению А. А. Гиппиуса, Сновид — тот же, что в грамоте № 780 (где он назван в числе художников).

В итоге в свободном переводе можно представить грамоту № 955 так. Основная часть: ‘От Милуши к Марене. Большой Косе — пойти бы ей замуж за Сновида. Маренка! Пусть же напьется (набухнет)’⁷ рождающее лоно!’. Дополнительная часть: ‘Говорит тебе Милуша: дай две гривны вчерашие’.

Грамота № 956. Троицкий раскоп. Левая часть двухстрочной грамоты.

Грамота найдена практически на той же глубине, что и грамота № 955, в 8 метрах к северу от нее; соответственно, она по всей вероятности относится к тому же времени, что № 955, или к чуть более раннему.

то [ми]ха[ла ко] ...

рицами въземо ꙗ гри]вн...

Отрезок *рицами* — почти наверное конец словоформы *въверицами* ‘деньгами’.

Если утраченная правая часть была относительно невелика, грамота могла быть построена, например, по следующей схеме: ‘От Михалъ к [X-у. У Y-а] деньгами взяв 9 гривен, [сделай то-то]’ (скажем, адресату предлагалось приехать с этими деньгами или кому-то их передать и т. п.).

Поскольку грамота входит в тот же комплекс, что и грамота № 955, которая адресована Марене, ее автор Михаль в принципе мог быть свекром Марены — отцом ее мужа Петра Михалковича. Вариантность *Михаль* — *Михалко* была бы в этом случае вполне сходна с варианностью *Петрь* — *Петрокъ* и *Марена* — *Маренка*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Былины Печоры — Былины Печоры и Зимнего Берега. М.; Л., 1961.
ГВНП — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
ДНД₂ — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект. Изд. 2-е. М., 2004.
Зализняк 1985 — А. А. Зализняк. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
Ипат. — Полное собрание русских летописей. Том второй. Ипатьевская летопись. М., 1962.
Княж. уставы — Древнерусские княжеские уставы. XI–XV вв. Л., 1976.
КСГРС — Картотека Словаря говоров Русского Севера (Екатеринбург, Уральский университет, кафедра русского языка и общего языкознания).
НГБ XI — В. Л. Янин, А. А. Зализняк, А. А. Гиппиус. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1997–2000 гг.). М., 2004.
НПК — Новгородские писцовые книги. Т. I–VI и указатель. СПб., Пг., 1859–1915.
НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
РЭФ — Русский эротический фольклор: Песни. Обряды и обрядовый фольклор. Народный театр. Заговоры. Загадки. Частушки (Составление и научное редактирование А. Топоркова). М., 1995.
СДРЯ — Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1 — М., 1988 — .
Слов. XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1 — М., 1975 — .

⁷ Слова *напьется* и *набухнет* оказываются в данной ситуации почти синонимичными. Отметим в связи с этим замечательную этимологическую находку Н. И. Толстого, который объяснил русское просторечное *бухóй* ‘пьяный’ как развившееся на основе первоначального значения ‘напоенный, насыщенный влагой, набухший, мягкий’ [Толстой 1995: 416–417].

- Срезн. — *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1903.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Вып. 1–. М.; Л., 1965–.
- Толстой 1995 — *Н. И. Толстой*. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Тупиков — *Н. М. Тупиков*. Словарь древнерусских личных собственных имен. СПб., 1903.
- Успенский 1996 — *Б. А. Успенский*. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1996.
- Янин 1998 — *В. Л. Янин*. Новгород и Литва. Пограничные ситуации XIII–XV веков. М., 1998.

© 2006 г. Г.А. ЗОЛотова

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ГРАММАТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Грамматическая наука на переходном этапе своего развития стремится осознать систему языка как средство выражения смысла, поднимаясь от морфологических опор на уровне предложения и текста, обнаруживая в них информацию об интенциях говорящего, о его видении мира, об отношениях между людьми. Статья знакомит читателей с рядом понятий, разработанных на этом пути “Коммуникативной грамматикой”, опирающихся на тройственный принцип взаимодействия значения, функции и формы, от первичной синтаксической единицы синтаксемы до композиционных составляющих текста.

1. Грамматическая наука переживает в последние десятилетия переходный этап, в поисках новых проблем, новых решений, новых направлений. Все мы ощущаем в большей или меньшей мере неудовлетворенность традиционной школьно-вузовской грамматикой, которая формирует видение языка на протяжении ряда поколений.

Но плодотворными эти поиски могут быть в той мере, в какой мы осмысливаем несоответствия между сложившимися стандартизированными понятиями и реальной системой языка. Она не дана нам в прямом наблюдении, мы по мере своего научного движения понемногу приближаемся к постижению ее. На этом пути важно обнаружить и выявить те точки отсчета, те слабые звенья в наших представлениях, которые оказываются не адекватными структуре материала и требуют дальнейшего обсуждения и решения.

Суть происходящих в языкознании изменений, можно думать, заключается в смене власти. Не власти людей, а власти привычных представлений. Лингвистика, грамматика жили под диктатом морфологии. Компоненты предложения определялись по падежной форме, независимо от их структурной и смысловой роли. Важнейшие для организации высказывания видо-временные формы глагола скрупулезно разбирались на части, детали, именовались, и это была вершина анализа. Падежи, флексии, суффиксы, префиксы – разумеется, необходимая ступень знания. Но это только фундамент – без дома, в котором люди живут, мыслят, общаются посредством языка.

Архитектуру лингвистического здания лучше всех представлял еще с 20–30-х годов В.В. Виноградов, опираясь на все ценное в трудах своих предшественников и, конечно, на свое исключительное чувство языка и талант филологического анализа. Сила виноградовского дара была в том, что для него и в грамматике, и в стилистике, и в поэтике реализовывались многообразные смысловые качества и возможности единой системы русского языка.

Признание семантики как неотъемлемой и, очевидно, главной компоненты лингвистического исследования, интерес к тексту, письменному и устному, как способу осуществления и существования языка, интерес к говорящей личности – все это пришло и постепенно укреплялось в широких научных кругах во второй половине XX века.

Обозревая лингвистическую деятельность нескольких десятилетий, ее направления, преходящие увлечения, ответвления, думаю, можно утверждать, что виноградовское понимание языка, его идеи остаются самыми богатыми и перспективными. Опора на его учение, на диалог между материалом и его трактовкой позволяют в общем поступательном движении лингвистики, русистики выявлять вопросы решаемые и нерешенные.

Может быть, именно в грамматическом учении (при широком его понимании) проблем, требующих осмысления и обсуждения, накопилось больше. Вероятно, почтенный

возраст устойчивых грамматических представлений, воспроизводимых бесконечно из учебника в учебник, укрепляет их авторитетность и исключает допустимость каких бы то ни было сомнений. Но сомнения накапливаются. О них и о возможностях их разрешения и предстоит говорить.

2. Не перестает дискутироваться вопрос о соотношении языка и речи. Конечно, речь первична как способ общения людей. Язык – система средств реализации, осуществления речи, но стоило бы уточнить это определение так: язык на разных этапах познания – это отражение наших представлений, наши попытки представить их системно, поступательно приближающиеся к объекту.

Естественно, для познания нужны методологические опоры, в свою очередь терминологизованные. На смену двустороннему критерию языковых единиц **форма/значение** предложен более надежный критерий с вершинами **значение, функция, форма**, с более четким определением самих понятий. **Значение** – категориальный и индивидуальный смысл слова, предложения и других значимых единиц языка. **Функция** – его конструктивные возможности как части целого в построении речи. **Форма** – служебные средства, главным образом морфологические, предназначенные маркировать эти функции.

Соотношение значения, функции, формы примерно соответствует соотношению семантики, синтаксиса и морфологии. Важно при этом не разделение “уровней” (ведь по отдельности они не существуют), а их необходимое для реализации взаимодействие. На основе этого взаимодействия выявлена минимальная синтаксическая единица – **синтаксема** (“Очерк функционального синтаксиса” 1973/2005 гг.); система русских синтаксем с разнообразными литературными иллюстрациями представлена в “Синтаксическом словаре” 1988/2001 гг.

3. Минимальная речевая единица – **предложение**. Возникает необходимость уточнить, упорядочить некоторые сложившиеся представления о структуре, типологии и приемах анализа предложений.

Привычный школьно-вузовский “разбор предложения” тоже морфологизован: в разных структурах подлежащее должно отвечать на вопрос: **кто-что?**, на вопросы косвенных падежей – дополнения и обстоятельства. Нередко получается, что такой разбор ведет к обесмысливанию предложения. Например, в пушкинской строке *В нем только лень и непокорство* (отец о Тазите) найдем подлежащее: **кто-что?** – *лень и непокорство*, в **ком-чем?** – *в нем*, дополнение или обстоятельство (тоже граница не ясна), но смысл пропал. Ведь понятно, что высказывание – о лице и его признаках, что это синтаксический синоним модели: *Он ленивый и непокорный*, и *в нем*, как и *он* – субъект, носитель признака, а *лень и непокорство* – предикативные признаки. Но при школьном разборе получаем абсурдный результат.

Важным шагом вперед в развитии грамматического знания во второй половине XX века стал выход в текст, за рамки отдельно взятого предложения, в естественную речевую среду его существования, не ограничивающую мысль рамками от точки до точки. Это позволило увидеть и более надежные основания для классификации предложений.

Оказывается несостоятельным исходное деление предложений на односоставные и двусоставные. Это подход по принципу поверхностной констатации: вижу дерево – говорю: *Дерево*; вижу два дерева – говорю: *Два дерева*. Но предложение рождается только из соединения предиката с субъектом, приписывания предикативного признака его носителю. Однословные предложения – не односоставны. В них назван глагольный или именной предикативный признак, а субъект – носитель его, личный или предметный, очевиден из контекста, иначе бы предложение не состоялось. Еще А.А. Потебня писал: “Личный глагол в славянском, как и в латинском, греческом, есть *полное предложение* само по себе, без отдельно стоящего местоимения, т.е. независимо от ученого анализа для обыкновенного сознания обнаруживает двойственность своего состава, указывая на отношение действия к лицу” (“Из записок по русской грамматике”, М., 1968. Т. 3: 81).

Односоставными обычно называют предложения, сообщающие а) о состоянии среды, места, погоды и б) о состоянии лица, живого существа.

(а) *В ущелье* мгла и дым (Лермонтов); *На дворе* темно и холодно, *на море* буря, но *в рыбацкой хижине* тепло и уютно (Л. Толстой); *Полдень*; *на дворе* солнечно, весело (Чехов); *Ночь*. *Ледяная рябь* канала... (Блок); *В спальне* был полумрак (М. Булгаков); *Тишина была за окном* (Тынянов); *За окном зима, А где-то Жаркое Сухое Лето* (Р. Сеф).

(б) *Мне* не спится (Пушкин); *Ему* и больно и смешно (Пушкин); *На сем лице* лишь гнева след... (Пушкин); – *Тебя* знобит, что ли? – Прежде знобило, а теперь... теперь жар (Чехов); От мокрой одежды познабливало (Ф. Искандер); И *у меня* даже ненависть к нему появилась (В. Драгунский).

Понятно, что в предложениях такого типа именно названная или неназванная среда, место нахождения наблюдателя, воспринимающего окружающее (а), либо лицо, испытывающее состояние (б), характеризуется предикативно, т.е. служит предикцируемым субъектом, или, по школьной терминологии, подлежащим. При неназванности субъекта, незанятости его места (*познабливало* – кого? – *меня, рассказчика*) перед нами возмещаемая контекстом неполнота двусоставного предложения, и винительный падеж здесь признак не объекта, а одной из форм субъекта состояния.

Следует заметить, что на перепутье между заморфологизованным синтаксисом и семантическими веяниями некоторые авторы стали противопоставлять в структуре предложения синонимичные термины “подлежащее” и “субъект”, разнося их по “уровням” или как-то иначе. Подобное раздробление сущности компонентов предложения, служащих его коммуникативному назначению именно неразрывностью своей семантики, функции и формы, без надобности перегружает терминологию и обесмысливает анализ.

Итак, и предложения с неноминативным субъектом, при разнообразных, но регламентированных грамматикой его формах, организуются предикативными отношениями между этим субъектом и приписываемым ему в коммуникативном акте признаком. Подтверждением их предикативной связи служит наличие парадигмы – способности изменяться по предикативным категориям времени, лица и наклонения (не без определенных ограничений):

На дворе солнечно, было солнечно, будет солнечно, было бы солнечно... *За окном зима, была, будет, была бы зима...*; *Ему смешно, было смешно, будет смешно, было бы смешно...*; *Мне, тебе, нам, вам, им смешно...* *Ему, мне, тебе не спится, не спалось...*

Ограничения в предикативной парадигме объяснимы.

У пространственного, локативного субъекта предложений группы (а) нет вариантов лица, он представляет только 3-е лицо.

Субъект группы (б) предстает в разных лицах и числах. Но лексически состояния бывают внутренними, индивидуальными. Возможно *Всем смешно* (Е. Шварц); *...Няня, я тоскую, Мне тошно, милая моя!* (Пушкин), но мало вероятно *Всем больно, Их знобит, Все тоскуют, Нам тошно, У нас жар* и т. п.

Кроме того, в моделях группы (а) и группы (б) речь идет не о действиях, а о состояниях (природы или лица), не зависимых от воли субъекта, **инволютивных**. Поэтому в их парадигмах обычно не участвует императив, повелительное наклонение (разве только в волшебных сказках).

4. Это наблюдение подводит нас к следующему важному вопросу. На какой же основе должна строиться типология, классификация предложений, если мы отказываемся от критерия двусоставности/односоставности?

Ответ может быть самым простым и естественным. Для чего человеку дана речь? Для передачи смысла. На смысловой основе стоит разграничение частей речи: для существительного – это категориальное значение предмета, предметности, для глагола – действия, акциональности, для категории состояния, или статива, – состояния, для прилагательного – качества, для числительного – количества. Правда, обычно учебники без разбора подводят под понятие предмета, предметности и дом, и камень, цветок, ученика, с одной стороны, и ходьбу, прыжки, сон, белизну, строгость и подобные, отнюдь не предметные слова – с другой; под понятие действия – и *спроит, бежит, читает*, но и *краснеет, спит, устает* – совсем не действия. В моих работах предложены для разграничения этих подклассов термины “изосемичность”/“неизосе-

мичность”: изосемичность – соответствие значения слова категориальному значению его части речи, неизосемичность – несоответствие.

Резонно полагать, что основные категориальные значения предикатов – изосемичные – и держат на себе естественную систему предложений.

Центральных синтаксических моделей пять, со следующими типовыми значениями:

Субъект и его действие – *Брат пишет*;

Субъект и его состояние – *Брату весело*;

Субъект и его качество – *Брат добрый*;

Субъект и его количество – *Братьев четверо*.

Пятая из центральных моделей – с типовым значением “Субъект и его квалификация” – *Брат – учитель, Волк – хищник*.

Тут есть некоторая непоследовательность. В примере *Учитель раскрыл книгу* существительное *учитель* употреблено в лично-предметном, изосемическом значении. Но предикаты *учитель*, *хищник* и под. не собственно предметные имена, они характеризуют субъект по признаку принадлежности к роду, к классу, таким образом оказываются именами с признаковым значением. Роль в языке и структура этой, пятой модели все-таки позволяют отнести ее к центральным.

Изосемичные слова отнесены к частям речи по морфологическим показателям, но сохраняют семантику своих родителей (*ходьба* – от *ходить*, *белизна* – от *белый*, *простота* – от *простой* и т.п.), и потому синтаксически они выполняют признаковые, а не предметные функции, пополняя синонимические средства выражения типового значения: *ремонтит квартиру – занимается ремонтом квартиры, вышивает – занимается вышиванием, по утрам бежит – занимается спортивным бегом, беседует с поступающими – проводит беседу с поступающими* и т.п.

Синонимические модели группируются вокруг центральных, предоставляя говорящим выбор возможностей, соответствующих условиям и способам общения.

5. Предлагаемая классификация не только возвращает смысл грамматическим рубрикам, но и привлекает внимание к еще некоторым, значимым свойствам наблюдаемых объектов. Принято, например, отмечать морфологическое согласование между подлежащим и сказуемым (хотя оно далеко не всем моделям предложений свойственно, при обязательности для всех моделей предикативной связи). Существенен и категориально-семантический характер соединяющихся субъекта и предиката. Действие, выраженное акциональным глаголом либо девербативом, совершается человеком или живым существом. Если мы говорим *Идет трамвай, поезд; Работает мотор, пылесос* и т. п., эти привычные обороты речи реально все равно означают, что человек включает механизм, управляет им. Акциональный предикат предполагает участие воли, намеренность, волюнтивность акта. Соотношение категорий **волюнтивности/инволюнтивности** проявляется в ряде языковых закономерностей.

Неслучайно, при разнообразии падежных форм обозначения субъекта, собственно акциональный предикат требует субъекта в именительном. Ср. ряд примеров с субъектами во всех падежах:

Им. пад. *Он* читает лекцию; *Он* ведет репетицию; *Он* экзаменует.

Род. пад. *У него* (сегодня, сейчас) лекция, репетиция, экзамен.

Дат. пад. *Ему* не пишется, не работается, нездоровится.

Вин. пад. *Его* знобит, лихорадит, подмывает уйти.

Тв. пад. *Им* прочитана лекция, проведены экзамены.

Предл. пад. *На нем* ответственность... *В нем* доброта и приветливость.

Сохраняющий акциональное значение синонимический вариант *У него лекция* оставляет неясным меру активности субъекта: читает лекцию или слушает, проводит репетицию или участвует, может быть – присутствует; даже темпоратив *сейчас* допускает как актуальное значение действия (*идет его лекция*), так и ближайшее будущее (*скоро начнется его лекция*).

Разумеется, не всякое предложение с личным субъектом в именительном пад. и глагольным предикатом сообщает о действии. Различаются глаголы акциональные, во-

люнтивные, обозначающие активное действие лица (физическое или умственное), связанное с волевым, сознательным намерением: *бежит, работает, пишет, пашет, думает, всматривается, изучает, добывает, догоняет, подметает, зовет, поет* и неакциональные, инволютивные, стативные: *спит, дремлет, волнуется, расстраивается, заболевает, плачет, краснеет, смущается, мерзнет* и под. К инволютивным относится и группа глаголов, не означающих ни намеренного действия, ни собственно состояния, их называют акцидентными или глаголами с перфективной семантикой: *упал, сломал ногу, заблудился, обознался, споткнулся, уронил, потерял* и под. Это – случившееся, происшедшее с субъектом независимо от его воли.

В парах предложений, противопоставленных по **ВОЛЮНТИВНОСТИ/ИНВОЛЮТИВНОСТИ**, с близкими значениями глаголов, волонтивная модель допускает только именительный падеж субъекта, при вариативности форм стихийного субъекта:

Вьюга замела дорогу
Вьюгой замело дорогу
Шквал свалил дерево
Шквалом свалило дерево
Молния зажгла амбар
Молнией зажгло амбар

Дворничиха размела дорогу
* не: Дворничихой размело...
Лесоруб свалил дерево
* не: Лесорубом свалило ...
Хозяйка зажгла фонарь
* не: Хозяйкой зажгло...

Темпоральная функция инволютивного предиката – перфективная – постфактумная констатация последствий; в волонтивных примерах предикат может быть и перфективным, сообщать о результате действия, и аористивным – об одном из последовательного ряда наблюдаемых (кем? – говорящим, рассказчиком, персонажем) действий (*принесла фонарь, нашла спички, зажгла и осветила гостью у крыльца*).

6. Фигура говорящего или, более точно и глубоко – по В.В. Виноградову – “образ автора”, раздвигает границы грамматического анализа, обращает нас к его филологической сущности. Все больше исследователей интересуются не составом предложения от точки до точки, а реальной жизнью его в речи, в тексте. Под текстом можно понимать и целые произведения, художественные и все прочие, но и связанные фрагменты устной и письменной речи.

Жизнь языка в тексте, наше умение ее понять и объяснить служит лучшим критерием оправданности и необходимости исследовательских усилий.

В “Коммуникативной грамматике” (М., 1-е изд. 1998; 2-е изд. 2004), в статьях и диссертациях продолжателей ее идей текст рассматривается как объект высшей ступени грамматического анализа, к которой последовательно подводит путь от минимальной синтаксической единицы – синтаксемы. В тексте функционируют все средства языка, и в анализе его работают – с разным коэффициентом полезного действия – все накопленные лингвистикой знания. Текст как объект изучения выдвигает и свои задачи: что и по каким критериям считать единицами текста, каковы разновидности этих единиц, каковы способы их соединения в целое, композиционные закономерности в разных жанрах и стилях и др.

Предложено понятие “коммуникативных регистров речи” для обозначения структурно-композиционных составляющих текста. Основой для их выявления стали идеи В.В. Виноградова об образе автора и о четырех текстовых функциях видо-временных форм глагола, определяющих в разных комбинациях темпоральную структуру текста: это динамический аорист, результативный перфект и два имперфекта, процессуальный и качественно-описательный. Эти чрезвычайно продуктивные понятия оказались применимы не только к глаголам, но ко всем предикатам, и неглагольным тоже. А позицией “автора”, рассказчика, наблюдателя по отношению к событиям (соприсутствие или дистанцированность) и соответственно способом восприятия – сенсорным или ментальным – обусловлено системное использование текстовых средств в организации композиции.

Напомним, что разграничены пять коммуникативных регистров:

1) в репродуктивном (или изобразительном) регистре говорящий рассказывает о наблюдаемом, находясь или воображая себя в хронотопе происходящего;

2) в информативном регистре говорящий дистанцирован от происшедшего во времени и пространстве, он сообщает не о наблюдаемом, а об известном ему;

оба этих регистра реализуются в двух разновидностях – повествовательной и описательной;

3) в генеритивном регистре говорящий формулирует или цитирует обобщающие высказывания, темпоральное значение которых выходит за событийные рамки данного текста;

4) в волюнтивном регистре говорящий побуждает адресата к действию;

5) в реактивном регистре говорящий выражает эмоционально-оценочную реакцию на происходящее или услышанное.

Связи между единицами, частями текста осуществляются не просто союзами, местоимениями, повторами слов, что было многократно описано. Выявлена текстовая категория таксиса. Она была замечена Р. Якобсоном и потом А.В. Бондарко как отношения последовательности/одновременности между глаголом – с одной стороны, и деепричастием, а затем и прочими обособленными компонентами – с другой. Позже выяснилось, что таксисные отношения по линии всех предикативных категорий – не только времени, но и лица и модальности – реализуют связь и между всеми предикативными единицами текста, и между регистровыми композитивами.

Далее представлю несколько примеров анализа регистрового состава и темпоральных функций предикативных компонентов в литературных текстах.

Отрывок из “Мастера и Маргариты” М. Булгакова располагаю произвольно для удобства характеристик:

Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно,

занавешенное легонькой темной шторкой.

В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался.

Взрослых никого не было в комнате.

Очевидно, все выбежали из квартиры.

– Стекла бьют, –

проговорил мальчик и позвал:

– Мама!

Никто не отозвался,

и тогда он сказал:

– Мама,

я боюсь.

Маргарита откинула шторку и влетела в окно...

– Не бойся, не бойся, маленький, –

сказала Маргарита... –

это мальчишки стекла били...

– Это Ситник, –

сказал мальчик, –

у него есть рогатка.

– Ну, конечно, он!

Репрод.-повеств. регистр, функция предикатов – аористивы.

Репрод.-описат., перфектив.

Репрод.-описат., имперфективы.

Информ.-повеств., перфектив.

Информ.-повеств., имперфектив

Репрод.-повеств., аористивы.

Волюнтивный регистр.

Репрод.-повеств., перфектив.

Репрод.-повеств., аористив.

Волюнтивный.

Информ.-описат., имперфектив.

Репрод.-повеств., аористивы.

Волюнтивный, имперфективы.

Репрод.-повеств., аористив.

Информ.-повеств., имперфектив.

Информ.-повеств.

Репрод.-повеств., аористив.

Информ.-описат.

Реактивный.

В рассмотренном отрывке наглядны различия в регистровом составе между монологической и диалогической частями: единообразие в монологе, дробность чередования регистров в диалоге, а также смена перцепторов, с чьей точки зрения воспринимается происходящее.

Схожие по школьной грамматике типы предложений – “односоставные”, “номинативные”, неполные – в разных текстах используются в различных композиционно-коммуникативных целях. Сопоставим фрагменты:

(1) *Палатки. Гвалт. Платки девчат.*

Хохочут. Сдачею стучат.

Ножи и вырезок тузы...

(А. Вознесенский. Торгуют арбузами)

(2) *Дождь, притаившись за моей спиной,*

дышал в затылок жалко и щекотно.

Шаги – глазок – молчание – щеколда...

(Б. Ахмадулина. Сказка о дожде)

(3) *Поздняя осень, ранние заморозки, Петровский*

парк, красные листья, седая земля

(М. Цветаева).

В примере (1) – звуковые и зримые штрихи беглого впечатления прохожего от городского летнего базара; строки – репродуктивно-описательного регистра.

Ряд существительных в строке примера (2), с чередованием девербативных и “предметных” имен, еще и разделенных знаками тире, прямо или метонимически, через орудийное значение, называющих последовательные действия, передает напряженное ожидание по одну и другую сторону двери, как бы предчувствие бедственных последствий. Фрагмент – репродуктивно-повествовательного типа.

В примере (3) набор выразительных признаков экспозиционно характеризует место и время действия; мн. число *заморозков* выдает дистанцированность автора от примет, не прямо наблюдаемых, а воспроизводимых, обобщаемых памятью. Поэтому регистр информативно-описательный.

В стихотворении Ф.И. Тютчева (1851 г.) рассмотрим регистровую структуру целого текста:

Смотри, как на речном просторе,

Волюнтивный.

По склону вновь оживших вод,

Репродуктивный.

Во всеобъемлющее море

За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,

Информативный.

Иль ночью в поздней темноте,

Но все, неизбежно тая,

Они плывут к одной мете.

Все вместе – малые, большие,

Информативный.

Утратив прежний образ свой,

Все – безразличны, как стихия, –

Сольются с бездной роковой!..

О, нашей мысли обольщение,
Ты, человеческое я,
Не таково ль твоё значенье,
Не такова ль судьба твоёя?

Генеритивный.

Стихотворение начинается с волюнтивного призыва к собеседнику (спутнице) вместе наблюдать картину ледохода, репродуктивное изображение которого в хронотопе происходящего и составляет содержание первого четверостишия. Настоящее время во втором четверостишии меняет свой текстовый смысл: *на солнце ль... иль ночью...* – круглые сутки, итеративно и постоянно льдины плывут к морю. Об этом, не наблюдаемом, а известном движении сообщает информативный регистр. В третьем четверостишии, остающемся в рамках информативного регистра, – следующий этап знания: мысль постигает будущую судьбу этих льдин, переступивших перфективную “утрату образа”. И, наконец, в четвертом – генеритивное философское обобщение в настоящем “вневременном”. Похожая композиция в стихотворении Тютчева “Как неожиданно и ярко...” и некоторых других. “Структуру стиха надо решать как проблему смысла, взятого как целое в движении” (В. Шкловский). Размах регистровых ступеней от репродуктивного до генеритивного в поэтических композициях Тютчева языковым анализом подтверждает философическую ориентированность его мысли, его восприятия мира, и – соответственно – его стилистики.

Иной регистровый состав, например, многих лирических стихотворений А.А. Фета. Его легкие, сладкозвучные строки ведут не к размышлениям о судьбах человечества, – отрадные или унылые картины природы, впечатления от смены времен года вызывают и смену эмоций, они *радуют* или *печалят*, *манят*, *тревожат*, *томят* его душу и души читателей:

Чудная картина, Как ты мне родна...
Как грустны сумрачные дни Беззвучной осени и хладной!..
Какая ночь! На всем такая нега!.. и т.п.

Репродуктивно-описательные фрагменты в стихах Фета обычно чередуются с информативно-оценочными или обрамляются ими.

«В композиции художественного произведения динамически развертывающееся изображение мира раскрывается в смене и чередовании разных форм и типов речи, разных стилей, синтезируемых в “образе автора” и его создающих», – писал В.В. Виноградов.

7. Итак, далеко не исчерпанные ресурсы развития грамматической науки можно видеть в усилении внимания к смысловому назначению языковых средств, к совершенствованию принципов систематизации, классификации структур на той же естественной смысловой основе (подобной системе частей речи) и в выходе за пределы предложения – в живую жизнь языка в тексте. Выявленная В.В. Виноградовым органическая связь грамматики и композиции, стилистики текста ведет к плодотворному сближению лингвистики и литературоведения в рамках филологических исследовательских задач.

© 2006 г. И.А. СЕКЕРИНА

МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Статья посвящена описанию метода вызванных потенциалов мозга, заимствованному психолингвистикой из нейронауки и позволяющему непосредственно исследовать внутреннюю организацию языка как психический феномен, порождаемый мозгом, наблюдать реакцию мозга при восприятии и понимании языка.

1. ВВЕДЕНИЕ

Функциональная гибкость языка и его эффективность как средства общения обуславливаются двумя главными факторами: его внутренней иерархической организацией и наличием биологического субстрата, человеческого мозга. Традиционно лингвисты представляют язык в виде знаковой системы, состоящей из уровней – фонетического, фонологического, морфологического, синтаксического, семантического и дискурсивного. Так, фонетика изучает звуки языка и то, как они производятся, передаются и воспринимаются. Абстрактные характеристики звуков, которыми определяются фонемы, изучаются фонологией. Сочетания фонем, образующие самостоятельные языковые единицы, имеющие значения, обозначаются морфемами, а словообразовательные и словоизменяющие процессы составляют предмет морфологии. Сочетания морфем и слов образуют синтагмы, предложения и тексты (дискурсы), и особенности этих сложных языковых единиц составляют предмет синтаксиса. Цель этого поэтапного процесса – переход от звука к смыслу высказывания, а результат – смысловое восприятие речи.

Очевидно, однако, что наличие внутренней иерархической организации само по себе не может служить доказательством эффективности языка как средства общения; иначе как тогда объяснить тот факт, что только человек обладает языковыми способностями? Усвоение языка, его использование и языковое творчество могут объясняться только при одновременном наличии обоих необходимых условий: внутренней языковой организации и особенностей строения человеческого мозга. Какова взаимосвязь этих двух факторов? Представлен ли язык в мозгу человека в виде иерархических уровней, т.е. так, как его описывает лингвистика?

С одной стороны, мы можем смело ответить на последний вопрос утвердительно. Действительно, сочетания фонем воспринимаются и порождаются мозгом не так, как синтаксические фразы или смысл целого предложения. В этом плане языковые единицы разных иерархических уровней, выделяемые в лингвистике, имеют свои собственные, уникальные ментальные представления. С другой стороны, однако, языковые явления, изучаемые в лингвистике, принято делить на относящиеся либо к сфере языковой компетенции, либо к сфере языковой деятельности. Языковая компетенция определяется абстрактными единицами, например, фонемами, морфемами и синтагмами, которые оторваны от реального времени и пространства. В противоположность этому функционирование мозга представляет собой языковую деятельность, т.е. процесс, имеющий конкретные пространственно-временные характеристики, значимость которых трудно переоценить. Очевидно, что соответствие между абстрактными языковыми единицами, выделяемыми в лингвистике, и их ментальными представлениями, порождаемыми мозгом, не может быть взаимооднозначным. В качестве иллюстрации

приведем процесс визуального распознавания букв. На его ранних стадиях мозг одинаково реагирует не только на сочетания букв, соответствующих фонотактическим правилам языка, а именно на слово *масло* и псевдослово *макло*, но и на сочетания, которые эти правила нарушают (*мсло*).

Данная статья построена следующим образом. В разделе 2 кратко описывается метод вызванных потенциалов мозга, начиная с характеристики самих вызванных потенциалов (раздел 2.1) и кончая конкретным описанием того, как проводится психолингвистический эксперимент с использованием этого метода (раздел 2.2). Раздел 3 посвящен обзору основных результатов экспериментальных психолингвистических исследований в области распознавания слов (раздел 3.1), синтаксического анализа предложения в процессе понимания (раздел 3.2), роли оперативной памяти (раздел 3.3) и семантическому анализу (раздел 3.4). Раздел 4 представляет собой конкретный пример эксперимента по применению метода вызванных потенциалов при исследовании порядка слов в разных языках, а разделы 5 и 6 описывают аналогичный эксперимент на материале русских предложений со свободным порядком слов.

2. МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ МОЗГА

2.1. Краткое описание вызванных потенциалов

Метод вызванных потенциалов (ВП) мозга основан на записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ), которая измеряет спонтанную ритмическую активность мозга, происходящую с разной частотой [Kutas, Dale 1997]. Вызванными потенциалами (event-related potentials, ERPs) называются биоэлектрические сигналы мозга, которые появляются с постоянными временными интервалами после определенных внешних воздействий, или стимулов. Выделяются следующие характеристики потенциала: форма (наличие или отсутствие пиков), латентность (временной промежуток от момента подачи стимула до появления пика), длительность и амплитуда пиков. Каждый потенциал представляет собой синусоидальную волну, амплитуда которой изменяется во времени, и при этом полярность участков волны меняется от положительной к отрицательной. Участки волны разной полярности принято называть *компонентами* и обозначать латинскими буквами P (positive) и N (negative). В зависимости от периода времени анализа, т.е. времени возникновения мозговой активности после стимула, потенциалы подразделяются на коротколатентные, средне- и длиннолатентные. Коротколатентные потенциалы возникают уже через 10 мс после подачи стимула, в то время как среднелатентные после 100 мс, а длиннолатентные регистрируются значительно позднее, начиная от 300 мс и больше после сигнала.

В основе метода ВП лежит суммирование и усреднение большого количества потенциалов, каждый из которых сам по себе слишком слаб и часто не отличим от спонтанных ритмов, не имеющих отношения к сигналу. В течение определенного времени после подачи стимула производится вычисление амплитуд электросигналов мозга через временные интервалы, зависящие от частоты квантования. Полученные данные запоминаются и суммируются. В результате амплитуда стабильно возникающих после стимула потенциалов неуклонно возрастает, а амплитуда спонтанных ритмов в той же степени уменьшается. Для получения результирующих амплитуд ВП амплитуда в каждой точке усредняется, т.е. делится на число стимулов.

Вызванные потенциалы мозга широко применяются как в научных исследованиях, так и в клинической практике (см. [Гнездицкий 1997; 2003]). Для исследования языка в зависимости от модальности предъявляемого стимула используются сенсорные ВП двух типов – зрительные и слуховые. При этом значительно преобладают эксперименты, основанные на записи зрительных потенциалов, которые, например, исследуют то, как реагирует мозг на конкретный внешний сигнал в виде слова, представленного на экране компьютера. Метод ВП является важным методом изучения восприятия языка, потому

что вызванные потенциалы отражают процесс, который разворачивается в режиме реального времени и позволяет измерять несколько разных характеристик. В частности, ВП позволяют непосредственно судить о том, какая активность характеризует мозг до начала языкового сигнала, во время его восприятия и после его окончания, используя при этом частоту квантования в пределах миллисекунд. ВП могут продемонстрировать не только разницу между двумя критическими условиями в психолингвистическом эксперименте, но и охарактеризовать ее, например, показать наличие или отсутствие количественной / качественной разницы по длительности или амплитуде волн и их топологическое распределение по зонам коры головного мозга [Kutas, Fedemeier, Sereno 1999].

2.2. Методика

Оборудование. Для записи ВП используется лабораторное оборудование, в состав которого входят несколько компонентов: (1) компьютер для подачи стимулов и кнопочное устройство для записи ответов и времени реакции; (2) электродная шапочка (или сетка) и набор электродов к ней; (3) блок подключения электродов; (4) блоки приема и передачи и (5) блок усиления и компьютер для записи ВП (усреднитель).

Главным компонентом ВП системы является эластичная шапочка, к которой крепятся электроды (Рисунок 1а). Количество электродов, иначе еще называемых *каналами* (channels) или отведениями, обычно кратно 32, поэтому минимальное количество электродов тоже 32. Более распространенными являются шапочки с 64, 128 и 256 электродами. Системы, использующие 128 или 256 электродов, называются высокоплотными (high density). При психолингвистических исследованиях в основном используются системы с 64 или 128 электродами. На рисунке 1б изображена типовая конфигурация ВП системы с 64 электродами. Помимо 64 электродов на голове используются еще два контрольных электрода и четыре глазных электрода. Контрольные электроды, называемые мастоидными (mastoids), устанавливаются на черепные кости, расположенные непосредственно за мочками ушей (на рисунке 1б левый контрольный электрод изображен в виде черного кружка рядом с левым ухом). Контрольные электроды являются точками отсчета: электроэнцефалограмма вычисляется при помощи вычитания потенциалов, записанных на всех остальных точках головы, из потенциалов, записанных в контрольных точках. Четыре глазных электрода устанавливаются на лице. Глазные электроды записывают *электроокулограмму* (electrooculogram, EOG), т.е. вертикальные и горизонтальные движения глаз, которые впоследствии отфильтровываются.

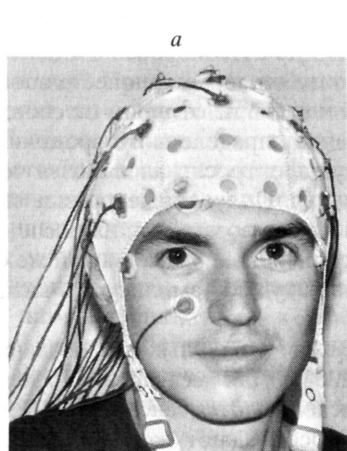


Рис. 1а. Шапочка с 64 вставляющимися электродами (компания Neuroscan)

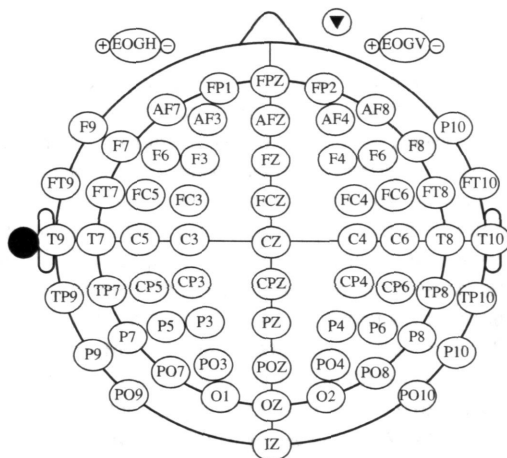


Рис. 1б. Топография 64 электродов

Головные электроды делятся на несколько групп, в зависимости от их расположения: на левой или правой стороне головы и, соответственно, на левом или правом полушарии и в разных долях. Электроды левого полушария имеют нечетные номера 1–9, правого – четные номера 2–10, при этом номера возрастают от центра к периферии. В соответствии с долями электроды делятся на следующие группы:

А – передние доли (anterior)

Р – задние доли (posterior)

Z – средняя линия (midline)

F – лобная линия (frontal)

T – височная линия (temporal)

C – центральная линия (central)

Pt – теменная линия (parietal)

O – затылочная линия (occipital).

Количество электродов, задействованных в эксперименте, может варьироваться в каждом конкретном случае.

Процедура проведения ВП эксперимента. Кресло испытуемого устанавливается на расстоянии одного метра от экрана компьютера, на котором предъявляются стимулы. Испытуемому объясняются необходимые детали: минимизировать произвольные мускульные движения, по возможности контролировать движения глаз и постараться не моргать во время чтения экспериментальных стимулов. ВП, вызванные движениями головы, других частей тела, и в особенности глаз, и морганием, считаются артефактами, и обычно удаляются из ЭЭГ в процессе автоматического фильтрации после окончания эксперимента. Задача испытуемого – быстро и внимательно читать появляющиеся на экране стимульного компьютера слова или фрагменты предложения и отвечать на контрольные вопросы.

Испытуемому дается кнопочное устройство для записи времени реакции, лаборатория затемняется и начинаются тренировочные блоки, задача которых ознакомить испытуемого с процедурой проведения эксперимента. Время реакции записывается, когда испытуемый нажимает на одну из двух кнопок на кнопочном устройстве после успешного прочтения стимула, а также правильность ответа на контрольный вопрос, который обычно следует за пофрагментным прочтением предложения. Контрольные вопросы обычно включаются в эксперимент для предотвращения механического чтения фрагментов предложений, во время которого испытуемый может просто ритмично нажимать на кнопки, не задумываясь над смыслом предложения. Подача слов или фрагментов предложений на экран стимульного компьютера и запись ответов испытуемого, т.е. его поведенческие результаты, правильность ответов и время реакции, контролируются программным обеспечением, отличным от программного обеспечения для усреднения и записи ВП.

После установки электродов на голове испытуемого (от 30 мин до 2 часов) и разъяснений по поводу задания и работы кнопочного устройства для записи ответов, лаборатория затемняется, и начинается разминка, состоящая из нескольких тренировочных блоков. Разминка необходима для того, чтобы добиться максимально идеальной процедуры проведения эксперимента. После окончания разминки включается программа, регистрирующая ВП, и начинается сам эксперимент. Эксперимент состоит из определенного количества блоков, от четырех и более, обычно в зависимости от количества условий в дизайне эксперимента (подробнее о дизайне см. раздел 6 данной статьи). Каждый блок обычно включает в себя в среднем 40 предложений, а между блоками устанавливается короткий перерыв для отдыха. Существуют разные варианты компоновки блоков, с отвлекающими предложениями и без. В отличие от более традиционных экспериментов с использованием методики с саморегуляцией скорости чтения, в ВП экспериментах отвлекающие предложения могут вообще не использоваться. Более того, общепринятой практикой является возможность повторения каждого экспериментального предложения два, а иногда и более раз. В остальном соблюдаются стандартные правила раз-

бивки предложений на блоки по условиям и их рандомизации (более подробно см. [Солсо, Джонсон, Бил 2001]). Таким образом, испытуемый в течение эксперимента увидит большое количество экспериментальных стимулов в каждом условии. Сбор большого количества однотипных данных диктуется необходимостью усреднять одноразовые потенциалы, для того чтобы получить картину реакции мозга на стимул каждого типа в виде усредненного ВП. Вспомним, что для получения хорошо дифференцированного ВП требуется как минимум 50 усредненных одноразовых потенциалов. Считается, что при проведении ВП эксперимента испытуемый в среднем может активно проработать около полутора часов при условии, что между блоками будут короткие перерывы для отдыха.

Итак, испытуемый читает слова или фрагменты предложения, предъявляемые в центре монитора стимульного компьютера с запрограммированной скоростью, т.е. он не имеет возможности контролировать длительность предъявления стимула. Длительность каждого стимула обычно колеблется в пределах 400–800 мс, в зависимости от длины слова или фрагмента, а время между стимулами обычно устанавливается в размере 100 мс. Такой способ предъявления стимулов называется быстрым серийным визуальным предъявлением (*rapid serial visual presentation, RSVP*). Таким образом, при скорости предъявления в 600 мс на прочтение предложения, разбитого на восемь слов или фрагментов, отводится 5,5 секунд. После окончания пофрагментного прочтения предложения испытуемый читает контрольный вопрос, предъявляемый на мониторе целиком, и отвечает на него, нажимая на соответствующую кнопку. В течение эксперимента параллельно идет сбор поведенческих данных (правильности ответов и времени реакции) и запись ВП мозга.

Обработка полученных данных. Обработка полученных данных состоит из двух независимых процедур: обработка поведенческих данных и ВП данных, причем обработка поведенческих данных всегда предшествует обработке ВП. По результатам правильности ответов на контрольные вопросы отфильтровываются испытуемые с количеством ошибок, превышающим 20%; принято считать, что такие испытуемые не проявили должного внимания и старания при прочтении экспериментальных предложений, а поэтому их данные как поведенческие, так и ВП, не отражают реальной картины того, как происходит восприятие таких предложений. Поведенческие данные оставшихся испытуемых статистически анализируются на предмет выявления статистически значимых закономерностей в ответах на контрольные вопросы и времени реакции при чтении стимулов. В качестве главного статистического теста используется дисперсионный анализ (*analysis of variance, ANOVA*), так как психолингвистические эксперименты обычно используют две и более независимые переменные с двумя и более уровнями (условиями).

Второй процедурой обработки полученных в результате эксперимента данных является статистический анализ ВП. Однако прежде чем записанные ВП поступают на вход статистического пакета, они проходят две процедуры фильтрации. Первая фильтрация ВП данных осуществляется автоматически: программа обработки ВП сканирует ЭЭГ, записанную от каждого испытуемого, помечает и затем выбрасывает те фрагменты, где находит большие пики, связанные с движениями глаз и головы испытуемого. Во время второй фильтрации экспериментатор работает с ВП данными, оставшимися после автоматического сканирования, и вручную помечает и выбрасывает те фрагменты, где имеются пики постороннего характера, оставшиеся незамеченными в процессе автоматической фильтрации. Процент выброшенных ВП фрагментов колеблется от испытуемого к испытуемому и от условий, в которых происходил эксперимент (например, при повышенной температуре в лаборатории часто наблюдаются систематические сдвиги волн), и иногда может достигать трети всех ВП результатов. После окончания процедур фильтрации программа выдает обобщенные данные о том, какое количество ВП осталось для каждого испытуемого с разбивкой по экспериментальным условиям.

Метод ВП широко используется для изучения всех этапов восприятия языка, начиная с распознавания слов и кончая процессом понимания сложных текстов [Kutas, Van Petten 1994; Osterhout 1994; Osterhout, Holcomb 1995]. Эти исследования показывают, что восприятие языка мозгом представляет собой совокупность ментальных процессов, происходящих в разное время и в разных измерениях. Эти ментальные процессы отличаются как по своим функциям (общие и специфические языковые), так и по тому, в какой степени они зависят от контекста и как взаимодействуют между собой во времени и пространстве.

3. ОТ ВОСПРИЯТИЯ ЯЗЫКА К ЕГО ПОНИМАНИЮ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВП В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ

Первоначальной задачей мозга в самом начале процесса восприятия языка является опознавание стимула, будь то написанное или произнесенное слово, и его классификация. Поскольку мозг изначально не может предугадать тип поступающего стимула, самый первый этап его опознавания не может зависеть от того, является он языковым или неязыковым. Частично тип стимула угадывается, основываясь на таких факторах, как частотность и повторяемость. В процессе начального опознавания мозг обрабатывает информацию как по принципу “сверху-вниз” (top-down: стимул в контексте), так и по принципу “снизу-вверх” (bottom-up: уникальность стимула). Так, например, если человек слушает устную речь или читает написанный текст, мозг настроен на волну восприятия языковых стимулов; если же ситуация внеязыковая, то тот же самый стимул может первоначально анализироваться как неязыковой. В определенных контекстах возможно даже предугадать более конкретные, физические, параметры стимула: цвет, размер, шрифт, громкость, голос и т.п. То, что мозг обращает внимание на эти параметры, находит свое отражение в изменении таких ранних перцептивных ВП компонентов, как наличие позитивного (P1) или негативного (N1) пиков в течение первых 100 мс с начала поступления стимула. В зависимости от того, какова конечная цель опознавания, наблюдаются изменения и в более поздних ВП компонентах типа N2, N400, P3 и P600, речь о которых пойдет ниже.

3.1. Восприятие букв и слов

Итак, вне зависимости от того, используется ли в самом начале опознавания процедура обработки информации “сверху-вниз” или “снизу-вверх”, первым этапом при понимании языка является ранняя перцептивная классификация стимула. При чтении, например, процесс начинается с классификации стимула на (1) отдельный объект (буква) или совокупность объектов (слово), (2) на слова, отвечающие орфографическим правилам конкретного языка и нарушающие их, и (3) на возможные слова и псевдослова (т.е. совокупность букв, не являющихся настоящими словами данного языка).

При помощи метода вызванных потенциалов Шендан, Ганис и Кутас [Schendan, Ganis, Kutas 1998] провели экспериментальное исследование процесса ранней перцептивной классификации визуальных объектов. Испытуемым были представлены три вида таких объектов: (1) цельные объекты-предметы, (2) сочетания букв (настоящие слова, псевдослова и наборы, состоящие из элементов, похожих на буквы) и (3) сочетания графических элементов. Было обнаружено, что на этапе первых 95 мс мозг отличает цельный неделимый предмет от сочетаний элементов; этот процесс характеризуется ранним негативным компонентом N100 (early negativity), особенно ярко выраженным на электродах средней линии теменной доли коры головного мозга. На следующем этапе происходит классификация сочетаний на сочетания, состоящие из букв и объектов, похожих на буквы, и на сочетания графических элементов. Этот результат позволил авторам прийти к заключению, что вследствие многолетней привычки к чтению мозг людей развил в себе способность скоростного опознавания стимулов, состоящих из букв. На третьем этапе классификации, происходящем в течение первых 200 мс с начала подачи стимула,

осуществляется последующее разделение сочетаний букв на настоящие слова и псевдослова. Похожие временные рамки и классификационные этапы характеризуют и процесс опознавания устной речи: слуховые ВП при прослушивании настоящих слов и псевдослов не отличаются на этапе первых 150 мс, а начинают отличаться только в районе 200–250 мс.

Необходимо отметить, однако, что несмотря на то, что ВП позволяют очень точно определить тот момент времени, в который мозг заметил разницу между двумя стимулами, вызванные потенциалы сами по себе не объясняют, что означают эти различия и каким образом они используются на последующих этапах восприятия. Таким образом, тот факт, что настоящие слова и псевдослова вызывают разные ВП на этапе 200–250 мс, не следует воспринимать как бесспорный аргумент в пользу того, что мозг расклассифицировал языковые стимулы именно так, как это делается в лингвистике. Возможно, что эти различия вызваны другими факторами, например, тем, что один вид стимула (псевдослова) содержит в себе менее привычные (низкочастотные) сочетания букв. Действительно, псевдослова, в отличие от произносимых сочетаний букв, продолжают восприниматься мозгом как настоящие слова (правда, только с точки зрения компонентов, а не их размера и длительности) в течение последующего временного интервала 200–400 мс. По прошествии этого интервала произносимые псевдослова отделяются от настоящих слов тем, что характеризуются наличием компонента N400 (т.е. негативным пиком примерно в районе 400 мс после начала стимула). Эти две гипотезы (семантическая классификация на слова / псевдослова и чисто частотная классификация на часто / редко встречающиеся сочетания букв или звуков) составляют важное направление исследований в области опознавания и классификации языковых стимулов в современной экспериментальной психофизиологии и психолингвистике.

Компонент N400 занимает особое место в психолингвистических исследованиях такого рода. Именно в районе 400 мс после начала стимула, как показывают ВП, мозг начинает отличать настоящие слова от псевдослов, и именно на этом этапе возникает различие в словах, связанное с частотой их употребления в данном конкретном языке. Кинг и Кутас [King, Kutas 1998] обнаружили, что длительность левой передней негативности, LAN (left anterior negativity), в районе 200–400 мс после начала стимула коррелирует с частотностью слова в данном языке, а именно, компонент N400 является реакцией мозга на низкочастотные слова, а более частотные слова такого компонента не вызывают. Мозг, соответственно, быстрее опознает слова, которые ему лучше известны.

Интересно, что это различие в скорости, с какой распознаются слова на раннем этапе, имеет серьезные последствия для последующих этапов восприятия речи. Так, та разница, которая выявлена при восприятии знаменательных частей речи типа глаголов, существительных, прилагательных и наречий, и служебных слов (артиклей и предлогов), во многом определяется различием по частотности [Osterhout, Bersick, McKinnon 1997]. Важно отметить, что это отнюдь не означает, что существует четко определенный момент или место запоминания частотности слова. Частотность слова оказывает влияние на многие процессы восприятия речи, включая лексический доступ к слову, извлечение ассоциативной фонологической и семантической информации из долговременной памяти, хранение слова и его ассоциаций в рабочей памяти и т.п. Эксперименты при помощи метода ВП ясно демонстрируют, как по-разному влияет частотность слова на процесс его дальнейшего восприятия. Например, при прочих равных условиях, в отсутствие контекста амплитуда компонента N400 обратно пропорциональна частотности слова [Van Petten, Kutas 1991]. Простое повторение слова в процессе эксперимента тоже уменьшает амплитуду N400. Из этого следует, что присутствие и характеристики компонента N400 напрямую зависят от извлечения семантической информации о данном конкретном слове из долговременной памяти и ее интеграции в контексте конкретного предложения.

3.2. Восприятие словосочетаний и синтаксический анализ предложений

Способность мозга различать высоко- и низкочастотные слова распространяется на другие языковые единицы, а именно, на высоко- и низкочастотные словосочетания и

синтаксические конструкции. Например, результаты ВП исследований демонстрируют, что мозг по-разному реагирует на то, насколько прагматически велика вероятность анафорической связи между местоимением и его антецедентом. Когда название профессии типа *госсекретарь* находится в анафорической связи с личным местоимением в мужском роде *он*, на этапе 200 мс наблюдается меньшая амплитуда LAN-компонента по сравнению с местоимением в женском роде *она* [King, Kutas 1995]. В случае с местоимением в женском роде мозг склонен считать, что *он* скорее всего относится к какому-то новому участнику ситуации, поскольку анафорическая связь *она* – *госсекретарь* является прагматически маловероятной. В этом случае большая амплитуда негативности LAN-компонента отражает нагрузку на рабочую память, так как человеку приходится держать в памяти информацию о двух участниках дискурса, а не просто об одном госсекретаре. Таким образом, можно заключить, что процесс понимания местоимений находит свое отражение в реальных ВП, а их характеристики могут помочь определить характер устанавливаемой в рабочей памяти анафорической связи между местоимением и существительным-антецедентом.

Вероятность или ожидаемость конкретной синтаксической структуры играет важную роль и в том, как мозг воспринимает разные аспекты грамматической информации в предложении. Многие виды грамматических нарушений вызывают так называемый компонент Р600, “позднюю позитивность” (late positivity), иначе называемый *позитивным синтаксическим сдвигом* (the syntactic positive shift, PSP) [Osterhout, Holcomb 1992; Nagoort, Brown, Groothusen 1993]. Начало этого компонента может варьироваться, но его пик в среднем приходится на этап 600 мс после подачи стимула. Топографически компонент Р600 более всего заметен в задних долях коры головного мозга (хотя в литературе есть упоминания и о некоторой активности передних долей). Р600 обычно появляется в тех случаях, когда структура предложения содержит нарушения грамматических правил языка, например, при неправильном согласовании подлежащего и сказуемого по числу: англ. **they was* ‘они был’, при наличии местоимения в неправильном падеже **the plane took we to Italy* ‘самолет, который доставил мы в Италию’, или при неправильном порядке слов внутри словосочетания **Max’s of proof the theorem* ‘Максом доказательство теоремы’. Следует отметить, что Р600 вызывается не только грамматическими нарушениями, но и в тех случаях, когда механизм восприятия языка сталкивается с дополнительной нагрузкой, возникающей при анализе сложных синтаксических конструкций (о чем более подробно пойдет речь ниже, в разделе 4, посвященном использованию метода ВП для исследования порядка слов в разных языках).

С чем же именно связано появление компонента Р600? Кулсон, Кинг и Кутас [Coulson, King, Kutas 1998] исследовали ВП, возникающие при грамматических нарушениях двух видов, а именно, при постановке местоимения в неправильный падеж и при неправильном согласовании подлежащего со сказуемым. В процессе эксперимента варьировалась частота встречаемости этих нарушений. Оказалось, что компонент Р600 возникал всякий раз, когда испытуемый реагировал на грамматическое нарушение, но при этом реже встречающиеся грамматические нарушения вызывали Р600 с большей амплитудой, чем часто встречающиеся нарушения. Более того, даже правильные синтаксические конструкции вызывали Р600, если их было меньше, чем конструкций с грамматическими нарушениями. Отсюда следует, что та же самая область мозга, которая реагирует на грамматические нарушения, реагирует и на их вероятность / частотность. В отличие от компонента N400, кратко описанного выше, компонент Р600 обычно не наблюдается при семантических аномалиях; он возникает в основном как реакция на морфосинтаксические нарушения в языке. Можно сделать вывод, что синтаксический анализ предложения начинается с оценки вероятности данной синтаксической конструкции в языке, и эта вероятность постоянно обновляется в соответствии с текущим опытом человека. Может ли Р600 возникать в результате других, лингвистических факторов, остается вопросом для дальнейших исследований.

3.3. Роль памяти при синтаксическом анализе предложений

Итак, мозг быстро реагирует как на лексическую и синтаксическую частотность, так и на то, насколько недавно данный конкретный стимул уже встречался при анализе. При этом амплитуда ВП варьируется в зависимости от характеристик стимула, начиная с физических параметров и заканчивая его сочетаемостью с другими стимулами, которые вместе могут образовывать словосочетание или предложение. Очевидно, что реакция мозга на то, как конкретный стимул взаимодействует со своим окружением, отражает важность синтагматических связей между единицами языка и их место в процессе семантического анализа текста. Семантический анализ словосочетания, предложения и, в конечном итоге, текста зависит от того, как разные слова соотносятся друг с другом и как они и их составляющие соотносятся с общим знанием о мире, хранящемся в долговременной памяти. Исследования с помощью метода ВП, в частности, позволяют охарактеризовать процесс установления подобных отношений между словами и их интеграцию с уже существующими в памяти знаниями.

Языковые единицы, которые отделены друг от друга во времени и пространстве, тем не менее связаны между собой многими отношениями. Восприятие таких разрывных составляющих осложнено необходимостью их временного хранения в рабочей памяти. Даже простые повествовательные предложения типа *В тот самый день Маргарита проснулась около полудня в своей спальне* вызывают нагрузку на рабочую память. Например, при анализе местоимения *своей* необходима отсылка на именную группу *Маргарита*, а конкретная грамматическая информация, относящаяся к подлежащему (единственное число, женский род), требует согласования сказуемого по числу и роду. Очевидно, что более сложные синтаксические конструкции, как, например, сложноподчиненные предложения с определительным придаточным, распространяющим подлежащее типа *Всё та же непонятная тоска, которая уже приходила на балконе, пронизала всё его существо*, требуют еще больших ресурсов памяти, чем простые повествовательные предложения. Необходимо установить связь между словами *тоска* и *которая*, являющимися подлежащими в главном и в придаточном предложениях. Однако даже такие предложения воспринимаются легче, чем сложноподчиненные предложения, в которых определительное придаточное относится не к подлежащему, а к прямому дополнению типа *Разрушение, которое Маргарита производила, доставляло ей жгучее наслаждение*. Здесь подлежащее главного предложения *разрушение*, к которому относится определительное придаточное, отличается от подлежащего придаточного *Маргарита*, что и является причиной дополнительной нагрузки на память при восприятии.

Метод ВП позволяет экспериментально проверить гипотезу о том, что эти два вида сложноподчиненных предложений связаны с различной нагрузкой на рабочую память в процессе их восприятия [Friederici, Steinhauer, Mecklinger, Meyer 1998]. При проведении подобных экспериментов у испытуемых сначала собирают данные, позволяющие охарактеризовать их индивидуальные когнитивные способности и разделить на группы с разным объемом оперативной памяти (working memory “span”). ВП, записанные у испытуемых в процессе эксперимента, рассматривают как функцию от наличия и типа структурной сложности воспринимаемых предложений. Так, например, Кинг и Кутас [King, Kutas 1998] сравнили ВП, записанные в процессе восприятия сложноподчиненных предложений с определительным придаточным, относящимся либо к подлежащему (1а), либо к прямому дополнению в главном предложении (1б):

- (1) a. The reporter₁ who₁ followed₁ the senator admitted the error.
Журналист, который следил за сенатором, признал свою ошибку
б. The reporter₁ who₁ the senator followed₁ admitted the error.
Журналист, за сенатор следил, признал свою ошибку
которым

Испытуемые читали такие предложения пословно при помощи метода быстрого серийного визуального предъявления (см. раздел 2.2). При анализе предложения (1б) к моменту появления в предложении второй именной группы (ИГ) *the senator* 'сенатор' испытуемый вынужден продолжать хранить в оперативной памяти ИГ1 *the reporter* 'журналист'. По сравнению с предложением (1а) ИГ2 в предложении (1б) вызвала LAN-компонент (левую переднюю негативность) с большей амплитудой у людей с большим объемом оперативной памяти. В противовес этому, амплитуда LAN-компонента у людей с меньшим объемом оперативной памяти была большой, но при этом была одинаковой в обоих типах предложений, подтверждая тем самым гипотезу, что при меньшем объеме оперативной памяти нагрузка на память возникает и при более легких предложениях типа (1а). По результатам этого, а также подобных экспериментов с устной речью был сделан вывод, что левая передняя негативность является компонентом, который характеризует общую нагрузку на оперативную память, вне зависимости от модальности поступающего стимула (визуальной или слуховой). Подтверждение этому предположению было найдено при анализе простых предложений с заполнителем / пропуском (*filler-gap dependencies*; см. [Секерина 2001]) типа вопросительных *Who_i did the doctor cure _i?* 'Кого вылечил доктор?'. В таких предложениях заполнитель *who* 'кого' связан с пропуском на месте прямого дополнения после глагола *cure* 'вылечил', и ВП англоговорящих испытуемых на месте пропуска характеризуются LAN-компонентом [Kluender, Kutas 1993].

Надо отметить, что влияние оперативной памяти в процессе синтаксического анализа предложений наиболее заметно в длиннотатентных ВП, которые протекают не так коротечно, как N400 и P600. Так, например, при восприятии сложноподчиненных предложений с разными определительными придаточными (распространяющими либо подлежащее, либо прямое дополнение) испытуемые с большим объемом оперативной памяти демонстрируют так называемый *длительный позитивный сдвиг* в передних долях головного мозга, и этот сдвиг наблюдается на протяжении всего придаточного предложения. У испытуемых с меньшим объемом оперативной памяти этот длительный позитивный сдвиг не наблюдается. Этот компонент можно обнаружить при анализе даже простых предложений с переходными глаголами; при этом у людей с большим объемом оперативной памяти длительный позитивный сдвиг значительно более выражен, чем у людей с меньшим объемом. Люди с меньшим объемом оперативной памяти обычно характеризуются ярко выраженным сложным компонентом P1-N1-P2 на этапе раннего, перцептивного, распознавания слов. На этом основании можно сделать заключение, что люди с меньшим объемом оперативной памяти затрачивают значительно больше усилий на низших, перцептивных, уровнях восприятия стимула, чем люди с большим объемом, и поэтому у них остается меньше ресурсов для восприятия сигнала на высших, когнитивных, уровнях, для которых характерен длительный позитивный сдвиг. Эта гипотеза подтверждается и данными ВП экспериментов с людьми пожилого возраста: их вызванные потенциалы очень похожи на ВП молодых людей с меньшим объемом оперативной памяти.

Итак, можно прийти к выводу, что приведенные выше результаты ВП экспериментов подтверждают гипотезу, ранее сформулированную на материале поведенческих экспериментов: процесс восприятия языка напрямую связан с хранением и извлечением информации из оперативной памяти [Carpenter, Just 1989]. Только прибегая к помощи оперативной памяти, мозг в состоянии воспринимать и перерабатывать сложные взаимоотношения между разными частями языкового стимула, разворачивающиеся во времени и пространстве. Структуры, которые отвечают за внимание, тоже оказываются активно задействованными в этом процессе: если возникает необходимость обратить особое внимание на процесс распознавания языкового стимула на низших, перцептивных, уровнях, то остается меньше ресурсов на его обработку на высших, когнитивных, уровнях.

3.4. Семантический анализ в процессе восприятия

Обратимся теперь к процессу установления смысла высказывания. В конечном итоге воспринимаемый языковой стимул должен быть осмыслен и соотнесен с общим знанием о мире, которое хранится в долговременной памяти. Слова, как известно, являются знаками, а связь между значением и формой знака устанавливается произвольно. Эта способность человека употреблять, запоминать и комбинировать огромное количество знаков в разных семиотических системах является одним из ведущих факторов, которые выделяют человека среди других биологических видов. На начальном этапе восприятия слова представляют собой не что иное, как физические сигналы, и их визуальные или акустические параметры подлежат распознаванию и перцептивной классификации. В конечном счете, именно слова оказываются теми ключами, которые открывают доступ к пластам информации, хранящейся в долговременной памяти человека. Ассоциативные связи слов устанавливаются благодаря многочисленным перцептивным явлениям, которые способствовали возникновению и укреплению исходных ассоциативных сетей. Так, например, слово *морковка* включает в свою ассоциативную сеть такие перцептивные характеристики, как форма и цвет, запах, вкус, гладкость и упругость, звук похрустывания при еде и т.д. Вопросы, связанные с устройством долговременной памяти (ее внутренняя организация, виды информации и доступ к ним), составляют одно из наиболее активно разрабатываемых направлений в современной когнитивной психологии и нейронауке.

При помощи метода ВП можно исследовать, какими видами информации, относящейся к словам, пользуются слушатели и читатели при восприятии устной и письменной речи и каковы временные параметры этого процесса. Кроме того, поскольку ВП обладают очень точной временной разрешающей способностью (можно четко выделить потенциалы, характеризующие слово, предложение или текст), этот метод широко применяется при исследовании вопроса о том, как информация о конкретных словах обобщается для установления смысла всего предложения. Уже на раннем этапе восприятия языкового стимула (250–300 мс после его восприятия) можно записать ВП, характеризующие отдельные аспекты установления смысла. Они отличаются негативностью, характеризующей в основном задние доли коры головного мозга правого полушария. При этом стимулы могут быть очень разными: слова и псевдослова, представленные визуально, устно или при помощи жестов [Holcomb, Neville 1990], картинки [Nigam, Hoffman, Simons 1992], лица [Barrett, Rugg 1989] и звуки окружающей среды, несущие семантическую нагрузку [Van Petten, Rheinfelder 1995]. Речь идет о компоненте N400, который был описан выше в разделе 3.1, посвященном частотности и повторяемости слов. N400 наблюдается в ВП нормальных взрослых и детей в процессе установления смысла языковых стимулов или стимулов, которые потенциально могут иметь смысл, как, например, псевдослова. Было высказано предположение, что компонент N400 возникает при поиске смысловой информации в долговременной памяти: действительно, амплитуда N400 зависит от факторов, которые оказывают существенное влияние на память (количество запоминаемых слов и промежуток времени между словами). Амплитуда компонента уменьшается, а длительность увеличивается с возрастом; эти же параметры претерпевают еще большие изменения в ВП испытуемых с различными формами деменции [Iragui, Kutas, Mitchiner, Hillyard 1993].

Итак, компонент N400 отражает определенные аспекты смысла, поскольку амплитуда этого компонента зависит от семантических характеристик предшествующего контекста, будь то просто отдельное слово, предложение или текст. В частности, амплитуда N400 при восприятии слова в списке уменьшается, если предшествующее ему слово связано с ним по смыслу. Холком и Невилл [Holcomb, Neville 1990] показали, что амплитуда N400 при восприятии слова *собака* уменьшается, если ему предшествует слово *кошка*, по сравнению с тем случаем, когда ему предшествует слово *чайка*. На уровне предложения амплитуда N400 уменьшается в зависимости от того, насколько хорошо слово вписывается в контекст. Когда семантика слова совершенно не отвечает контексту, на-

пример, *Он пьет кофе с сахаром и сосиской*, амплитуда N400 самая большая. Если слово с натяжкой может быть употреблено в данном контексте *Он пьет кофе с сахаром и медом*, амплитуда N400 уменьшается, но она все равно больше, чем в семантически предсказуемых предложениях *Он пьет кофе с сахаром и сливками* [Kutas, Hillyard 1984]. Зависит амплитуда N400 и от характера текста. Предложения *Мышка медленно спряталась в норку* и *Мышка быстро спряталась в норку* вне контекста являются семантически приемлемыми. Однако, если предложению предшествует контекст типа *Заглянув под стол, кошка обнаружила мышку, поедавшую крошки. Мышка...*, наречия *медленно* и *быстро* уже будут восприниматься по-разному, а именно, амплитуда N400 будет значительно больше для слова *медленно*, чем для слова *быстро* [van Berkum, Nagoort, Brown 1999]. Таким образом, лексические, семантические и дискурсивные факторы в равной мере начинают оказывать свое влияние на процесс установления смысла на этапе 400 мс. Дополнительные доказательства в пользу гипотезы о том, что N400 характеризует процесс семантической интеграции, можно найти в литературе, посвященной афазии. Свааб, Браун и Хагурт [Swaab, Brown, Nagoort 1997] показали, что у больных афазией с нарушением понимания средней и тяжелой степени N400 начинается с задержкой и его амплитуда значительно ослаблена; при этом подобная картина отсутствует у больных с эквивалентными поражениями правого полушария.

Если N400 отражает поиск информации в памяти, то можно прийти к заключению, что информация о слове существует в некотором ментальном пространстве, параметры которого определяются нашим опытом. Мы можем составить представление о том, каковы эти параметры, при помощи экспериментов, использующих классификацию и определение логической правильности предложений. Контекст, а также другие факторы, от которых зависит амплитуда N400 (например, частотность и повторяемость), служат ориентирами для поиска информации в разных точках этого пространства. Обычно это такие точки, которые облегчают последующий поиск значения слов. Эта гипотеза подтверждается результатами следующего эксперимента [Fedemeier, Kutas 1999]. Испытуемым предложили прочитать следующую пару предложений (2):

- (2) а. Анна хотела побаловать гостей настоящим американским десертом.
б. Она вышла в сад и сорвала несколько_____.

Можно закончить (2б) разными способами: (1) наиболее отвечающим контексту и ожидаемым словом *яблок*, (2) неожиданным словом *апельсинов*, но из той же семантической категории, или (3) неожиданным словом из другой семантической категории *помидоров*. Два последних варианта, неожиданные слова по сравнению с ожидаемым окончанием, вызвали у испытуемых N400. Однако несмотря на то, что оба слова, *апельсинов* и *помидоров*, не подходят в данном контексте, неожиданное слово из той же семантической категории *апельсинов* вызвало N400 с меньшей амплитудой, чем неожиданное слово из другой семантической категории *помидоров*. Уменьшение амплитуды коррелирует с семантической конгруэнтностью слова, т.е. с тем, насколько это слово ожидается в данном контексте. Можно сделать вывод, что компонент N400 связан с организацией общего знания о мире (яблоки и апельсины имеют больше общих черт, чем яблоки и помидоры), а также с тем, как соотносятся слова и контекст, в котором они встречаются. На более абстрактном уровне можно утверждать, что процесс установления смысла предложения напрямую связан со структурой общего знания о мире в долговременной памяти.

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРЯДКА СЛОВ С ПОМОЩЬЮ ВП МЕТОДА

4.1. Проблема порядка слов в теоретической лингвистике

Экспериментальные исследования в рамках формальной психолингвистики, посвященные проблеме свободного порядка слов в разных языках, начали появляться в середине 1990-х годов, после того как эта проблема привлекла к себе пристальное внимание

теоретиков-лингвистов. В теории генеративной грамматики явление свободного порядка слов получило название *скрэмлинга* (scrambling) [Ross 1967]. Были предложены две интерпретации скрэмлинга. Хомский предложил рассматривать предложения с неканоническим порядком слов как результат передвижения ИГ из позиции, в которой она стояла в глубинной структуре предложения, в другую позицию в поверхностной структуре предложения. Так, например, в английском вопросительном предложении (3) вопросительная ИГ *what song* 'какую песню' передвигается из канонической позиции прямого дополнения в начало предложения, оставляя за собой пустую категорию-пропуск. Эта операция получила название α -Перемещение [Казенин, Тестелец 2001; Кондрашова, 2001].

(3) [What song]₁ did the children perform __₁ at the concert?

Какую песню дети исполнили на концерте

Применяя операцию α -Перемещения в повествовательных предложениях, можно получать предложения со свободным порядком слов, как это проиллюстрировано на примере немецкого языка в (4):

(4) Vielleicht will [den Physiker]₁ der Peter __₁ überlisten.

Возможно хочет врача Петер перехитрить

Идея о том, что скрэмлинг получается в результате перемещения ИГ и является разновидностью α -Перемещения, нашла широкую поддержку среди специалистов, занимающихся синтаксисом самых разных языков. Однако другие исследователи выдвинули альтернативную теорию: предложения со свободным порядком слов порождаются непосредственно, как они есть, с соответствующей именной группой в начале предложения и не являются результатом перемещения [Karimi 2003]. При этом и та, и другая идея пока не получили неопровержимых доказательств в свою пользу. Такое неопределенное состояние дел в теоретической лингвистике дало толчок к поиску эмпирических аргументов в пользу первой или второй теории. Предыдущий опыт показывает (как, например, в споре по поводу пустых категорий), что психолингвистические результаты могут представлять собой как раз тот недостающий аргумент в пользу того или иного теоретического осмысления лингвистической проблемы.

4.2. Использование ВП метода при исследовании порядка слов

Первые психолингвистические эксперименты, посвященные скрэмлингу, опирались на поведенческие методы, а именно, опросники, чтение с саморегуляцией скорости и кросс-модальный прайминг [Секерина 2001]. Особенное распространение такие эксперименты получили среди немецких психолингвистов, для которых проблема скрэмлинга является актуальной как для теоретической лингвистики (синтаксис), так и для прикладной (машинный перевод, теория усвоения языка). Несколько групп немецких исследователей в разных университетах [Bader, Meng 1999; Schlesewsky, Fanselow, Kliegl, Krems 1998] показали, что вопросительные предложения с обратным порядком слов, *wh-OSV*, в немецком языке обычно интерпретируются испытуемыми как *wh-SOV*. Предложения с каноническим порядком слов *SOV* прочитываются быстрее, чем предложения *OSV* со скрэмлингом. Подобные результаты принято считать аргументом в пользу теории о когнитивной нагрузке в процессе понимания, вызванной синтаксическим перемещением ИГ и необходимостью ее держать в оперативной памяти [Gibson 1998]. Фэдерстон и его коллеги [Clahsen, Featherston 1999; Featherston 1999] провели серию экспериментов, используя метод кросс-модального прайминга, и обнаружили, что на месте пропуска время реакции испытуемых на слово-прайм, семантически связанное с передвинутой ИГ, было значительно быстрее, чем в контрольных предложениях. Они сделали вывод, что эти результаты подтверждают теорию скрэмлинга как перемещения для немецкого языка.

Если на чтение вопросительных предложений и предложений со свободным порядком слов уходит больше времени, чем на чтение предложений с прямым порядком слов, то можно сделать вывод только о том, что оба вида предложений связаны с когнитивной нагрузкой, но нельзя установить, вызвана ли эта нагрузка одними и теми же факторами. Фридеричи, Шлезевский и Фибах [Fiebach, Schlesewsky, Friederici 2001; Friederici, Schlesewsky, Fiebach 2003] предложили использовать именно метод ВП для более детального рассмотрения вопроса о том, какие процессы лежат в основе восприятия вопросительных предложений и предложений со скрэмблингом. Фридеричи, Шлезевский и Фибах провели три ВП эксперимента на материале немецкого языка. Для первого эксперимента они выбрали два вида вопросительных предложений: (1) с подлежащим *wer* “кто” и (2) с прямым дополнением *wen* “кого”. Кроме того, вопросительное слово отделялось от своего пропуска либо одним обстоятельством места, либо двумя, т.е. расстояние между заполнителем и пропуском тоже являлось экспериментальным фактором. Результаты ВП 22 немецкоговорящих испытуемых показали, что вопросительные предложения с прямым дополнением, отделенным от своего пропуска двумя обстоятельствами и глаголом, характеризуются длительной левой негативностью, зарегистрированной на лобной доле. В трех других типах экспериментальных вопросительных предложений этот компонент отсутствовал. Был сделан вывод, что длительная левая негативность вызвана нагрузкой на оперативную память, когда возникает необходимость долго удерживать в памяти ИГ-заполнитель.

Во втором эксперименте были использованы сложные предложения с определительными либо изъяснительными придаточными, при этом определительные придаточные относились либо к подлежащему, либо к прямому дополнению, а изъяснительные придаточные были либо с прямым (подлежащее–прямое дополнение) либо с обратным (прямое дополнение–подлежащее) порядком слов. Важно отметить принципиальную разницу между определительными и изъяснительными предложениями: оба типа определительных придаточных содержат перемещенную непосредственную составляющую, а в изъяснительных перемещение ИГ имеет место только в предложениях с обратным порядком слов (5а), а именно, предложения типа (5а) содержат скрэмблинг, а (5б) нет.

- | | | | | | |
|--------|----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| (5) а. | Er wusste, daß | [die Professorinnen] ₁ | die Studentin | __ ₁ | gesucht hat. |
| | Он знал что | профессоров | студент | искал | |
| б. | Das | sind die Professorinnen, | die die Studentin | gesucht hat. | |
| | Это | есть профессора | которых студент | искал | |

При восприятии вспомогательного глагола *hat* была зарегистрирована поздняя позитивность, однако эта позитивность по своим характеристикам была различной для двух типов предложений. Исследователи предположили, что разница эта связана с тем, что эти два типа предложений различаются по характеру операции перемещения – скрэмблинг в (5а), но Wh-перемещение в (5б).

Третий эксперимент был непосредственно направлен на то, чтобы выявить компоненты, характеризующие скрэмблинг как таковой. В качестве экспериментальных предложений были выбраны два типа: предложения с перемещенной лексической ИГ типа *dem Jäger* “охотнику” (6а) и предложения с перемещенным личным местоимением типа *ihm* “ему” (6б).

- | | | | | | |
|--------|-------|---------------|------------|-----------|----------|
| (6) а. | Dann | hat dem Jäger | der Lehrer | den Roman | gegeben. |
| | Затем | охотнику | учитель | роман | дал |
| б. | Dann | hat ihm | der Lehrer | den Roman | gegeben. |
| | Затем | ему | учитель | роман | дал |

Определенный артикль *dem* в дательном падеже в (6а) вызвал негативность на разных электродах, но эта негативность отсутствовала в предложениях с местоимением *ihm* в (6б). При сравнении же артикля с местоимением и существительным (вне зависимости от наличия или отсутствия скрэмблинга в предложении) обнаружилось, что ВП в этом месте характеризовались наличием поздней позитивности. Таким образом, был сделан вывод, что скрэмблинг в немецком языке характеризуется наличием двух компонентов: LAN-компонент, за которым следует поздняя позитивность. Недавний ВП эксперимент на материале японского языка, в котором использовались вопросительные предложения и предложения со скрэмблингом, тоже показал двухмодальное распределение негативности-позитивности для скрэмблинга [Ueno, Kluender 2003]: между заполнителем и пропуском была зарегистрирована длительная передняя негативность, позиция непосредственно перед пропуском характеризовалась локализованным LAN-компонентом, а затем появилась поздняя позитивность.

Итак, суммируя результаты ВП экспериментов в двух языках со свободным порядком слов, можно выдвинуть следующую исходную гипотезу: предложения с обратным порядком слов, т.е. заполнителем/пропуском, характеризуются похожей электрической активностью мозга. При этом принадлежность языка к конкретной языковой семье, ограничения на порядок слов и орфография значения не имеют. Русский ВП эксперимент, описанный ниже в разделе 5, является попыткой эмпирической проверки этой гипотезы на материале русского языка.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВП МЕТОДА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОРЯДКА СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Русский эксперимент, описанный в данном разделе, был проведен в Институте лингвистики при университете Потсдама (Германия) при финансовой поддержке гранта, полученного автором данной статьи, от Национального Научного Фонда США (National Science Foundation, # INT-0107374). Это был совместный научный проект, в котором приняли участие автор данной статьи и немецкие коллеги: Штефан Фриш, Маттиас Шлезевский и Даглас Сэдди. Опираясь на имеющиеся данные результатов ВП экспериментов на материале немецкого и японского языков, мы поставили перед собой задачу сравнить процесс понимания предложений со свободным порядком слов в немецком и русском языках. Эксперимент был спланирован для проверки гипотезы о том, что свободный порядок слов в русском языке будет сопряжен с когнитивной нагрузкой на оперативную память и, соответственно, должен вызвать двухмодальное распределение негативности-позитивности, описанное в разделе 4.2. Гипотеза также содержала утверждение о том, что характер, амплитуда и топография этих компонентов относительно универсальны и поэтому должны возникать в процессе понимания предложений со свободным порядком слов во всех языках, где существует скрэмблинг. Таким образом, ожидалось, что результаты русского ВП эксперимента будут сходными с результатами немецкого.

5.1. Испытуемые

Испытуемые для данного эксперимента набирались среди русскоязычных взрослых, проживающих в Потсдаме и Берлине. Возраст участников был ограничен, от 18 до 35 лет. В эксперименте приняли участие 29 испытуемых, 16 мужчин и 13 женщин; все участники были правшами. Средний возраст участников составил 25 лет. В зависимости от уровня знания немецкого языка испытуемые распределились на три группы: только русский язык (на момент проведения эксперимента срок проживания в Германии не превышал 6 месяцев), немецкий язык как второй (несбалансированное двуязычие, обучение в Германии из российских вузов) и немецкий и русский в равной степени (сбалансированное двуязычие, родились в Германии в русскоязычных семьях). Семь человек

говорили только по-русски, 14 были отнесены к группе несбалансированного двуязычия и восемь к группе сбалансированного двуязычия. Все испытуемые добровольно выразили желание принять участие в эксперименте. В среднем каждый испытуемый провел в ВП лаборатории три часа, включая время на подготовку, проведение и приведение себя в порядок после эксперимента.

5.2. Метод

Каждое экспериментальное предложение было представлено в четырех видах, которые и составили четыре экспериментальных условия. Во-первых, предложение было либо повествовательным, либо вопросительным; во-вторых, в нем был либо прямой (прямое дополнение перед глаголом), либо обратный порядок слов (прямое дополнение вынесено в позицию начала предложения). Все четыре вида представлены в Таблице 1 (пример (7)).

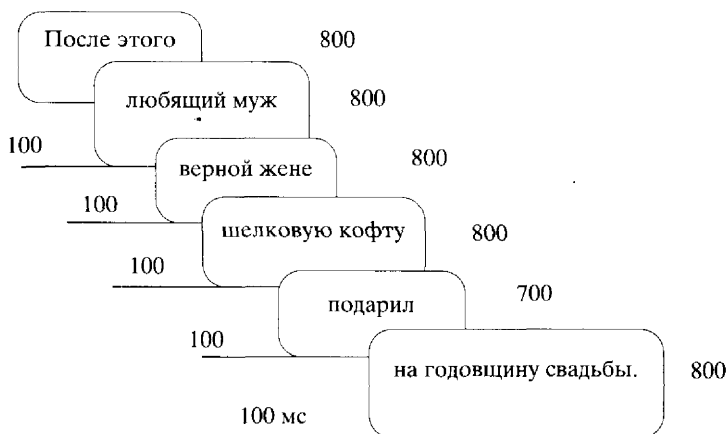
Таблица 1

Пример экспериментального предложения

(7)	Усл.	Пример
а	СПП	<i>Любящий муж верной жене шелковую кофту подарил на годовщину свадьбы.</i>
б	СОП	<i>Шелковую кофту любящий муж верной жене подарил _ на годовщину свадьбы.</i>
в	ВПП	<i>Какой муж верной жене шелковую кофту подарил на годовщину свадьбы?</i>
г	ВОП	<i>Какую кофту любящий муж верной жене подарил _ на годовщину свадьбы?</i>

Четыре условия в примере (7) в Таблице 1 закодированы следующим образом: С – предложения со скрэмблингом, В – вопросительные предложения, ПП – прямой порядок слов, ОП – перемещение прямого дополнения (обратный порядок слов). Таким образом, был применен факторный экспериментальный план 2 × 2: тип предложения (со скрэмблингом или вопросительное) и порядок слов (прямой, без перемещения, или обратный, с перемещением прямого дополнения). Надо отметить, что в примере (7) есть еще один дополнительный фактор, связанный с порядком слов. Оба дополнения находятся в позиции, предшествующей глаголу, что не является канонической позицией дополнения в русском языке. Однако эта манипуляция была произведена во всех условиях и, таким образом, постоянно присутствовала во всех предложениях. Это было необходимо по двум причинам: во-первых, для того, чтобы увеличить расстояние между заполнителем и пропуском, и, во-вторых, для того, чтобы можно было напрямую сравнивать русские предложения с немецкими, для которых характерна постановка прямого дополнения в позицию перед глаголом.

Для эксперимента было подготовлено 20 предложений типа примера (7), при этом каждое предложение было представлено во всех четырех условиях и встретилось в эксперименте дважды. Следовательно, эксперимент состоял из 160 экспериментальных предложений (20 предложений в четырех условиях), которые были дополнены 80 отвлекающими предложениями. Таким образом, каждый испытуемый прочитал в течение эксперимента 240 предложений, разбитых на шесть блоков по 40 предложений в каждом. Порядок появления каждого предложения в каждом конкретном условии, а также порядок появления блоков, были рандомизированы и, соответственно, были разными для каждого участника эксперимента. Предложения были представлены на экране стимульного компьютера пофразно (см. Рис. 2):



Подарил ли любящий брат верной жене кофту на свадьбу? – Кнопка “Нет”

Рис. 2. Пофрагментное представление экспериментального предложения

Вслед за предложением на экране появлялся контрольный вопрос: *Подарил ли любящий брат верной жене кофту на свадьбу?* (правильный ответ НЕТ). Задача испытуемых заключалась в том, чтобы при минимальном движении головы и глаз внимательно читать предложения по фрагментам и быстро и правильно отвечать на контрольные вопросы, нажимая на кнопку ДА или НЕТ.

Процедура проведения данного эксперимента была подробно описана в разделе 2. Была использована ВП система компании Нейроскэн с 64 отведениями (электродами). При проведении эксперимента были задействованы только 20 электродов в следующей конфигурации (см. Рис. 1): средняя линия (FZ, FCZ, CZ, CPZ, PZ, POZ), лобные (F3, F4, F7, F8), лобно-центральные (FC5, FC6), центральные (C3, C4), центрально-теменные (CP5, CP6) и теменные (P3, P4, P7, P8).

5.3. Результаты

Поведенческие данные, полученные от 29 испытуемых, были обработаны в соответствии с процедурами, описанными в разделе 2 выше. Двое испытуемых были исключены из анализа на этапе обработки поведенческих данных, один из-за низкого процента правильности ответов, другой из-за неполадок в оборудовании. Еще семь человек были исключены на этапе обработки ВП данных, так как большой процент их ВП содержал артефакты, т.е. движения глаз и головы, затрудняющие выявление электрической активности мозга, относящейся непосредственно к экспериментальным предложениям. Таким образом, результаты эксперимента основаны на данных 20 испытуемых.

Поведенческие данные состоят из двух компонентов: правильности ответа на контрольный вопрос и времени реакции при ответе. Однако делать выводы на основании этих данных нужно с осторожностью, так как они получены при ответах на контрольные вопросы, а не непосредственно при чтении предложений и поэтому только косвенно характеризуют процесс понимания интересующих нас предложений. В Таблице 2 приведены поведенческие данные для всех четырех условий эксперимента.

**Правильность ответа на вопрос и время реакции как функция типа предложения
и порядка слов**

	Предложения со скрэмблингом		Вопросительные предложения	
	СПП	СОП	ВПП	ВОП
Правильность (%)	92,8	89,1*	91,6	90,8
Время реакции (мс)	2091	2052	2045	2053

Как видно из данных, демонстрирующих правильность ответа на контрольные вопросы, испытуемые одинаково правильно отвечали на вопросы после вопросительных предложений, но сделали больше ошибок при ответе на вопросы после предложений со скрэмблингом с обратным порядком слов. Как показал дисперсионный анализ с факторами тип предложения $\times$ порядок слов, разница в 3,7% в правильности оказалась статистически значимой, $F(1,19) = 5,59, p < 0,05$. Время реакции при ответе на вопрос, однако, не отличалось в зависимости от условий, т.е. испытуемые одинаково быстро отвечали на вопросы по любому типу предложения и вне зависимости от порядка слов, $F(1) < 1$.

Обратимся теперь к анализу ВП данных. Для анализа были отобраны только те предложения, на которые испытуемые ответили правильно; усредненные 10% предложений, в которых были сделаны ошибки при ответе на контрольный вопрос, были исключены из анализа. Оставшиеся 90% экспериментальных предложений поступили на этап автоматической и ручной фильтрации данных. Результаты ВП данных были проанализированы для каждого из четырех фрагментов предложения отдельно (см. Таблицу 2), где ИГ1 (подлежащее/прямое дополнение), ИГ2 (косвенное дополнение/подлежащее), ИГ3 (прямое дополнение/косвенное дополнение).

Таблица 3

Фрагменты предложения, для которых анализировались ВП

	ИГ1	ИГ2	ИГ3	Глагол
Прямой порядок	<i>любящий муж</i> <i>какой муж</i>	<i>верной жене</i> <i>какой жене</i>	<i>шелковую кофту</i> <i>какую кофту</i>	<i>подарил</i>
Обратный порядок	<i>шелковую кофту</i> <i>какую кофту</i>	<i>любящий муж</i> <i>какой муж</i>	<i>верной жене</i> <i>какой жене</i>	<i>подарил</i>

Обратимся конкретно к описанию ВП мозга, записанных для каждой из интересующих нас трех ИГ.

ИГ1. На Рис. 3 приведены результаты при сравнении ВП для двух типов предложений в позиции ИГ1.

Как следует читать ВП результаты, представленные на рисунке 3? В левой части изображены данные для предложений со скрэмблингом (Scrambling conditions), в правой – для вопросительных предложений (WH-conditions). В каждой части рисунка представлены три компонента: (1) график-функция для конкретного электрода (в данном случае представлен CPZ – центрально-теменной электрод средней линии), (2) топография амплитуд ВП, схематически представленная на голове в виде регионов разного цвета, и (3)

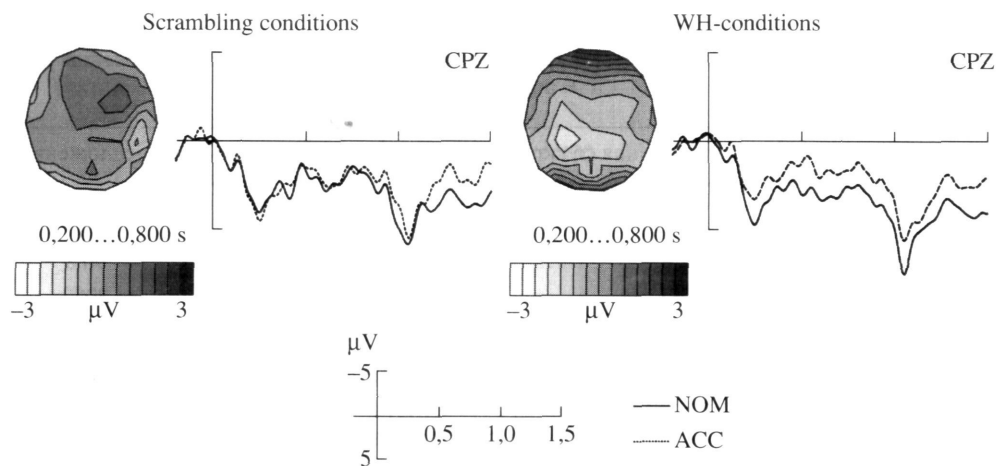


Рис. 3. ВП мозга, записанные во время чтения ИГ1. Сравнение предложений со скрэмблингом (слева) с вопросительными предложениями (справа)

масштаб и условные обозначения для расшифровки графика и топографии амплитуд. Надо заметить, что в данном конкретном случае рисунок представлен в черно-белом варианте, и цветовая гамма амплитуд, которая варьируется от светло-розового до темно-синего, выражается в интенсивности оттенков черного. При цветном изображении розовый цвет обозначает негативность (серый цвет на Рис. 3), синий цвет – позитивность (черный цвет на Рис. 3), а μV – это сопротивление в микровольтах. В самой нижней части рисунка представлены координаты для расшифровки графика-функции, где по оси Y указаны микровольты, а по оси X временные интервалы. Следует обратить особое внимание на то, что в отличие от математической традиции в ВП исследованиях негативность обозначается над осью X (сверху), а позитивность – под осью X (внизу). Пересечение осей (0 мс) означает начало конкретного фрагмента предложения, в нашем случае это начало ИГ1. Первый штрих на оси X равняется 500 мс от начала ИГ1, второй – 1000 мс, третий – 1500 мс. Вспомним, что длительность представления ИГ1, ИГ2 и ИГ3 во время эксперимента составляла 800 мс; таким образом, начало ИГ2 приходится на середину между первым и вторым штрихом на графике-функции Рис. 3. Справа от координат представлены условные обозначения для изображения ВП, записанных для предложений с прямым порядком слов, непрерывная темная линия (NOM, ИГ1 в именительном падеже – на графике нижняя линия) и для предложений с обратным порядком слов – прерывистая более светлая линия (ACC, ИГ2 в винительном падеже – на графике верхняя).

Хорошо видно, что в левой части Рис. 3 (предложения со скрэмблингом) обе линии ВП, для ИГ1 *любящий муж* в условиях СПП и *шелковую кофту* в условиях СОП, практически совпадают и, таким образом, друг от друга не отличаются. Можно сделать вывод, что на этапе прочтения первой именной группы ВП, записанные для повествовательных предложений с прямым и обратным порядком слов, не отличаются друг от друга. Однако в правой части Рис. 3 (вопросительные предложения) линии ВП для ИГ1 в вопросительных предложениях для двух порядков слов значительно отличаются друг от друга, а именно, вопросительные предложения с обратным порядком слов (*какую кофту*) вызвали негативность (прерывистая линия находится на графике выше), и начало этой негативности приходится на примерно 300 мс от начала ИГ1. Эта разница, т.е. наличие компонента негативности для вопросительных предложений с обратным порядком слов и его отсутствие для вопросительных предложений с прямым порядком слов (*какой муж*), является статистически значимой для группы электродов средней линии и

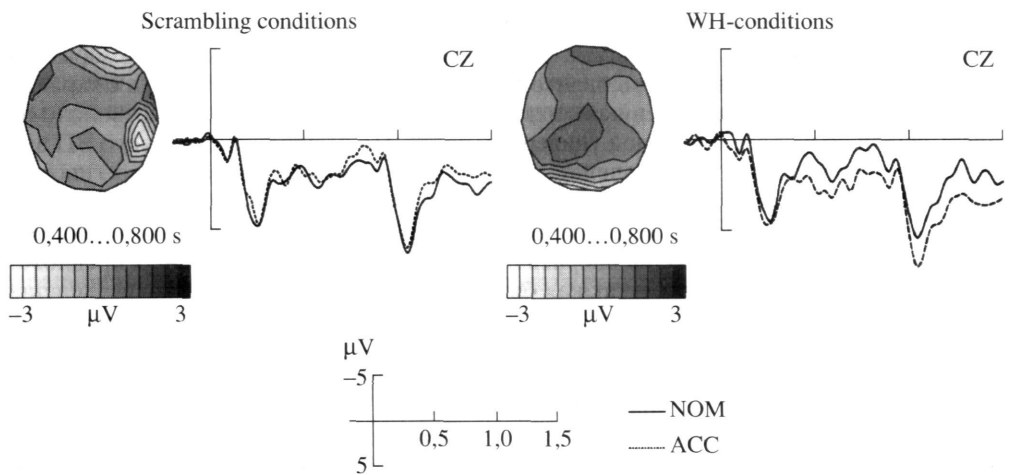


Рис. 4. ВП мозга, записанные во время чтения ИГ2. Сравнение предложений со скремблингом (слева) с вопросительными предложениями (справа)

левых лобных электродов. Таким образом, в русском языке вопросительные предложения вызывают негативность, а предложения со скремблингом нет.

На Рис. 4 приведены ВП результаты при сравнении двух типов предложений в позиции ИГ2.

При анализе ВП в позиции ИГ2 мы опять видим разницу между предложениями со Скремблингом и вопросительными предложениями, однако разница эта другого характера. Вспомним, что в этой позиции сравнивались косвенное дополнение (*верной жене*) в условии СПП и подлежащее (*любящий муж*) в условии СОП (см. Табл. 3). Как и в позиции ИГ1, так и здесь, в позиции ИГ2, ВП для прямого и обратного порядка слов в предложениях со скремблингом не отличались друг от друга: обе линии на графике в левой части Рис. 4 совпадают. Однако в вопросительных предложениях предложения с обратным порядком слов характеризуются позитивностью, начало которой приходится на примерно 500 мс от начала ИГ2. Прерывистая, более светлая линия для подлежащего (*какой муж*, ВОП) изображена на графике в правой части Рис. 4 ниже (более позитивная), чем сплошная темная линия для косвенного дополнения (*какой жене*, ВПП).

ИГ3 и глагол. Никаких значимых ВП эффектов в позиции ИГ3 не было обнаружено ни для одного из четырех условий эксперимента. В позиции глагола (*подарил*) была опять выявлена негативность, связанная с порядком слов и опять только для вопросительных предложений. Вопросительные предложения с обратным порядком слов охарактеризовались негативностью в районе 400 мс от начала глагола. Эта негативность была особенно ярко выражена на теменных электродах, в частности, на PZ, теменном электроде средней линии. Таким образом, был обнаружен главный эффект порядка слов в вопросительных предложениях, $F(1,19) = 4,84$, $p < 0,05$. Этот главный эффект отсутствовал для предложений со скремблингом.

5.4. Интерпретация результатов

Какие выводы можно сделать на основании полученных ВП результатов в эксперименте на материале русского языка? Напомним, что наша исходная гипотеза заключалась в том, что свободный порядок слов в русском языке будет сопряжен с когнитивной

нагрузкой на оперативную память и, следовательно, будет характеризоваться двухмодальным распределением негативности-позитивности. Также ожидалось, что характер, амплитуда и топография этих компонентов в русском языке будут сходными с характеристиками компонентов, выявленных в немецком и японском языках, что позволило бы сделать вывод об их потенциальной универсальности. По результатам русского ВП эксперимента мы приходим к заключению, что необходимо оценить исходную гипотезу для каждого из двух типов предложений в русском языке по отдельности.

Обратимся сначала к вопросительным предложениям. Мы нашли подтверждение гипотезе о когнитивной нагрузке на оперативную память для вопросительных предложений со свободным порядком слов, так как было выявлено двухмодальное распределение негативности-позитивности. Как только мозг начинает воспринимать ИГ1 (*какую кофту*), наличие вопросительного слова *какую* в винительном падеже требует построения такого начального синтаксического представления предложения, в котором эта ИГ не может быть подлежащим. Следовательно, она является вопросительным заполнителем, оказавшимся в начальной позиции в результате синтаксического перемещения при образовании вопроса *Какую кофту любящий муж верной жене подарил на годовщину свадьбы?* Необходимость хранения перемещенной ИГ *какую кофту* в памяти сопряжена с нагрузкой на оперативную память и, соответственно, с дополнительной электрической активностью мозга, которая напоминает N400 и находит свое выражение в виде негативности, зарегистрированной на электродах центральной линии. Именно такие параметры характеризовали перемещенное прямое дополнение и в немецком языке [Fiebach, Schleesewsky, Friederici 2001]. К этому моменту частичное синтаксическое представление предложения (7) в условии ВОП содержит перемещенное дополнение в качестве адъюнкта Инфлекссионной группы (IP) и его предполагаемый пропуск (8a):

- (8) а. $\{_{IP}\{_{NP}\text{какую кофту}\}_1 \dots\} \dots t_1 \dots$
 б. $\{_{IP}\{_{NP}\text{какую кофту}\}_1 \{_{I'}\{_{NP}\text{любящий муж}\} \{_1 \dots\} \dots\} \{_{VP} \dots t_1 \dots\}$

Когда на этап обработки поступает ИГ2 (*любящий муж*), которая стоит в именительном падеже, она подставляется в позицию подлежащего в составе Инфлекссионной группы (8б). При этом между перемещенным прямым дополнением (заполнителем) *какую кофту* и его следом (пропуском) t_1 устанавливается анафорическая связь, что позволяет интегрировать их в единую цепочку. Процесс интеграции перемещенной ИГ и ее следа находит свое отражение в позитивности, которая, вероятнее всего, представляет собой синтаксический позитивный сдвиг, компонент Р600. И опять именно такой же эффект был обнаружен и в немецком языке. Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопросительные предложения в русском языке действительно являются конструкцией с заполнителем/пропуском, то есть представляют собой продукт операции синтаксического перемещения с соответствующей для подобной операции электрической активностью мозга.

А какие выводы можно сделать для предложений со скрэмблингом? Очевидно, что для этих предложений мы должны отказаться от исходной гипотезы и сделать вывод о том, что предложения со скрэмблингом в русском языке принципиально отличаются от вопросительных предложений. Электрическая активность мозга в предложениях с прямым дополнением в начале предложения *Шелковую кофту любящий муж верной жене подарил на годовщину свадьбы* не выявила наличие когнитивной нагрузки на оперативную память в виде негативности: ВП с позиции ИГ1 в винительном падеже (*шелковую кофту*) не отличались от ИГ1 в именительном падеже (*любящий муж*). Параллельный вывод приходится сделать и по поводу интеграционного компонента Р600: ИГ2 в предложениях с прямым порядком слов ничем не отличалась от ИГ2 в предложении с обратным порядком слов. Остается предположить, что процесс построения синтаксического представления предложений со скрэмблингом в русском языке не требует постулирования конструкции с заполнителем / пропуском, как это проиллюстрировано для вопросительных предложений в (8) и, соответственно, не вызывает нагрузки на оперативную

память. Поиск более определенного ответа на вопрос, порождаются ли предложения со скремблингом непосредственно так, как они есть, без синтаксического перемещения, необходимо продолжать дальше как с точки зрения теоретического синтаксиса, так и с точки зрения экспериментальной психолингвистики.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запись вызванных потенциалов мозга представляет собой исключительно многообещающий метод в области экспериментальной психолингвистики. Его непосредственно операционный характер, позволяющий наблюдать реакцию мозга при восприятии и понимании языка, и высокая временная разрешающая способность позволяют детально анализировать языковые явления любого характера, начиная от процесса распознавания звуков речи и кончая процессом текстовой интеграции в дискурсе. Метод достаточно универсален, гибок и безвреден, что позволяет применять его для исследования языковых процессов с разными категориями испытуемых как с нормальными взрослыми и детьми, так и с больными афазией и детьми с общим недоразвитием речи и дислексией. Несмотря на относительно высокие затраты на необходимое первоначальное оборудование ВП лаборатории, в дальнейшем метод достаточно экономичен и позволяет поддерживать относительно высокий уровень загруженности лаборатории. Производители ВП оборудования постоянно совершенствуют ВП системы и обеспечивают техническую поддержку как самого оборудования, так и необходимого программного обеспечения для обработки ВП данных, что дает возможность многим университетам открывать лаборатории для экспериментальных исследований научного характера. Наличие большого количества активно работающих ВП лабораторий как в Европе, так и в США создает благоприятную почву для подготовки студентов-ассистентов и аспирантов, которые впоследствии могут эффективно участвовать как в работе существующих лабораторий, так и в дальнейшем организовывать собственные лаборатории. Прямая связь языковых исследований при помощи ВП метода с набирающей популярность нейронаукой позволяет искать точки соприкосновения интересов в когнитивной науке, т.е. в научных отраслях, смежных с лингвистикой, – с компьютерной наукой, экспериментальной психологией и прикладными медицинскими исследованиями. Многие научные журналы из этих смежных наук с готовностью печатают статьи, в которых языковые экспериментальные данные были собраны при помощи ВП метода. Возрастающий общий интерес в экспериментальной психолингвистике к исследованию разных языков привлекает к себе внимание и специалистов в области применения ВП метода, расширяя тем самым его возможности вносить свою лепту в психолингвистическую теорию и практику.

В России исследования речевых процессов на материале русского языка с помощью ВП метода проводятся уже давно, правда, в рамках нейрофизиологии. В качестве примера назовем исследования, проводимые А.Н. Шеповальниковым в лаборатории нейрофизиологии ребенка (<http://www.iephb.ru/01/lab01.htm>) при Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова [Панасевич, Цицерошин 2004; Цапарина, Шеповальников 2004; Шеповальников, Цицерошин 2004] и Ю.Д. Кропотовым в лаборатории нейробиологии программирования действий (<http://www.ihb.spb.ru/progr.html>) при Институте мозга человека [Бехтерева, Гоголицын, Кропотов, Медведев 1985; Яковенко, Кропотов, Чутко, Пономарев, Сурушкина 2004].

Есть все основания надеяться, что в ближайшем будущем начнут осуществляться ВП исследования непосредственно и в области русской экспериментальной психолингвистики. ВП метод позволит успешно исследовать многие интересные грамматические особенности русского языка, которые прольют свет на ряд актуальных вопросов в теоретической лингвистике и экспериментальной психолингвистике. Важными вопросами для будущих ВП исследований будут грамматический род, именные сказуемые в творительном падеже, родительный падеж отрицания, безличные предложения, анафора в дискурсе, кванторы и многие другие синтаксические явления в русском языке, статус кото-

рых активно дебатруется в теоретической славистике и экспериментальной психолингвистике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бехтерева, Гоголицын, Кропотов, Медведев 1985 – *Н.П. Бехтерева, Ю.П. Гоголицын, Ю.Д. Кропотов, С.В. Медведев*. Нейрофизиологические основы мышления. Л., 1985.
- Гнездицкий 1997 – *В.В. Гнездицкий*. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог, 1997.
- Гнездицкий 2003 – *В.В. Гнездицкий*. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. М., 2003.
- Казенин, Тестелец 2001 – *К.И. Казенин, Я.Г. Тестелец*. Исследование синтаксических ограничений в генеративной грамматике // А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А. Секерина (ред.). Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. 2-е изд. М., 2001.
- Кондрашова 2001 – *Н.Ю. Кондрашова*. Генеративная грамматика и проблема свободного порядка слов // А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А. Секерина (ред.). Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. 2-е изд. М., 2001.
- Панасевич, Цицерошин 2004 – *Е.А. Панасевич, М.Н. Цицерошин*. Особенности пространственно-временной организации ЭЭГ при выполнении вербальных заданий мужчинами и женщинами // Сенсорные системы. 18 (2). 2004.
- Секерина 2001 – *И.А. Секерина*. Психолингвистика // А.А. Кибрик, И.М. Кобозева, И.А. Секерина (ред.). Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. 2-е изд. М., 2001.
- Солсо, Джонсон, Бил 2001 – *Р. Солсо, Х. Джонсон, К. Бил*. Экспериментальная психология. Практический курс. 7-е изд. СПб., 2001.
- Цапарина, Шеповальников 2004 – *Д.М. Цапарина, А.Н. Шеповальников*. Роль межполушарного взаимодействия в процессе опознания ошибок в предъявляемом на слух вербальном материале // Сенсорные системы. 18(2). 2004.
- Шеповальников, Цицерошин 2004 – *А.Н. Шеповальников, М.Н. Цицерошин*. Формирование межрегионального взаимодействия кортикальных полей при речемыслительной деятельности // Журнал эволюционной биохимии и физиологии. 2004. № 5.
- Яковенко, Кропотов, Чутко, Пономарев, Сурушкина 2004 – *Е. А. Яковенко, Ю.Д. Кропотов, Л.С. Чутко, В.А. Пономарев, С.Ю. Сурушкина*. Изменения компонентного состава вызванных потенциалов в парадигме GO/NOGO у подростков с синдромом нарушения внимания с гиперактивностью // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 3. Биология. 2. 2004.
- Bader, Meng 1999 – *M. Bader, M. Meng*. Subject-object ambiguities in German embedded clauses: A cross-the-board comparison // Journal of psycholinguistic research. 28(2). 1999.
- Barrett, Rugg 1989 – *S.E. Barrett, M.D. Rugg*. Event-related potentials and the semantic matching of faces // Neuropsychologia. 27(7). 1989.
- Carpenter, Just 1989 – *P.A. Carpenter, M.A. Just*. The role of working memory in language comprehension // D. Klahr, K. Kotovsky (eds.). Complex information processing: The impact of Herbert A. Simon. Hillsdale, NJ: Inc. 1989.
- Clahsen, Featherston 1999 – *H. Clahsen, S. Featherston*. Antecedent priming at trace positions: Evidence from German scrambling // Journal of psycholinguistic research. 28(4). 1999.
- Coulson, King, Kutas 1998 – *S. Coulson, J.W. King, M. Kutas*. Expect the unexpected: Event-related brain response to morphosyntactic violations // Language and cognitive processes. 13(1). 1998.
- Featherston 1999 – *S. Featherston*. Empty categories in sentence processing: Psycholinguistic evidence from German. Doctoral Dissertation. University of Essex. 1999.
- Fiebach, Schlesewsky, Friederici 2001 – *C.J. Fiebach, M. Schlesewsky, A.D. Friederici*. Syntactic working memory and the establishment of filler-gap dependencies: Insights from ERPs and fMRI // Journal of psycholinguistic research. 30(3). 2001.
- Friederici, Schlesewsky, Fiebach 2003 – *A. Friederici, M. Schlesewsky, C. Fiebach*. Wh-movement vs. Scrambling: The brain makes a difference // S. Karimi (ed.). Word order and scrambling. Malden, 2003.
- Friederici, Steinhauer, Mecklinger, Meyer 1998 – *A.D. Friederici, K. Steinhauer, A. Mecklinger, M. Meyer*. Working memory constraints on syntactic ambiguity resolution as revealed by electrical brain responses // Biological psychology. 47(3). 1998.
- Gibson 1998 – *E. Gibson*. Linguistic complexity: Locality of syntactic dependencies // Cognition. 68. 1998.

- Hagoort, Brown, Groothusen 1993 – *P. Hagoort, C. Brown, J. Groothusen*. The syntactic positive shift (SPS) as an ERP measure of syntactic processing // *Language and cognitive processes*. 8(4). Special Issue: Event-related brain potentials in the study of language. 1993.
- Handy 2004 – *T.C. Handy* (ed). Event-related potentials. Cambridge (Mass.), 2004.
- Holcomb, Neville 1990 – *P.J. Holcomb, H.J. Neville*. Auditory and visual semantic priming in lexical decision: A comparison using event-related brain potentials // *Language and cognitive processes*. 5(4). 1990.
- Iragui, Kutas, Mitchiner, Hillyard 1993 – *V. Iragui, M. Kutas, M.R. Mitchiner, S. A. Hillyard*. Effects of aging on event-related potentials and reaction times in an auditory oddball task // *Psychophysiology*. 30(1). 1993.
- Karimi 2003 – *S. Karimi* (ed.). Word order and scrambling. Malden (Mass.), 2003.
- King, Kutas 1995 – *J.W. King, M. Kutas*. Who did what and when? Using word- and clause-level ERPs to monitor working memory usage in reading // *Journal of cognitive neuroscience*. 7(3). 1995.
- King, Kutas 1998 – *J.W. King, M. Kutas*. Neural plasticity in the dynamics of brain of human visual word recognition // *Neuroscience letters*. 244(2). 1998.
- Kluender, Kutas 1993 – *R. Kluender, M. Kutas*. Bridging the gap: Evidence from ERPs on the processing of unbounded dependencies // *Journal of cognitive neuroscience*. 5(2). 1993.
- Kutas, Dale 1997 – *M. Kutas, A. Dale*. Electrical and magnetic readings of mental functions // *M.D. Rugg* (ed.). *Cognitive neuroscience*. Hove (East Sussex), 1997.
- Kutas, Fedemeier, Sereno 1999 – *M. Kutas, K.D. Fedemeier, M.I. Sereno*. Current approaches to mapping language in electromagnetic space // *C.M. Brown, P. Hagoort* (eds). *The neuroscience of language*. Oxford, 1999.
- Kutas, Hillyard 1984 – *M. Kutas, S.A. Hillyard*. Brain potentials during reading reflect word expectancy and semantic association // *Nature*. 307(5947). 1984.
- Kutas, Van Petten 1994 – *M. Kutas, C.K. Van Petten*. Psycholinguistics electrified: Event-related brain potential investigations // *M.A. Gernsbacher* (ed.). *Handbook of psycholinguistics*. San Diego, 1994.
- Lee 1993 – *Y.-S. Lee*. Scrambling as case-driven obligatory movement. Doctoral Dissertation. University of Pennsylvania (Philadelphia). 1993.
- Nigam, Hoffman, Simons 1992 – *A. Nigam, J.E. Hoffman, R.F. Simons*. N400 to semantically anomalous pictures and words // *Journal of cognitive neuroscience*. 4(1). 1992.
- Osterhout 1994 – *L. Osterhout*. Event-related brain potentials as tools for comprehending language comprehension // *C. Clifton, L. Frazier, K. Rayner* (eds.). *Perspectives on sentence processing*. Hillsdale, NJ, 1994.
- Osterhout, Bersick, McKinnon 1997 – *L. Osterhout, M. Bersick, R. McKinnon*. Brain potentials elicited by words: Word length and frequency predict the latency of an early negativity // *Biological psychology*. 46(2). 1997.
- Osterhout, Holcomb 1992 – *L. Osterhout, P.J. Holcomb*. Event-related brain potentials elicited by syntactic anomaly // *Journal of memory and language*. 31(6). 1992.
- Osterhout, Holcomb 1995 – *L. Osterhout, P.J. Holcomb*. Event-related potentials and language comprehension // *M.D. Rugg, M.G.H. Coles* (eds.). *Electrophysiology of mind: Event-related brain potentials and cognition*. V. 25. Oxford, 1995.
- Ross 1967 – *J. Ross*. Constraints on variables in syntax. Doctoral Dissertation. Cambridge (Mass.), 1967.
- Schendan, Ganis, Kutas 1998 – *H.E. Schendan, G. Ganis, M. Kutas*. Neurophysiological evidence for visual perceptual categorization of words and faces within 150 ms // *Psychophysiology*. 37. 1998.
- Schlesewsky, Fanselow, Kliegl, Krems 1998 – *M. Schlesewsky, G. Fanselow, G. Kliegl, R. Krems*. Preferences for grammatical functions in the processing of locally ambiguous Wh-questions in German // *B. Hemforth, L. Konieczny* (eds.). *Cognitive parsing in German*. Dordrecht, 1998.
- Swaab, Brown, Hagoort 1997 – *T. Swaab, C. Brown, P. Hagoort*. Spoken sentence comprehension in aphasia: Event-related potentials evidence for a lexical integration deficit // *Journal of cognitive neuroscience*. 9(1). 1997.
- Ueno, Kluender 2003 – *M. Ueno, R. Kluender*. Event-related brain indices of Japanese scrambling // *Brain and language*. 86(2). 2003.
- Van Berkum, Hagoort, Brown 1999 – *J.J. Van Berkum, P. Hagoort, C.M. Brown*. Semantic integration in sentences and discourse: Evidence from the N400 // *Journal of cognitive neuroscience*. 11(6). 1999.
- Van Petten, Kutas 1991 – *C. Van Petten, M. Kutas*. Influences of semantic and syntactic context in open- and closed-class words // *Memory and cognition*. 19(1). 1991.
- Van Petten, Rheinfelder 1995 – *C. Van Petten, H. Rheinfelder*. Conceptual relationships between spoken words and environmental sounds: Event-related potential measures // *Neuropsychologia*. 33(4). 1995.

© 2006 г. А.И. СОЛОПОВ

ТОПОНИМЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ AUGUSTA, Σεβαστή, Σεβάστεια, Σεβαστόπολις, Αὐγουστόπολις В ГРЕКО-ЛАТИНСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ

В статье ставится проблема изучения греко-латинской географической номенклатуры как системы, констатируется ее иерархический характер и рассматриваются топонимы, относящиеся к самому верхнему слою этой иерархии, а именно – названия городов с элементами Augusta, Σεβαστή, Σεβάστεια, Σεβαστόπολις, Αὐγουστόπολις.

Анализ греко-римской топонимии императорского периода показывает, что она имела ярко выраженный иерархический характер. В зависимости от важности населенного пункта и его функциональных особенностей при его именовании использовались различные формальные приемы, включающие в себя как элементы словообразования (определенные существительные и прилагательные, определенные суффиксы), так и элементы семантики (использование слов определенного значения). Эти элементы внешнего грамматического оформления названия населенного пункта очень строго соблюдались в течение всего императорского периода и лишь в весьма редких случаях допускали исключения, как правило, объясняемые исключительным характером населенного пункта. Первыми по степени важности следуют в этой иерархии крупнейшие города и колонии (*urbes, coloniae*), второе место занимают города меньшего значения (*oppida, municipia*), затем следуют населенные пункты городского типа различной функциональной направленности (крепости, порты, курорты и минеральные источники, ярмарочные центры), еще ниже располагаются дорожные и береговые станции (*stationes, mansiones, mutationes*), из которых наиболее значительные выделяются в особую категорию (*fora*), и, наконец, низшее место в иерархии занимают населенные пункты сельского типа (деревни, села, поместья).

Среди элементов, участвовавших в образовании названий крупных городов, особое место занимают элементы с основой *august-*, из которых важнейшим является слово *Augusta* в форме женского рода (последнее, без сомнения, можно считать ключевым для всей категории крупнейших городов и колоний).

В императорский период прилагательное *Augustus* имело значение “императорский” и, по-видимому, именно этот смысл вкладывали в географические названия с элементом *Augusta* на протяжении большей части римской истории. Составители современных словарей латинского языка, как правило, не рискуют давать для слова *Augusta* как топонима или части топонима какого-либо конкретного перевода. Большинство используемых ныне латинских словарей рассматривают все географические названия с элементом *Augusta* как существительные женского рода и помещают их в словарную статью *Augusta -ae, f.* в качестве второго значения этого слова, обозначающего вне географической номенклатуры титул жены или, реже, другой родственницы императора: матери, дочери, сестры (первое значение, согласно рубрикации этих словарей). Такую трактовку топонима *Augusta* дает Оксфордский словарь латинского языка [OLD], а из более старых словарей – латинско-немецкий словарь [Georges 1913–1918] и латинско-французский словарь [Benoist, Goelzer 1934]. Словарь [Gaffiot, Flobert 2000] и словарь [Lewis, Short 1879] рассматривают слова *Augusta* “императрица” и *Augusta* как топоним не как

два значения одного и того же слова, а как два омонима, однако, как и многие другие, не дают перевода топонима. Единственный словарь, предлагающий перевод слова *Augusta* в топонимах, – это Оксфордский словарь: он приводит сочетание *colonia Augusta* среди прочих примеров употребления прилагательного *Augustus* III в значении “императорский”.

Названные лексикографические трактовки нельзя считать бесспорными. Анализ топонимического материала показывает, во-первых, что практически все города, называемые существительным *Augusta* (с определением или без определения), имеют дублетные варианты, в которых вместо *Augusta* выступает сочетание *Colonia Augusta*, где *Augusta* несомненно выступает в синтаксической роли определения и должно рассматриваться как прилагательное¹. Адъективный характер слова *Augustus* в топонимах особенно очевиден при сравнении его со словом *Augusta* в значении “императрица”, которое возникло как женское соответствие к слову *Augustus*, функционировавшему первоначально в качестве антропонима (*Imperator Caesar Augustus* как официальное имя Августа). Во-вторых, имеющиеся факты не позволяют считать, что прилагательное *Augustus* в сочетании *colonia Augusta* и в субстантивате *Augusta* всегда имело значение “императорский” и что именно это значение было первоначальным для топонимов с элементом *Augusta*.

Следует учитывать тот факт, что Август получил почетный титул *Augustus* только 16 января 27 г. до н.э., а первый город с элементом *Augusta* в названии – *Augusta Raurica* – был основан Люцием Мунацием Планком, проконсулом Галлии (*Gallia Comata*), летом 44 г. до н. э. Таким образом, в названии этого города прилагательное *augustus* никоим образом не может быть понято в смысле “императорский” – в момент основания города Август не только не имел еще титула *Augustus*, но даже, по-видимому, еще не был официально признан наследником Цезаря, носил свое первоначальное имя Гай Октавий (*G. Octavius*) и не имел отношения к основанию города *Augusta Raurica*. Как известно, Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н.э., и тогда же обнаружилось его завещание, по которому Октавий становился его наследником. Первый публичный случай, при котором народный трибун представил Августа народу в качестве наследника Цезаря, относится к 9 мая того же года (*Cic. Att. XIV 20, 5*). Тем не менее его усыновление к тому моменту еще не было юридически оформлено, и он пытался осуществить его посредством курiatного закона (*lex curiata*).

В эпоху, когда слово *Augusta* впервые было введено в римскую географическую номенклатуру, прилагательное *augustus* воспринималось исключительно как прилагательное возвышенного и преимущественно религиозного языка и имело значение “благодатный”. Этимологически *augustus* производно от существительного среднего рода **augos* (ср. *uenustus* от *Venus*, *gobustus* от *gobur*), буквально означающего “увеличение”, которое следует понимать как “увеличение, приумножение божественной благодати”². Впоследствии это существительное стало названием одной из категорий жрецов – авгуров (*augur*) и перешло в мужской род (аналогичным образом *Venus* перешло из среднего рода в женский).

Известно, что почетный титул *Augustus* был присвоен Августу Сенатом по предложению того же Люция Мунация Планка (*Suet. Aug. 7, 4*), который основал город *Augusta Raurica*: мы встречаемся с весьма редким в топонимике случаем, когда элемент топонимической системы имеет автора. Итак, с исторической точки зрения не топонимы с элементами *Augustus* были производными от почетного титула *Augustus*, а наоборот, почет-

¹ Синонимичный характер сочетания *colonia Augusta* и существительного *Augusta* отмечен уже в Оксфордском словаре латинского языка в статьях *Augusta 2.* и *Augustus III 1 <a>*.

² Первоначальное значение слова *augur* и его производных было раскрыто Куртом Латте в его основополагающей статье “*Augur und Templum in der Varronischen Auguralformel*”, впервые опубликованной в журнале “*Philologus*” в 1948, а затем – в собрании малых произведений К. Латте.

ный титул был предложен с опорой на создававшуюся в те годы традицию использования прилагательного *augustus*, имевшего ярко выраженный благоприятный с религиозной точки зрения характер в топонимике. Для последующего развития географической номенклатуры важно то, что уже сам Август быстро распознал возможности, заключенные в соотношении его нового титула с элементами топонимической системы, и сам основал несколько городов, названия которых содержали элемент *Augusta*, понимаемый уже как “Августов”. Первый такой город был основан им через три года после получения титула *Augustus* – это *Augusta Praetoria*, основанная Августом в 25 г. до н.э. [DNP 1996–2003, 2: *Augusta* 3]. К эпохе Августа, несомненно, относится также основание Августы Винделиков (*Augusta Vindelicum*), произошедшее, по-видимому, в 8/5 г. до н.э. В литературе высказывалось мнение, что все три города с названием *Augusta*, существовавшие к эпохе Августа – *Augusta Raurica*, *Augusta Praetoria* и *Augusta Vindelicum*, – объединялись не только своим названием, но были взаимосвязаны и образовывали единую систему военных укреплений³. Впоследствии названия с элементом *Augusta* стали соотноситься не с личностью Августа, а с императорской властью вообще, и поэтому такое название присваивалось разными императорами различным населенным пунктам, имевшим статус особо крупного или особо важного города. Хронологически последним именованием такого рода стало переименование британского города *Londinium* в *Augusta*, произошедшее предположительно в период между 326 и 365 гг. н.э.

В настоящей статье рассматриваются все засвидетельствованные в греко-римской географической номенклатуре топонимы, содержащие в себе основы *August-* и *Σεβαστ-*, с точки зрения их внешней и внутренней формы. Исследование построено прежде всего на данных новейшего “Баррингтонова атласа греко-римского мира” под редакцией Ричарда Тальберта [Talbert 2000]⁴, а также на материале “Тезауруса латинского языка” и других словарей, энциклопедий, специальных статей и монографий.

Формально элемент *Augusta* в качестве топонима или составной части топонима выступает то в виде прилагательного *Augustus* в форме женского рода единственного числа, то в качестве существительного, субстантивированного из этой формы, то в качестве составной части сложного слова. В зависимости от этого среди топонимов с элементом *Augusta* можно выделить четыре словообразовательные модели.

1. Модель “*augusta* (субстант.)” или “*augusta* (субстант.) + определение” и ее греческие производные *Σεβαστή/Σεβαστόπολις/Σεβάστεια/Αὐγουστόπολις*

Первая модель представляет собой употребление в названиях городов слова *Augusta* в качестве существительного женского рода. Как известно, по происхождению это слово является прилагательным *augustus* ~а ~um, и тем самым морфологически слово *Augusta* в таких названиях населенных пунктов, которые не содержат других существительных, следует считать субстантивацией, что ставит вопрос о том, какое именно существительное женского рода при нем подразумевается.

В латинском языке есть несколько слов, соответствующих русскому понятию “город”. Самые крупные из известных городов назывались по-латински словом *urbs*. В узком смысле это слово относится только к Риму, в более широком словоупотреблении оно распространяется на другие крупнейшие города, как правило, бывшие столицы других государств, впоследствии вошедших в состав Римской империи, например, на Афины, Константинополь, Антиохию, Александрию и др. Эпонимический характер употребления слова *urbs* в литературном латинском языке, при котором слово *urbs* факти-

³ “Strengthened by Augustus, it [= *Augusta Raurica*] formed with Aug. Praetoria and Aug. Vindelicorum a linked communication system and was a frontier post in the Upper Rhine valley” [OCD 1996: *Augusta* 2].

⁴ В настоящей работе для топонимов, учтенных в “Баррингтоновом атласе” Р. Тальберта, в скобках указывается их локализация согласно принятой в этом атласе системе сиглов.

чески было стилистическим синонимом слова Roma, препятствовал использованию этого существительного в образовании названий других городов Римского государства. Его наличие в названиях трех городов (в Испании и Италии) следует рассматривать как исключение: Colonia Vrbs Iulia (SPN, 27 E4), Vrbs Iulia (SPN, 27 E4) Vrbs Saluia (ITL, 42 E2), Vrbs Victrix (SPN, 25 E3). С названием Roma этот принцип проводится более отчетливым образом, и императорская топонимика знает только один город Roma – Рим; более того, нет даже названий, которые бы образовывались путем прибавления к слову Roma каких-либо прилагательных⁵.

С началом римской колонизации Италии появляется новое слово для обозначения крупного города – colonia. Слово colonia является прежде всего юридическим термином, обозначающим населенный пункт определенного правового статуса. Как известно, первоначально колонии подразделялись на coloniae ciuium Romanorum и coloniae Latinae в зависимости от того, участвовали ли в основании населенного пункта только римские граждане, или населенный пункт был заселен римскими гражданами совместно с гражданами городов-членов Латинского союза. Однако предоставление римского гражданства городам-членам Латинского союза и многим другим населенным пунктам, а также изменение военно-политической ситуации привели к изменению природы колоний. Хотя колонии продолжали основываться вплоть до эпохи позднего принципата, уже к I в. до н.э. колонии приобрели другой характер: это были колонии ветеранов, для которых земля приобреталась путем покупки, и титулярные колонии, доля которых в общем числе колоний неуклонно увеличивалась. Титулярными колониями принято называть города, которым присваивались титул и юридический статус колонии в знак почета или в качестве награды за какие-либо заслуги, так как положение колонии стало в ту эпоху более высоким, чем юридический статус муниципия (municipium). Топонимия императорского периода, на рассмотрении которой сосредоточивается настоящая работа, преимущественно подразумевает именно эту последнюю стадию развития термина colonia. Уже по своей этимологии (от colonus “поселенец”) слово colonia показывает, что речь идет о населенном пункте, вторичном по отношению к Риму. Тем самым не создается опасности нарушения иерархии, и потому слово colonia могло активно использоваться при образовании названий крупных населенных пунктов городского типа.

Итак, по указанным выше причинам существительным, подразумеваемым в топонимах с субстантиватом Augusta в форме женского рода, не может быть слово urbs. Вместе с тем есть все основания считать, что в этих случаях подразумевается слово colonia. Наиболее веским аргументом в пользу этого является то, что в тех названиях, где Augusta выступает в качестве прилагательного, существительным почти всегда бывает именно слово colonia.

Само по себе слово Augusta без каких-либо определений встречается в названиях шести городов:

Augusta (FRA, 17 E4 (Нарбонская Галлия ?)): совр. Aouste-sur-Sye [Sautel 1957: 94].

Augusta (FRA, 17 F2 et 18 C4 (Нарбонская Галлия ?)): совр. Aoste [Rougier 1986; 1988; Jospin, Laroche, Leyge 1990].

Αὐγουστὰ (Леквитания) (Ptol. II 7, 11). Город с этим названием находился, согласно Птолемеем, на территории племени аусков (Ausci), населявшего Аквитанию. Этот топоним пропущен в атласе Тальберта как на самой карте, так и в списке топонимов, не поддающихся локализации (см. карту 14).

⁵ За исключением топонимов Clostra (Romana) (ITL, 44 C3) и Ῥωμαίων ἄγρος (ТКΥ, 89 D3), нет даже названий с прилагательными Romanus (или Ῥωμαῖος) “римский”, что позволяет уверенно говорить о запрете на использование этого слова. Встречающийся трижды топоним Romula (ROM, 22 B4; 1 H2; SPN, 26 E4; SVN, 20 C4) с производным Sub Romula (ITL, 45 B2; 44 H3), видимо, следует рассматривать как производное от имени Ромула (Romulus), а не от Roma; сельский населенный пункт в Мёзии Romuliana (YUG, 21 E6) или Romulianum (Ps.-Aug. Vict. epit. 40, 16), совр. Гамзиград, был переименован родившимся в нем императором Галерием в честь своей матери Ромулы (Romula) (Ps.-Aug. Vict. epit. 40, 16).

Augusta (ITL, 40 C3). Предположительно отождествляется с совр. Ca' Umana [Uggeri 1978].

Augusta (Plin. n. h. V 93; Conc. Chalcedon. a. 451) [Mansi VII 402; Theodorus Augustensis Ciliciae primae; TKY, 66 G2 (Киликия), греч. Αὐγούστα (Ptol. V 8, 6; Steph. Byz. 68; 145; 313; Hierocl. p. 704, 7)]. Город в Киликии, основанный Тиберием в 20 г. н.э. (год основания известен достоверно, так как он стал начальным годом эры согласно принятому в этом городе летоисчислению) [DNP 1996–2003, 2: Augusta 8]. В 1955 г. этот город был отождествлен с развалинами населенного пункта римского времени, располагавшимися в 16 км к северу от г. Адана близ селения Гюбе (Gübe) [ТИБ 5.1, 1990: 201–202]. В настоящее время место, где находилось городище, затоплено водами Сейханского водохранилища. Другими названиями этого города были Augustopolis и Thebae (последнее восстанавливается ненадежно).

Augusta (UKG, 8 G3 et 11 A1) [Wacher 1995: 82–111]: совр. Лондон (London). Римское поселение на территории современного Лондона появилось примерно в 43 г. н.э., возможно, на месте уже существовавшего местного населенного пункта. Первоначальным латинским названием города было местное название Londinium, видимо, кельтского происхождения. В позднюю эпоху иногда использовался вариант oppidum Londiniense (Eum. paneg. ad Const. 17). В IV в. н.э. город был переименован в Augusta, о чем сообщает Аммиан Марцеллин [Amm. XXVII 8, 7 (tendens... ad Lundinium, uetus oppidum, quod Augustam posteritas appellauit); XXVIII 8, 7; 3, 1]. Точная дата этого переименования, как и повод для него, остаются спорными. Некоторые связывают переименование с посещением города императором Констанцием I в 306 г. [OCD 1996: Londinium], другие – с отражением в 367/368 гг. вторжения пиктов, скоттов и аттакоттов, успешно осуществленным комитом (comes) Феодосием [KP 1964–1975, 3: Londinium]. Помимо текста Аммиана Марцеллина, топоним Augusta используется по крайней мере еще один раз – в Martyrologium Hieronymianum, агиографическом сочинении со сложной историей, известном из рукописи, написанной в Галлии (по-видимому, в Оксере) в конце VI в. В этом тексте Augusta выступает как обозначение места деятельности (и, возможно, мученичества⁶) св. епископа Авгула (или Авгулия), жившего, по-видимому, в конце III – начале IV в. (до 314 г.) [Sharpe 2002]: A. d. VII Idus Februarias. In Britannii ciuitate Augusta⁷ natale Auguli episcopi et martyris Anatolii Andreae Ammonis Staciani Nepociani Luci Saturnini et Saturni⁸. Почти в тех же словах мученичество Авгула описывается в так называемом “Мартирологе Беды”, который, по-видимому, зависит от Martyrologium Hieronymianum и тем самым может использоваться для подтверждения его чтений (в частности, чтения Augusta): Britannis in Augusta natale Auguli episcopi et martyris [Quentin 1908: 49; Dubois, Renaud 1976: 32]. Третий вариант латинского названия Лондона встречается в “Равеннской космографии” в виде Londinium Augusti (Geog. Rau. V 31 (p. 106, 50 Schnetz)). Впрочем, это свидетельство нельзя считать надежным, так как оно вполне может представлять собой рукописную порчу вместо Londinium / Augusta. В любом случае название Augusta было ограничено в своем употреблении не только хронологически (с IV в. до конца римского владычества в Британии), но и стилистически: судя по тому, что все средневековые и современные названия Лондона являются продолжениями топонима Londinium, а Augusta не оставляет никаких следов, топоним Augusta употреблялся лишь в официальных случаях и документах.

К ним примыкают названия:

⁶ Некоторые рукописи дают чтение Auguli episcopi, некоторые – Auguli episcopi et martyris.

⁷ В рукописи бессмысленное Augurta.

⁸ В настоящее время используются преимущественно два издания [Martyrologium Hieronymianum 1894a: 18] (текст, основывающийся на чтениях трех рукописей конца VII–VIII вв.) и [Martyrologium Hieronymianum 1894b: 80] (критическое издание с примечаниями).

Noua Augusta (SPN, 24 H2; 25 B3 (Тарраконская Испания)) [Gimeno, Mayer 1993; TIR K-30 1993: 159], греч. Νοῦα Αὐγούστα (Ptol. II 6, 55). Предположительно совр. Лара-делос-Инфантес (Lara de los Infantes) [Gimeno, Mayer 1993]⁹.

Augusta Noua (Geogr. Rau. IV 26 p. 232). Неизвестный город в земле аламаннов. В атласе Тальберта отсутствует.

Названия городов, содержащие существительное Augusta, были очень распространены. В силу этого во избежание путаницы к существительному Augusta прибавлялось определение (согласованное или несогласованное). Неудивительно, что названия городов, в которых Augusta имеет при себе определение, встречаются гораздо чаще, чем названия городов, содержащих слово Augusta без определения. Из 21 названия городов с существительным Augusta только пять (перечисленных выше) всегда лишены постпозитивного определения, а остальные 15 имеют при себе определение:

[Augusta] Ambianorum (FRA, 11 B2 et 8 I4 (Бельгия)): совр. Э (Eu, округ Дьеп департамента Нижняя Сена) [TIR 1975: 84; Stillwell 1976; Fichtl 1994: 161; Rogeret 1997: 255]. Следует отличать город [Augusta] Ambianorum от находившегося также в земле амбианов города Samarobriua Ambianorum (совр. Амьен (Amiens) [TIR 1975: 29–31; Bayard, Massy 1983]).

Augusta Bagiennorum (ITL, 39 B4 (Италия, Лигурия)), греч. Αὐγούστα Βαγιεννῶν (Ptol. III 1, 31): совр. Бене-Ваджиенна (Bene Vagienna). Город был основан до V в. до н.э. [DNP 1996–2003, 2: Augusta 1] и имел статус муниципия [CIL V: 7135].

Augusta Firma (SPN, 26 E4 (Бетика)) (Plin. n. h. III 12: Singilis fluuius, in Baetim quo dictum est ordine inrumpens, Astigitanam coloniam adluit, cognomine Augustam Firmam, ab ea nauigabilis): совр. Эсиха (Écija, провинция Севилья) [Tovar 1974: 111–113] на берегу реки Хениль (исп. Genil, лат. Singilis). До основания римской колонии, получившей название Augusta Firma, на этом месте, по-видимому, существовало иберийское поселение [KP 1964–1975, 1: Astigi(s)]. Местным названием города было Astigi [CIL II: p. 201; Suppl. p. 869], греч. Ἀστὶγίς (Strab. III 2, 2) или Ἀστὶγίς (Ptol. II 4, 10) неясной этимологии. Другая форма названия города – Colonia Augusta Firma [Tovar 1974].

Augusta Gaditana (SPN, 26 D5 (Бетика)): совр. Кадис (Cádiz) [Tovar 1974: 37–48; Rodríguez Neila 1980; Ramirez Delgado 1982; TIR 1995: 82–84]. Античная традиция относила основание города ко времени около 1100 г. до н.э., однако археологические данные не показывают наличие поселения ранее VIII в. до н.э. Первоначально город был основан финикийцами в качестве колонии Тира и имел финикийское название Gadir (Auien. ор. m. 85; 267; 269) “крепость, укрепление”, откуда происходят как греческая форма Γάδειρα, так и латинская Gades. После 206 г. до н.э. город приобрел статус союзного государства (ciuitas foederata), после 49 г. до н.э. Цезарь предоставил ему римское гражданство и статус муниципия, что повлекло за собой изменение названия на Vrbs Iulia Gaditana, а при Августе город получил новое название Augusta Gaditana (Plin. n. h. IV 119: oppidum ciuium Romanorum qui appellantur Augustani urbe Iulia Gaditana). Другая форма названия города – Colonia Augusta Gaditana [Tovar 1974].

Augusta Gemella (SPN, 27 B4 (Тарраконская Испания)) (Plin. n. h. III 12 (huius conuentus sunt reliquae coloniae immunes Tucci quae cognominatur Augusta Gemella, Ituci quae Virtus Iulia, Vcubi quae Claritas Iulia, Vrso quae Gen<eti>ua Vrbanorum)), греч. Γέμελλα (App. Ib. 290): совр. Мартос (Martos, провинция Хаэн) [Tovar 1974: 119–120, 131]. До переименования город носил местное название Tucci, греч. Τοῦκκις (Strab. III 2, 2) или Τοῦκκι (Ptol. II 4, 9); Аппиан чаще всего пользуется формой Ἰτὺκκη (App. Ib. 282; 284; 288). Более полная римская форма названия города – Colonia Augusta Gemella [Tovar 1974].

Augusta Iulia Philippensis (GRE, 51 C2 (Фракия)): совр. Кринидес (греч. Κρηνίδες) [Pazoglou 1988: 405–408; TIR K-35 1993: 45–47]. Аппиан (App. b. c. IV 3, 105 οἱ δὲ Φίλιπποι πόλις ἐστίν, ἥ Δάτος ὀνομάζετο πάλαι καὶ Κρηνίδες ἔτι. πρὸ Δάτου κρῆναι γὰρ εἰσι περὶ

⁹ Бытовавшее ранее мнение, что город Noua Augusta идентичен городу Augustobriga [TLL: Augustus (II 1418, 6)], ныне признано неверным.

τῶ λόφῳ νομάτων πολλοί. Φίλιππος δὲ ὡς εὐφύνης ἐπὶ Θράκης χωρίον ὠχύρωσέ τε καὶ ἄφ' ἐκείνου Φιλίππου προσετέτυν)) сообщает, что первоначально город назывался Дат (Δάτος) или Крениды (Κρηνίδες), причем второе название было дано по изобилию источников, а затем был переименован Филиппом II Македонским и назван в свою честь. Факт захвата города Филиппом II и его переименование в Филиппы подтверждается также данными нумизматики. В 42 г. до н.э. Филиппы стали местом знаменитой битвы. Римская колонизация Филиппов была начата Антонием вскоре после этого сражения, а впоследствии продолжена Августом после битвы при Акции. Факт римского заселения отразился в изменении названия города на Colonia Augusta Iulia Philippensis. Впрочем, даже в эпоху поздней античности город продолжал называться Philippi. Так, "История императорской эпохи" употребляет именно эту форму при рассказе о битве императора Гордиана III со своими противниками [Hist. Aug. (Capit.) Gord. 34, 1–5]. Другие, менее достоверные, названия города – Assyla и Colonia Victrix Philippensis [Papazoglou 1988: 405–408; TIR K-35 1993: 45–47].

Augusta Praetoria (ITL, 39 A2 et 1 E1 et 18 E4 (Италия, Транспаданская Галлия)) (Plin. n. h. III 123), греч. Αὐγούστα Προατωρία (Ptol. III 1, 30); совр. Аоста (итал. Aosta). Римская колония, основанная в 25 г. до н.э. Августом на территории племени салассов после их подчинения Римом (Strab. IV 6, 7; Cass. Dio LIII 25, 3–5). Колония была заложена на месте лагеря Теренция Варрона Мурены (Strab. IV 6, 7; Cass. Dio LIII 25 sqq.). Новопостроенная колония была заселена бывшими членами преторианской гвардии (Cass. Dio LIII 25, 5), что объясняет вторую половину названия.

Augusta Raurica (SWI, 18 E2 et 1 E1 (Верхняя Германия)), греч. Αὐγούστα Ῥαυρικῶν (Ptol. II 9, 9); совр. Аугст (нем. Augst). Римская колония, основанная в 44/43 г. до н.э. Люцием Мунацием Планком на территории кельтского племени рауриков. При Августе колония получила название Colonia Paterna Pia Apollinaris Augusta Emerita Raurica [DNP 1996–2003, 2: Augusta 4] (это название пропущено в атласе Тальберта). В позднюю эпоху неподалеку от города была построена крепость Castrum Rauracense (совр. Kaiseraugst; отсутствует в атласе Тальберта). Другая форма названия города – Colonia Augusta Raurica. В литературных и эпиграфических источниках название этого города встречается также без элемента Augusta, приобретая вид Raurica Colonia или просто Raurica ~ae, f. (Plin. n. h. IV 106; CIL. X 6087). Помимо того, у Плиния Старшего встречается также форма среднего рода Rauricum ~i, n. (Plin. n. h. IV 79).

Augusta Suessionum (FRA, 11 D3 (Бельгия)) (Itin. Tungr. (Dessau 5839) 2, 5 (Aug. Suessionum); Itin. Ant. p. 379 (Augusta Suessionum); Tab. Peut. II 4 (Aug. Suessorum), греч. Αὐγούστα Οὐεσσόνων (Ptol. II 9, 6); совр. Суассон (Soissons)) [TIR 1975: 171; Durand (éd.) 1984].

Augusta Taurinorum (ITL, 39 B3; 1 E1 (Италия, Транспаданская Галлия)), греч. Αὐγούστα Ταυρινῶν (Ptol. III 1, 31); совр. Турин (итал. Torino, нем. Turin). На месте будущей Августы Тавринов располагалась Тавразия (Taurasia), укрепление (oppidum) племени тавринов, разрушенное Ганнибалом в 218 г. до н.э. (Polyb. III 60; Liu. XXI 39; App. Hann. 5). Во времена Цезаря населенный пункт имел статус муниципия [DNP 1996–2003, 2: Augusta 5]¹⁰, который после 27 г. до н.э. стал называться Iulia Augusta Taurinorum. В источниках засвидетельствованы следующие варианты названия этого города: Augusta Taurinorum (Plin. n. h. III 123; Tac. hist. II 66; CIL. V 6480; V 6991; V 7033; XI 3940; XIII 6862; XIII 6870; Ptol. III 1, 35; Tab. Peut. II 5), Iulia Augusta Taurinorum (CIL. V 7047) и Iulia Augusta (CIL. V 6954; V 7629).

Augusta Traiana (BUL, 22 C6 (Нижняя Мёзия)): совр. Стара-Загора. Первоначально этот город, основанный, вероятно, македонянами, носил название Берея (греч. Βέροια, лат. Beroea (Cic. Pis. 89)). В императорскую эпоху он был переименован и стал называться либо Augusta Traiana (греч. Αὐγούστη Τροιανή (на монетах)), либо Τροιανέων πόλις (в надписях) [КР 1964–1975, 1: Beroia 2]. Судя по названию, переименование города произошло в эпоху правления императора Траяна.

¹⁰ При Цезаре – municipium IVuirale, после 27 г. – municipium Huirale.

Augusta Treuerorum (GER, 11 G3 et 2 E4 (Белгика)), греч. Αὐγούστα Τριβήρων (Ptol. II 9, 7); совр. Трир (нем. Trier *n.*, франц. Trèves *m.*). На месте будущей Августы Треверов располагался центр общины тревиров (Mela III 20 (*urbes ... opulentissimae in Treueris Augusta, in Haeduis Augustodunum*); Tac. hist. IV 62 (*legio sexta decima ... in coloniam Treuirorum transgredi iubetur*); Amm. XV 11, 9; XVI 3, 3). В эпоху Августа на территории этого населенного пункта, существовавшего, согласно археологическим данным, уже в ранний период латенской культуры, было основано римское городское поселение, статус которого до конца не ясен (военный гарнизон или гражданское поселение). По-видимому, основание римского города произошло одновременно или немногим позже, чем строительство деревянного моста через Мозеллу (Мозель), датируемого приблизительно 17 г. до н.э. (ранее на месте моста существовал брод, использовавшийся по меньшей мере со II в. до н.э.). При Клавдии (несомненно, до 69/70 г. н.э.) Августа Треверов получила титул колонии [DNP 1996–2003, 2: Augusta 6]. Другая форма названия города – Colonia Augusta Treuerorum.

Augusta Tricastinorum (FRA, 17 D5 (Нарбонская Галлия)) (Plin. n. h. III 34); совр. Сен-Поль-Труа-Шато (Saint-Paul-Trois-Châteaux) [Rivet 1988: 277–282; Odier, Bel, Bois 1992; Bromwich 1993: 45]. По-видимому, Augusta Tricastinorum идентична упоминаемой Птолемеем столице трикастинов Νοϊόμαχος (Ptol. II 10, 7). Дата основания римского города (имевшего в I в. н.э. статус колонии латинского права (см. Plin. n. h. III 36: *oppidum Latipum*)), как и дата переименования Новиомага, неизвестны. В эпоху Флавиев Августа Трикастинов получила название Colonia Flauia Tricastinorum (AE. 1962. 143). Другая форма названия города – Colonia Augusta Tricastinorum.

Augusta Vindelicum (GER, 12 D4 et 1 F1 et 2 F4 (Реция)), греч. Αὐγούστα Οὐινδελικῶν (Ptol. II 12, 4; VIII 7, 4 (ἡ... Αὐγούστα Οὐινδελικῶν)); совр. Аугсбург (нем. Augsburg). Считается, что римское береговое укрепление в месте слияния рек Вирдона (лат. Virido, нем. Wertach) и Лика (лат. Licus, нем. Lech) близ совр. Обергаузена (нем. Oberhausen) существовало с 8/5 г. до н.э. Около 16 г. н.э. это укрепление было оставлено по причине постоянной угрозы наводнения, и вместо него был основан лагерь вспомогательных войск, располагавшийся на месте современного Аугсбурга к северо-востоку от современного собора [DNP 1996–2003, 2: Augusta 7]. В результате проведенной Тиберием реорганизации провинции Реция в Августу Винделиков был перенесен (из Камбодуна) центр этой провинции. Появившееся возле лагеря гражданское поселение (первоначально – *uicus*) постепенно разрослось и, когда в конце I в. н.э. военный пост был оставлен, продолжало оставаться центром провинции вплоть до эпохи поздней античности. При Адриане оно приобрело статус муниципия (*Municipium Aelium*) [Zahrnt 1988]. Перенос военного лагеря и изменения статуса населенного пункта отразились в том, что название города существует в нескольких вариантах: помимо формы Augusta Vindelicum (Itin. Ant. 232, 1; CIL. VI 3353), встречается также вариант Augusta без определения (CIL. III 5981; Ven. Fort. Mart. IV 648), а также засвидетельствованные в надписях варианты Aelia Augusta и Municipium Aelium Augustum [KP 1964–1975, 1: Augusta 7].

Augusta Viromanduorum (FRA, 11 D3 (Белгика)) (Itin. Ant. 362, 3; 379, 4; Tab. Peut. XIV 93), греч. Αὐγούστα Οὐιρομανδύων (Ptol. II 9, 6); совр. Сен-Кантен (Saint-Quentin, департамент Эна) [KP 1964–1975, 5: Viromandui].

Augusta Aduernorum = Augustonemetum (см. ниже).

Следует отметить, что приведенные выше топонимы, состоящие из существительного Augusta с определением, контекстуально могли употребляться также в сокращенном виде без определения. Так, засвидетельствованы следующие случаи:

Aug(usta) (CIL. V 7669; VI 2757; Inscr. Rhen. Bramb. 492 (*Bonnae*) 13484 (см. Mommsen in CIL. V p. 873)) = Augusta Bagiennorum

Augusta (CIL. III 9738 (*Delminii*) (Au<g>.); VI 2786; Strab. IV 6, 7 (τὴν πόλιν Αὐγουσταν)) = Augusta Praetoria

Augusta (Geog. Rau. p. 231, 11) = Augusta Raurica

Augusta (Mela III 20 (Aquitatorum clarissimi sunt Ausci, Celtarum Haedui, Belgarum Treueri, urbesque opulentissimae in Treueris Augusta, in Haeduis Augustodunum, in Auscis Eliumberum)) = Augusta Treuerorum.

Augusta (CIL. III 5981; Ven. Fort. Mart. IV 648 (pergis ad Augustam, qua Virdo et Licca fluentant); форма отсутствует у Тальберта) = Augusta Vindelicum.

Производным типом от модели с употреблением Augusta в качестве существительного следует считать случай словосложения, где элемент -augusta выступает в качестве второй части слова:

Caesaraugusta (SPN, 25 E4 et 1 C2), Colonia Caesaraugusta (SPN, 25 E4); греч. Καيسάρεια Ἀυγούστα (Ptol. VIII 4, 5 (ἡ... Καισάρεια Ἀυγούστα) или Καισαραυγούστα (Ptol. II 6, 62; Strab. III 4, 10; III 4, 13); совр. Сарагоса (исп. Zaragoza). Известно, что до римского завоевания на месте этого города находилось иберийское поселение под названием Salduba (Plin. n. h. III 24). Ныне считается, что город Caesaraugusta был основан Августом [КР 1964–1975, I: Caesaraugusta], и таким образом, обе части названия отражают различные части официального имени Августа (Imperator Caesar Augustus).

В ситуации билингвизма Римской империи существовала необходимость создавать названия городов с той же имперской семантикой, но от чисто греческих лексических элементов. Поэтому довольно быстро для латинского прилагательного augustus и его производных было установлено соответствие в греческом σεβαστός.

Наиболее терминологичный характер слово σεβαστός имело в тех случаях, когда оно служило переводом слова Augustus как обозначения римского императора [Hahn 1906: 116–117; Deissmann 1923: 306; Dieckmann 1919; Goodspeed 1945: 136–137], приближаясь по значению к современному титулу “Его Императорское Величество” (Paus. III 11, 4; Strab. III 3, 8; XII 13, 14; Lucian. macrob. 17; 21; 23; salt. 34; pro lapsu inter salutandum 18 (bis); Herodian.; Philo; Ios. ant. XVI 173 al.; NT. Act. 25, 21; 25, 25; CIA. III 63 [27 г. до н.э.] (ἱερεὺς θεᾶς Ῥώμης καὶ Σεβαστοῦ σωτῆρος); IG. XII 3, 174 [6 г. до н.э.]; pap.).

В названиях городов греческое σεβαστός, в отличие от латинского языка, нигде не встречается в качестве прилагательного, а всегда образует существительные. Вместе с тем большие словообразовательные возможности греческого языка по сравнению с латинским выразились в том, что одному латинскому слову Augusta в греческом соответствует три варианта: Σεβαστή / Σεβάστεια / Σεβαστόπολις. С точки зрения стилистики словоупотребления важно отметить, что соответствие augustus – σεβαστός никогда не использовалось в целях перевода названий. Иными словами, города с элементом Augusta имели в греческих текстах элемент Ἀυγούστα, а города с элементом Σεβαστή фигурируют в латинских текстах как Sebaste. Основа sebast- встречается в названиях следующих городов:

Σεβαστή (ТКУ, 62 C5 (Фригия)) (Hierocl. p. 667, 8; IGRom. IV 682, 18; Not. episc. I 362; III 308 (Σεβαστεία); VIII 413 (Σεβάστης); IX 323; X 421 (Σεβαστεία); XIII 271 (Σεβαστεία)); совр. Сельчиклер (Selçikler) [ТІВ 7 1990: 376–378]. Город был основан во Фригии (Phrygia Pacatiana) близ границ Лидии предположительно или самим Августом, или в эпоху Августа посредством синойкизма нескольких населенных пунктов, среди которых был, судя по археологическим данным, и один город эллинистического времени [КР 1964–1975, 5: Sebaste]. Известны монеты этого города, датируемые временем от эпохи Августа до Гордиана, с легендой Σεβαστηνῶν. К северо-востоку от античной Себасты расположен современный город Сиваслы (Sivasli), сохраняющий греко-римское название.

Σεβαστή (ТКУ, 66 E4 (Киликия)); совр. Аяш (Ayaş) [RE: Elaiussa 5.; RE: Sebaste 5.; ТІВ 5.1 1990: 400–401]. До переименования город (первоначально – остров, впоследствии – полуостров) носил название Ἐλαίουσσα (Strab. XII 535; XIV 671; Anon. st. m. magn. 173 (cf. 172: Ἐλαίους)) или Ἐλαίουσα (Ios. ant. XVI 4, 6; XVI 10, 7 (cf. b. Iud. I 23, 4; Ἐλεούσα)). Элеуса была переименована в Себасту царем Архелаем в честь Августа (Ios. ant. XVI 4, 6; Ptol. V 8, 4; Hierocl. p. 704; Conc. Chalced. p. 126; St. B. s. v. Ἐλαίουσα et s. v. Σεβαστή). Засвидетельствован также вариант Σεβάστεια (Diosc. V 100).

Σεβαστή (ТКУ, 86 E2 (Пафлагония)); совр. Ташкёпрю (Taşköprü) [RE: Paphlagonia; ТІВ 9 1996: 260–262]. Город был основан Гнеем Помпеем Великим зимой 65/64 г. до н.э. в

связи с устройством римской провинции Понт и Вифиния [КР 1964–1975, 4: Pompeiopolis 2]. Город был основан на торговом пути, связывавшем Вифинию с Арменией, в долине реки Амниас (Amnias, совр. Гёкырмак (Gök Irmağ)), правого притока Галиса (Halys, совр. Кызылырмак (Kızıl Irmağ)) на месте уже существовавшего к тому времени поселения, название которого ныне неизвестно. Помпей дал городу название Помпейполь (Pompeiopolis) в свою честь. В римское время город стал центром Пафлагонии (κοινὸν τῆς Παφλαγονίας) в пределах провинции Галатия. Впоследствии город был переименован и получил название Σεβαστή, известное только из монет времени правления Марка Аврелия и Люция Вера, имевших легенду Σεβαστή μητροπόλις Παφλ(αγονίας).

Σεβαστή (ТКУ, 87 В4 (Понт)): совр. Никсар (Niksar) [RE: Kabeira; RE: Neokaisareia 2; Magie 1950: 1070 (n. 10), 1071 (n. 11); Bryer, Winfield 1985: 107–110]. Первоначально город назывался Кабиры (τὰ Κάβειρα), Помпей переименовал его в Диосполь (Διόσπολις), а в эпоху Августа царица Понта Пифодорида¹¹ переименовала его в Себасту (Strab. XII 31). В императорскую эпоху город был еще раз переименован и получил название Неокесария (Neocaesarea), сохранившееся в современном турецком топониме.

Sebaste (Plin. n. h. V 69; Hier. in Epitaph. Paul. 6), греч. Σεβαστή (WBK, 69 В5 (Иудея)): совр. Себастья (Западный берег реки Иордан) [TIR 1994: 220–221]. Известный из Ветхого Завета под названием Самарии (греч. Σαμαρεία) город был основан царем Амврием (878/877–871/870 до н.э.) в качестве столицы Израиля (III Царств 16, 24). В конце IV в. до н.э. город был заселен македонянами (Eus. chron. GSC. 20, 197; 20, 199). В эпоху Августа Иродом Великим (правил с 41 г. до н.э. до 4 г. н.э.) город был расширен и переименован в Себасту (Jos. ant. XV 8, 5; XI 11, 4; b. Iud. I 21, 1 – II 18, 1 (saepē); Strab. XVI 760; Ptol. V 16, 6).

Sebaste Tectosagum (Inscr.) (Галатия). Возможно, к этому городу относится этникон Sebasteni (Plin. n. h. V 147), фигурирующий при перечислении жителей Галатии; впрочем, сам город Плиний предпочитает называть Ancûra (Plin. n. h. V 146): совр. Анкара [RE: Ankyra 1.; RE: Sebaste 4.]. В атласе Гальберта топоним Sebaste Tectosagum пропущен (см. карту 63). Первоначально город назывался Анкира [Ancûra ~ae, f.: (Liu. XXXVIII 24, 1; XXXVIII 25, 1; XXXVIII 25, 3; XLIII 20, 4; Curt. III 1, 22; Plin. n. h. V 145; V 146; Itin. Ant. 143; 200 sqq., греч. Ἀγκυρα (Polyb. XXII 22; Paus. I 4, 5; Strab. IV 187; XII 567; Ptol. V 4; Arr. anab. II 4, 1; Libanius or. XXVI; Hierocl. 575; Tzetz. chil. I 110–111; I 131)], и это название оказалось гораздо устойчивее, чем Sebaste Tectosagum, и сохранилось до наших дней.

Sebastia (ТКУ, 64 Е1 et 1 К3; 3 С2 (Полемонийский Понт)) (Plin. n. h. VI 8 (отнесена к Каппадокии); Itin. Ant. 178; 180; 203; 204; 207; 212; 213; 214; Tab. Peut. X 4 (Seuastia)), греч. Σεβάστεια¹² (Ptol. V 6, 10; Eust. D. Per. 694; Theodoret. eccles. hist. II 25; Socr. h. e. II 43, 1; Basil. М. ep. 8; Procop. aedif. III 4; Sozom. VIII 27; Hierocl. 703, 1 (отнесена к Армении Первой); Iustin. nouell. XXXI praef. (отнесена к Армении Второй); Alex. ap. St. Byz.; Nilus 241; Sudas s. v. Σεβάστεια; Not. episc. I 18; III 165; IV 12; VI 17; VII 18; VIII 18; VIII 280; IX 189; X 286; XIII 145; Inscr. (Σεβαστηνῶν; Σεβαστίας μητροπόλεως)). Совр. Сивас (Sivas) [Cu-mont 1906: 217–228; RE: Talara; TIB 2 1981: 274–276]. Город в Понте близ границы Каппадокии и Малой Армении, впоследствии – столицы Армении. По-видимому, первоначально этот город назывался Талаврами [τὰ Τάλαυρα (Plut. Luc. 19; App. Mithr. 115; Dio Cass. XXXVI 16)], а затем в честь Помпея был переименован в Мегалополь (Μεγάλη πόλις (Strab. XII 560); производное название области: Μεγαλοπολίτις ~ιδος (Strab. XII 557; XII 559)). В таком случае название Севастия, отраженное и в современной турецкой форме названия, было уже третьим известным названием этого города. Согласно нумизматическим данным, эра города приходится на период между 2 г. до н.э. и 2 г. н.э.

Sebastopolis (GEO, 87 G2 et 1 L2 (Колхида)) (Plin. n. h. VI 14 (inde aliud flumen C<h>arien, gens Saltiae, antiquis Pht<h>irophagi dicti, et alia Sanni, flumen Chobum, e Caucaso per Suanos

¹¹ Пифодорида родилась ок. 30 г. до н.э.; ок. 13–12 г. до н.э. стала супругой царя Понта Полемона I; после его смерти ок. 8/7 г. до н.э. правила единолично в качестве правительницы, зависимой от Рима; умерла после 19 г. н.э. [КР 1964–1975, 4: Pythodoris].

¹² Точное место ударения в этом топониме известно благодаря Евстафию (Eustath. 449, 49).

fluens, dein Rhoan, regio Egritice, amnes Siga<m>a, Thersos, Astel<e>phus, Chrysor<rh>oas, gens Absilae, castellum Seastopolis, a Phaside C, gens Sanigarum, oppidum Cygnus, flumen et oppidum Penius. deinde multis nominibus Henioc<h>orum gentes); Geogr. Rau. II 12 (Seuastopoli); IV 2 (Seuasto<po>lis); V 10 Seuasto<bo>lis), греч. Σεβαστόπολις (Ptol. V 10, 2; Ael. Herodian. de prosodia catholica III, 1 p. 58, 31 (= Steph. Byz. s. v. Διοσκουριάς); Arr. peripl. P. E. 10, 3; 10, 4 (ter); 11, 3; 17, 1; Anon. peripl. P. E. 47; 48; 51; 54 (6; 7; 10; 12–14 H.); Nicanor (fr. 12) ap. Steph. Byz. s. v. Διοσκουριάς (p. 233, 17); Proc. b. II 29, 18; VIII 4, 4; Iust. nouell. p. 212, 30; Epiphani (sp.) notitiae episcopatum 75; Chron. paschale p. 61, 6–7; Manuel Philes catm. III 18, 52; (Nicolai I opuscula diuersa 191 b). Совр. Сухуми [Ломоури 1957: 98 и сл.; Качарава, Квирквелия 1991: 86–89 (Диоскурия), 234 (Себастополис, II)]. Согласно археологическим данным, место будущей Диоскуриады было заселено еще в доантичную эпоху, а затем это поселение, получившее у греков название Диоскуриады [Διοσκουριάς; Strab. I 3, 2; II 1, 39 (bis); II 5, 22 (bis); II 5, 25 (bis); XI 2, 14 (quater); XI 2, 16 (ter); XI 2, 19 (bis); XI 5, 6; Ael. Herodian. de prosodia catholica III, 1 p. 58, 29], продолжало существовать на протяжении раннеантичной, эллинистической и римской эпох по меньшей мере до IV в. н.э. В императорскую эпоху Диоскуриада была переименована в Себастополис (Ps.-Arr. per. p. E. 14; Ptol. V 10, 2) [Подосинов 2002: 241].

Sebastopolis (ТКУ, 56 D4 et 57 E3 (Эолида)) (Plin. n. h. V 121 (Myrina quae Sebastopolim se uocat); Inscr. (Σεβαστόπολις)). Развалины города располагаются на правом берегу реки, носившей в древности название Титней [Titnacus (Inscr. Τιτνάκιος); Plin. n. h. V 121 (“Titanus”)], в поздней античности – Пифик (Πυθικός (Agathias hist. praef. p. 9, 5 Bonn.)), а ныне – Гюзельхисар (Güzeltisarı Çayı или Коса Çayı) [RE Suppl.-Bd. VI: Myrina], неподалеку от места ее впадения в Эгейский залив (совр. Чандарлы) Эгейского моря, близ современного селения Калабак-сарай (Kalabak Saray) и к северу от селения Алиага [KP 1964–1975, 3: Myrina 4]. Первоначально город назывался Мирина (Myrina (Cic. fam. V 20, 8; Plin. n. h. V 121), греч. ἡ Μύρινα). Согласно традиции, город был основан царицей амазонок Мириной и назван в ее честь (Strab. XI 505; XII 550; XII 573; XIII 623; Eustath. Hom. II. II 814; Dion. Per. 828; Steph. Byz.). Евсевий Кесарийский относит основание города к 1046 г. до н.э. (Eus. 69 с Н. ed. II), что принято связывать с греческим заселением западного побережья Малой Азии в позднемикенскую эпоху. В 17 г. н.э. город был разрушен сильным землетрясением, в связи с чем сведения Плиния Старшего о переименовании города в Себастополис допускают ныне двоякую интерпретацию: либо это переименование произошло еще до землетрясения и тем самым относится к эпохе Августа¹³ (или, что менее вероятно, к первым трем годам правления Тиберия), либо переименование произошло после того, как город был отстроен заново Тиберием¹⁴, и таким образом, новое название было призвано увековечить факт помощи в восстановлении города со стороны императорской власти. В одной из надписей фигурирует третье название этого города – Кесария (Καίσαρεια) (IGRom. IV 1173 (ὁ δῆμος ὁ Καίσαρέων Μυρειναίων), в надписи, прославляющей Августа) [KP 1964–1975, 1: Aiolis 1].

Sebastopolis (Plin. n. h. VI 8 (Cappadocia intus habet coloniam Claudii Caesaris Archelaidem, quam prae-flu<it am>n<i>s Halys, oppida Comana, quod Salius, Neocaesaream, quod Lycus, Amasiam, quod <I>ris, in regione hoc <G>azacena, in Colopene uero Sebastiam et Sebastopolim – haec parua, sed paria supra dictis –, reliqua sui parte Melitam, a Samiramide conditam haud procul Euphrate, Diocaesaream, Tyana, Casta<ba>la, Magnopolim, Zelam et sub monte Argae<e>o Mazacum, quae nunc Caesarea nominatur); Itin. Ant. 205; 214; Ptol. V 6, 7 (Σεβαστόπολις); Hierocl. 703, 5) (ТКУ, 64 C1 et 87 B4 (Галатийский Понт; у Плиния город отнесен к Каппадокии, у Гиерокла – к Армении Первой, в “Новеллах” Юстиниана – к Армении Второй)), греч. этникон Σεβαστοπολίται (Iust. nouell. p. 236, 17), а также, для отличия от одноименных городов, Σεβαστοπολεῖται οἱ ἐν τῷ Πόντῳ. Совр. селение Сулусарай (Su-

¹³ Этого мнения придерживаются Э. Кирстен [KP 1964–1975, 1: Aiolis 1] и Э. Ольсгаузен [KP 1964–1975, 3: Myrina 4].

¹⁴ Такое мнение высказывает Дж. Бин [OCD 1970: Myrina].

lusaray) [RE II A 956: Sebastopolis 3.; Mitford 1991: 182–183], в верхнем течении реки Скилак (Scylax), тур. Чекерек (Çekerek Irmağı) [KP 1964–1975, 5: Sebastopolis 2]. Локализация этого города надежно засвидетельствована эпиграфически. До переименования в Себастиополис, произошедшего в эпоху принципата (может быть, уже в правление Августа), город носил засвидетельствованное монетными легендами название Гераклеополь (Ἡρακλεόπολις) [Mitford 1991: 182–183], данное по причине того, что главным городским культом был культ Геракла. Видимо, еще раньше город назывался Караны (τὰ Κάρανα (Strab. XII 560; Steph. Byz.)). Возможно, время переименования Гераклеополя в Себастиополис совпадает с употреблявшейся в городе эрой, началом которой был 3 или, по другим сведениям, 2 г. до н.э.

Sebastopolis (Hierocl. 689) (ТКУ, 65 ВЗ (Кария)): совр. Кызылджа (Kızılca) [Robert 1954: 313–314, 336]. Название Себастиополис засвидетельствовано только в надписях и на монетах, а также в литературных источниках византийского периода, хотя, по всей вероятности, возникло еще в эпоху ранней Империи. До переименования в Себастиополис город назывался Салия (Σαλεια) [Robert 1954].

Sebastopolis (северо-восток Понта Евксинского) (Plin. n. h. VI 16 ((15) subicitur Ponti regio Colica, in qua iuga Caucasi ad Ripaeos montes torquentur, ut dictum est, altero latere in Eu<x>inum et Maeotium deuexa, altero in Caspium et Hyrcanium mare. reliqua litora ferae nationes tenent Me<l>anc<h>laeni, Coraxi, urbe Colchorum Dioscuriade iuxta fluuium Anthemunta nunc deserta, quondam adeo clara, ut Timosthenes in eam CCC nationes dissimilibus linguis descendere prodiderit; et postea <a> nostris CXXX interpretibus negotia gesta ibi. (16) sunt qui conditam eam ab Amphito et Telchio, Castoris ac Pollucis aurigis, putent, a quibus ortam Heniochorum gentem fere constat. C a Dioscuriade oppidum Heracle<um> distat, a Sebastopoli LXX. Achaei, Mardi, Cercetae, post eos Ser<ac>i, Cephalotomi. in intimo eo tractu Pity<u>s oppidum opulentissimum ab Heniochis direptum est. a tergo eius Epagerritae, Sarmatarum populus in Caucasi iugis, post qui<a>e Sauromatae)). Словарь Гаффио-Флобера, ссылаясь на приводимое здесь место из Плиния Старшего, относит этот Себастиополис к Понту [Gaffiot, Flobert 2000: Sebastopolis]; справочник Д.Д. Качаравы и Г.Т. Квирквелии высказывается по поводу локализации этого Себастиополиса более сдержанно: “поселение на юго-восточном побережье [Черного моря. – А.С.]” [Качаравы, Квирквелии 1991: 234 (Себастиополис, I)]. Этот город упоминается, помимо Плиния Старшего (свидетельство которого пропущено в справочнике Качаравы и Квирквелии), также Птолемеем (Ptol. V 6, 6), на “Певтингеровой карте” (Sebastopolisi) и в Notitia dignitatum (Not. dign. XXXVIII (Dux Armeniae)). Известный исследователь римской картографии К. Миллер считал Себастиополис “Певтингеровой карты” тождественным Себастиополису-Диоскуриаде в Колхиде [Miller 1916: 654]. В атласе Тальберта (как на картах, так и в списке нелокализованных топонимов) этот второй Себастиополис, отличный от Себастиополиса-Диоскуриады, отсутствует (см. карту 87), что объясняется, по-видимому, тем, что его составители принимают в отношении этого города точку зрения Миллера. В то же время в приведенном выше пассаже Плиний Старший, определяя местоположение города Гераклея (Heracleum), указывает расстояние до него от двух городов, один из которых он называет Диоскуриадой (явно имея в виду колхидскую Диоскуриаду-Себастиополис), а другой – Себастиополисом. Это со всей очевидностью показывает, что для Плиния в той же северо-восточной части Черноморского побережья существовал еще один Себастиополис, не тождественный Диоскуриаде (современному Сухуми). К выводу о нетождественности этого Себастиополиса Себастиополису-Диоскуриаде еще ранее пришел в отечественной науке Н.Ю. Ломоури, крупнейший специалист в области исторической географии Грузии [Ломоури 1955: 51–52, прим. 17]. Г. Киперт высказал предположение, что Себастиополисом со времен Траяна назывался город Фасис (совр. Поты), и, таким образом, Себастиополис “Певтингеровой карты” тождествен Фасису [Kiepert 1878: 88]. Эту гипотезу приняли некоторые отечественные исследователи [Еремян 1939: 93; Манандян 1936: 31; 1939: 76–77], однако впоследствии она была отвергнута [Бердзنيшвили 1969: 179–184; Ломоури 1958; ср. Подосинов 2002: 364–365]. На “Певтингеровой карте” (Tab. Peut. X 2–3) этот Себастиополис

помещен на дороге между городом Caspiae, отождествляемым с совр. Каспи в Грузии, и Фасисом в Колхиде [Подосинов 2002: 241].

Σεβαστόπολις [Hierocl. 635 (Σεβαστούπολις); Const. Porph. II 49: Σεβαστόπολις (Нижняя Мёзия)]. Город располагался близ Филиппополя (совр. Пловдива). В атласе Тальберта топоним упомянут среди нелокализованных названий (карта 22).

Аналогом латинского образования Caesaraugusta являются два топонима, относившиеся к одному и тому же городу – Iuliosebaste и Heliosebaste, – в которых элемент -sebaste фигурирует в качестве второй части сложного существительного:

Iuliosebaste или Heliosebaste (локализация второго топонима спорна) (ТКУ, 66 А4 (Киликия)): совр. Асар-тепе (Asar tepe) [Bean, Mitford 1970: 170–171; ТИВ 5.1 1990: 278–279]. В литературных источниках античного периода этот город не упоминается.

В более редких случаях при образовании названий городов посредством греческого элемента -polis вместо греческого форманта sebasto- использовался равнозначный латинский формант augusto-, в результате чего родилось гибридное образование Augustopolis, засвидетельствованное в названиях трех городов восточной части Империи:

Augustopolis [Conc. Ephes. a. 431 (Mansi IV 1361) (Iohannes Augustopolitanus); Not. episc. III 340 (et al. saepe); Sudas s. v. Εὐγένιος; Epiph. adu. haer. III 73, 26 (p. 453 ed. Migne); Anna Comn. p. 337, 9 (ed. Bonn.); cf. Conc. Seleucia Isaur. a. 350: Philicadus episc. Augustadorum (Αὐγουστάδων) Phrygiae (Фригия)]. Располагался в долине р. Акар (Akar Çay, в древности: Каистр (Καῖστρος)), впадающей в оз. Эбер [ТИВ 7 1990: 196–197]. В атласе Тальберта город упомянут в пояснениях к карте 62 (автор: T. Drew-Bear) среди топонимов, не имеющих точной локализации. А. Джоунз предполагал, что до переименования этот город назывался Eulandra [Jones 1937: 69].

Αὐγουστόπολις [Hierocl. synecd. 721] [JOR, 71 B5 et 70 H5 (Каменистая Аравия)]: совр. Удрух (Иордания) [Parker 1986: 100–102; Koenen 1996: 181]. До переименования в Августополь город имел название Ἄδρον, засвидетельствованное у Птолемея (Ptol. V 17, 5). Современная арабская форма, продолжающая первоначальное название, показывает, что переименование коснулось лишь языка официальных документов.

Αὐγουστόπολις (Not. episc. I 814) [ТКУ, 66 G2 (Киликия)]. Augustopolis представляет собой более редкую форму названия города Августы в Киликии (см. выше).

Следует отметить, что с точки зрения внутренней формы Augusta, Sebastopolis и Augustopolis сходны тем, что и латинское Augusta в принципе можно понимать как прилагательное, и слово Sebastopolis также исторически можно рассматривать как сочетание типа σεβαστή πόλις (ср. Νέα πόλις), и Αὐγουστος в греческом языке иногда употребляется в синтаксической роли прилагательного (напр., Paus. III 11, 4). Греческое Σεβαστή с этой точки зрения точно соответствует латинскому Augusta и сохраняет его многозначность (оба слова, в частности, могут значить “императрица”). Лишь Σεβαστεία, наиболее редкая из греческих форм, соответствующих латинскому топониму Augusta, имеет (в качестве προγαρυτοπον женского рода) однозначные признаки существительного. Весьма вероятно, однако, что по аналогии с другими топонимами место ударения иногда перемещалось, что опять-таки давало двойственную картину переходной стадии от прилагательного к существительному, обычную для слов этой топонимической модели.

Прилагательным (и названием жителей) от названий городов с элементом Augusta было Augustanus ~а ~um, которое, в свою очередь, образовало три названия небольших населенных пунктов: Astures Augustani (SPN, 24 E2), Vicus Augustanus (GER, 11 I3 et 12 B3), Vicus Augustanus Laurentium(?) (ITL, 43 B3).

2. Модель «colonia + “Augusta + определение”»

Вторая модель образования названий крупных городов, содержащих в себе элемент Augusta, представляет собой словосочетание colonia Augusta с определениями. Словосочетание colonia Augusta без определений засвидетельствовано только один раз:

Colonia Augusta (Мавретания) (Plin. n. h. V 21 (colonia Augusta, quae item Succhabar, item Tubusuptu)).

Сочетание colonia Augusta с определением присутствует в названиях восьми городов: (Colonia Augusta) Alexandria Troas (TKY, 56 C2); Liu. XXXV 42, 2 (Alexandria Troas); XXXVII 35, 2 (Alexandriam Troadem); Itin. Rom. [Miller 1916: 693, 697–698]: совр. Эскистанбул (Eskistanbul) [RE: Antigoneia 16]. Город был основан диадохом Александра Великого Антигоном Одноглазым и первоначально назывался в его честь Антигонией (Ἀντιγόνη), однако вскоре был переименован в Александрию-Троаду (греч. Ἀλεξάνδρεια ἢ Τρωάς (Strab. XIII 1, 2; Ptol. V 2, 4; VIII 17, 9)). Город располагался к югу от Трои и стал в римское время крупным центром.

Colonia Augusta Firma (SPN, 26 E4) = Augusta Firma

Colonia Augusta Gaditana (SPN, 26 D5) = Augusta Gaditana

Colonia Augusta Gemella (SPN, 27 B4) = Augusta Gemella

Colonia Augusta Iulia Philippensis (GRE, 51 C2) = Augusta Iulia Philippensis

Colonia Augusta Raurica (SWI, 18 E2) = Augusta Raurica

Colonia Augusta Treuerorum (GER, 11 G3 et 2 E4) = Augusta Treuerorum

Colonia Augusta Tricastinorum (FRA, 17 D5) = Augusta Tricastinorum

В этих названиях слово Augusta синтаксически выступает в качестве прилагательного, определяющего слово colonia. Практически все топонимы, названия которых состоят из сочетания colonia Augusta с определением, имеют дублетные формы, характеризующиеся отсутствием слова colonia, которое, таким образом, выступает в качестве факультативного элемента. Из этого можно сделать вывод, что семантически сочетание colonia Augusta тождественно простому Augusta. Это подтверждает высказывавшееся в науке предположение, что с лингвистической точки зрения слово Augusta в топонимах представляет собой субстантиват, возникший из сочетания colonia Augusta, где слово colonia подразумевается.

Возможным прототипом для названий типа Augusta и colonia Augusta могло послужить название Iunonia, данное Гаем Гракхом римскому городу, заложенному в 122 г. до н.э. на месте разрушенного Карфагена. Плутарх (Plut. Gracch. 32, 1), сообщая этот факт, приводит название римского города в виде существительного Iunonia (Ἰουνωνία), однако предположение, что имеется в виду colonia Iunonia “колония Юноны”, вполне естественно. Косвенным доказательством правильности такого понимания может служить тот факт, что в результате вторичной римской колонизации, начатой Цезарем и продолженной Августом, Карфаген приобрел название Colonia Iulia Carthago [KP 1963–1975, 3: Carthago]. Более очевидным прототипом названий этого типа было для городов эпохи Августа, несомненно, название римской колонии, основанной Цезарем на месте разрушенного в 146 г. до н.э. Коринфа¹⁵. Эта колония, которая начала отстраиваться, по-видимому, еще при жизни Цезаря [Grant 1946: 265, сл.], получила название Colonia Laus Iulia Corinthus [KP 1963–1975, 3: Korinthus] (cp. colonia Corinthus (Plin. n. h. IV 11), colonia Corinthensium (Apul. met. X 35)). Другим, помимо ассоциации с существительным colonia, обстоятельством, повлиявшим на выбор формы субстантивированного прилагательного женского рода единственного числа как основной для названий от имен императоров (или божеств), стало знакомство с греческой традицией, где массовое распространение топонимов типа Ἀλεξάνδρεια начинается с эпохи Александра Македонского (Ἀντιόχεια, Σελεύκεια, Ἀττάλεια, Εὐκρατίδεια и т.п.). Не случайно Плутарх, передающий форму Iunonia, даже не задается вопросом о ее происхождении и семантике: скорее всего, ему с точки зрения греческой традиции казалось совершенно естественным, когда новооснованный город получает имя от названия божества в форме прилагательного женского рода единственного числа. Другая греческая параллель, вполне возможная, учитывая первоначальную религиозную семантику прилагательного augustus и топоним-

¹⁵ Благодарю проф. Геттингенского университета Г.-Г. Нессельрата (Nesselrath), обратившего на этот факт мое внимание.

мов с элементом *Augusta* – название Ὀλβία (лат. *Olbia*), представляющее собой форму женского рода единственного числа от прилагательного ὀλβιος “счастливый, богатый”. Такое название носила не только Ольвия, знаменитая милетская колония в скифских землях, но и еще шесть других городов, причем располагавшихся не только в восточной части Империи (в Ликии, Вифинии и на побережье Геллеспонта), но и на Западе (колония Массалии в Нарбонской Галлии, а также один город на Сардинии и один в Испании): этот топоним, таким образом, должен был хорошо известен римлянам задолго до эпохи Августа.

Производным от модели “*colonia Augusta*” следует считать единичный случай *Colonia Caesaraugusta* (SPN, 25 E4), конкурирующий с существительным *Caesaraugusta* (см. выше).

3. Модель “существительное + *Augusta* (прил.)”

Модель представляет собой сочетание любого существительного с прилагательным *Augusta*. Чаще всего в этой разновидности встречаются названия, в которых прилагательное *Augusta* следует за элементом *Iulia*. Подобно элементу *Augusta*, элемент *Iulia* может выступать в названиях городов и в качестве субстантивата, и как прилагательное. В названиях восьми городов последовательность *Iulia Augusta* синтаксически оформлена как сочетание существительного с прилагательным:

Iulia Augusta (TKY, 65 C3 (Писидия)): совр. Беленли (Belenli) [RE: *Olbasa*] прилб. в 10 км к юго-западу от Кемера. Город был основан Августом на берегу реки Лисис (*Lysis*, совр. Гебрен-чайи (Gebren Çayı)) в качестве военной колонии (R. g. D. A. 28 (*colonias in Africa Sicilia [M]acedonia utraque Hispania Achai[a] Asia S[y]ria Gallia Narbonensi Pi[si]dia militum deduxi*); Hill. *Anatolian Studies* Ramsay. P. 221, nr. 15), по-видимому, на месте уже существующего поселения эллинистического времени, о чем свидетельствуют археологические данные (остатки стены акрополя). Видимо, к доримскому времени относится название *Olbasa*, употреблявшееся и в римскую эпоху (греч. Ὀλβασσα (Ptol. V 5, 8; Hierocl. p. 680)). Другая форма названия города – *Colonia Iulia Augusta* [RE: *Olbasa*]. Полной формой названия города в римскую эпоху было *Colonia Iulia Augusta Olbasenorum* [KP 1963–1975, 4: *Olbasa*].

Iulia Augusta Felix (LEB, 69 C2 (Келесирия)): совр. Бейрут [RE: *Berytos*; RE: *Laodikeia* 3.; Lauffray 1978; DNP 1996–2003: *Berytos*], в древности Берит (*Berytus* (Plin. n. h. V 78; VI 213; Tac. hist. II 81), греч. Βηρυτός). Берит упоминается впервые в “Перипле” Скилака (Scyl. peripl. 104 (GGM. I p. 78 M.)). В эллинистическую эпоху город был переименован в Лаодикию Финикийскую (греч. Λαοδικεία ἐν τῇ Φοινίκῃ). Город был разрушен ок. 140 г. до н.э., но позднее восстановлен римлянами, которые дали ему название *Colonia Iulia Augusta Felix Berytus* (cf. Plin. n. h. V 78 (*Berytus colonia, quae Felix Iulia appellatur*)) [KP 1963–1975, 1: *Berytos*]. Другая форма названия города – *Colonia Iulia Augusta Felix*. Римские итинерарии свидетельствуют о том, что вплоть до конца античности основным названием города, несмотря на все переименования, продолжало оставаться первоначальное *Berytus* [Miller 1916: 806–807 (*Berizto* или *Berithon*)], сохранившееся до наших дней.

Iulia Augusta Felix (LEB, 69 D1 (Келесирия)): совр. Баальбек. Локализация города подтверждается многочисленными надписями [Jalabert, Moudet 6: 32–44]. Город известен под его греческим названием Гелиополь (*Heliopolis* (Plin. n. h. V 80; Tac. ann. VI 28), греч. Ἡλιοῦπολις (Strab. XVI 2, 11; Ptol. V 14, 18; VIII 20, 11)), данным в честь культа бога солнца. Другая форма названия города – *Colonia Iulia Augusta Felix*. Несмотря на переименование, основным названием продолжало оставаться *Heliopolis*: на “Певтингеровой карте” он по-прежнему называется *Eliopoli* [Miller 1916: 805–806].

Iulia Augusta Felix (TKY, 65 E2 (Писидия)): совр. Гирме (*Girme* или *Çamlık*) близ Дегирменёзю [RE: *Cremna*; Mitchell, Waelkens 1988]. Первоначально город назывался Кремна (*Cremna*, греч. ἡ Κρήμνα). После разрушения города Аминтом (Strab. XII 6, 5) Август отстроил город заново, сделав его римской колонией (R. g. D. A. 28; Strab. XII 6, 4) под на-

званием Colonia Iulia Augusta Felix Crennensium (CIL. III 6873). Другая форма названия города – Colonia Iulia Augusta Felix. Современное турецкое название Гирме продолжает первоначальное название Кремена.

Iulia Augusta Felix (TKY, 66 C3 (Киликия)): совр. Мут (Mut) [RE: Ninica; Mitchell 1979: 427; TIB 5.1 1990: 307–308]. До переименования римлянами город назывался Νίνικα (рукописный вариант Νήνικα) (Ptol. V 8, 6), и именно это название использует Птолемей. Другим римским названием города было Claudiopoliis.

(Iulia Augusta Felix) Germa (TKY, 62 G2 (Галатия)) [von Aulock 1968: 222; TIB 4 1984: 168–169]. В 10 км к югу от совр. Бабадата (Babadat). Греческая форма ἡ Γέρμα (Ptol. V 4, 7; VIII 17, 29) подтверждается монетными легендами. Другая форма названия города – [Colonia Iulia Augusta Felix] Germa.

Iulia Augusta Hadriana (TKY, 65 E1 (Ликаония)): совр. Барла (Barla) близ западного берега озера Эгирдир [RE: Suppl. 12: Parlais]. До переименования римлянами город носил название Парлаида (Parlais). Форма Παρλαῖς засвидетельствована на монетах (Eckh. d. n. 3, p. 33; 34) и подтверждается как поздней формой названия города Παρλαός и этниконом Παρλαεῖς, встречающимися в актах Халкидонского собора [Concilia oecumenica: Concilium uniuersale Chalcedonense anno 451, т. II, 1, 1 p. 63, 29 (Λιβανίου Παρλαίου); т. II, 1, 2 p. 76, 34 (Λιβανίου Παρλαίου); т. II, 1, 2 p. 137, 14 (Λιβανίου Παρλαίου); т. II, 1, 2 p. 91, 7 (Λιβανίου Παρλαέων); т. II, 1, 2 p. 149, 39 (Λιβανίου ἐπίσκοπος πόλεως Παρλαέων)], так и современным турецким названием. Даваемая в издании Птолемея форма Παρλαῖς (Ptol. V 6, 16), несомненно, представляет собой разновидность народной этимологии. Другая форма названия города – Colonia Iulia Augusta Hadriana [RE: Suppl. 12: Parlais].

Iulia Augusta Prima Fida (TKY, 65 D3 (Памфилия)): совр. Уркютлю (Ürkütlü или Serefönlü) к северо-западу от Анталии [RE: Suppl. 11: Komana]. До переименования римлянами город назывался Κομᾶνα (в литературных источниках – Κομᾶνα (Hierocl. p. 680)). Другая форма названия города – Colonia Iulia Augusta Prima Fida.

Iulia Augusta Taurinorum [KP 1963–1975 2] = Augusta Taurinorum

Анализ топонимов, содержащих в себе одновременно и элемент Augusta, и элемент Iulia, показывает, что в нормальном случае образуется последовательность Iulia Augusta (8 случаев), хотя не исключается и обратная последовательность, засвидетельствованная в единичном случае (Colonia Augusta Iulia Philippensis).

Подобно тому, как в названиях городов с элементом Augusta конкурируют две модели: Augusta как существительное и Augusta как прилагательное при слове colonia или другом существительном, в названиях с элементом Iulia также представлены две соответствующие модели, и поэтому наряду с названиями типа Iulia Augusta засвидетельствован целый ряд топонимов с последовательностью colonia Iulia Augusta, которая может образовывать название города как сама по себе, так и с прибавлением каких-либо определений.

Colonia Iulia Augusta (TKY, 65 C3) = Iulia Augusta

Colonia Iulia Augusta Felix (LEB, 69 C2) = Iulia Augusta Felix

Colonia Iulia Augusta Felix (LEB, 69 D1) = Iulia Augusta Felix

Colonia Iulia Augusta Felix (TKY, 65 E2) = Iulia Augusta Felix

Colonia Iulia Augusta Felix (TKY, 66 C3) = Iulia Augusta Felix

(Colonia Iulia Augusta Felix) Germa (TKY, 62 G2) = (Iulia Augusta Felix) Germa

Colonia Iulia Augusta Hadriana (TKY, 65 E1) = Iulia Augusta Hadriana

Colonia Iulia Augusta Prima Fida (TKY, 65 D3) = Iulia Augusta Prima Fida

Прилагательное Augusta может определять также другие существительные, используемые в качестве названий городов. Статистически все такие случаи редки, так как в целом насчитывается всего шесть таких названий. В трех из них первое слово, к которому Augusta служит определением, само по себе является субстантивированным прилагательным в форме женского рода единственного числа (логика римской топонимической системы приводит к выводу, что в конечном счете подразумевается опять-таки существительное colonia):

Aelia Augusta (GER, 12 D4) = Augusta Vindelicum

Asturica (Augusta) (SPN, 24 E2 et 1 B2), греч. Ἀστούρικα Αὐγούστα (Ptol. II 6, 35); совр. Асторга (Astorga, провинция Леон) [Tovar 1989: 325–326]. По-видимому, название города связано с покорением астуров и кантабров Августом в 29–19 гг. до н.э.¹⁶

Emerita Augusta [SPN, 26 D3 et 1 B3 (Лузитания)], греч. Αὐγούστα Ἡμερίτα (Ptol. II 5, 6) (Αὐγούστα Ἡμερίτα); VIII 4, 3 (ἡ... Αὐγούστα Ἡμερίτα): совр. Мерида (Mérida, адм. ц. автономной области Эстремадура) [TIR 1995: 37–39]. Следует отметить, что как у Плиния Старшего (Plin. n. h. IV 117), так и у Птолемея этот город называется Augusta Emerita с другим порядком слов, при котором Augusta выступает в качестве существительного. Колония Emerita Augusta была основана в 25 г. до н.э. по поручению Августа легатом Публием Каризием [KP 1964–1975, 1: Augusta 2] на берегу реки Анас (Anas, совр. Гвадиана) для ветеранов V и X легионов [OCD 1996: Emerita Augusta], что и объясняет ее название (emeritus “отслуживший положенный срок (о солдате)”). Такое объяснение названия встречается уже у Исидора Севильского: Emeritam Caesar Augustus aedificauit, postquam Lusitaniam et quasdam Oceani insulas cepit, dans ei nomen ab eo quod ibi milites ueteranos constituisset, nam emeriti dicuntur ueterani solutique militiae (Isid. etym. XV 1, 69). Город был административным центром провинции Лузитания, а в IV в. стал центром диоцеза Испаний. Другой формой названия города было Emerita без определения (Isid. etym. XV 1, 69). По-видимому, Эмерита-Августа была первой колонией ветеранов, в названии которой присутствовало слово emerita, впоследствии ставшее почетным наименованием (cognomen) многих ветеранских колоний [CIL VIII 398; KP 1964–1975, 2: Emeriti].

Πραιτωρία Αὐγούστα (Дакия) (Ptol. III 8, 4). Город с таким названием помещен Птолемеем среди населенных пунктов Дакии. В атласе Тальберта он пропущен как на картах, так и в списке топонимов, не поддающихся локализации (см. карту 21). Если форма, даваемая Птолемеем, верна, то по своей семантике это название должно быть синонимично топониму Augusta Praetoria (ср. аналогичные колебания между формами Emerita Augusta и Augusta Emerita). В таком случае речь должна идти о поселении ветеранов преторианской гвардии. Дата возникновения топонима Πραιτωρία Αὐγούστα может быть определена весьма точно: он не мог возникнуть до завоевания Дакии (I Дакийская война – 101/102 г. н.э., II Дакийская война – 105/106 г., учреждение провинции Дакия – 106 г.) и позднее времени жизни Птолемея (акме 127–148 гг., ум. в правление Марка Аврелия (161–180)), засвидетельствовавшего это название.

Лишь в немногих случаях первое слово названия города представляет собой латинское существительное:

Rax Augusta (POR, 26 C4 (Лузитания)): совр. Бежа (порт. Beja) [TIR 1995: 124]. Засвидетельствованы также такие названия этого города, как Rax Iulia и Colonia Pacensis. Все словосочетание Rax Augusta оформлено таким образом, что оно в целом совпадает с одним из основных политических лозунгов эпохи Августа. Rax Augusta – более редкое название города, чем Rax Iulia. В литературных и эпиграфических источниках чаще всего фигурирует не само название города, а прилагательное Pacensis (Plin. n. h. IV 117 (uniuersa prouincia diuiditur in conuentus tres, Emeritensem, Pacensem, Scalabitanum... coloniae Augusta Emerita, Anaе fluuiо adposita, Met<e>llinensis, Pacensis, Norbensis Caesarina cognomine... quinta est Scalabis quae Praesidium Iulium uocatur)) и совпадающий с ним этникон (CIL. II 21), что затрудняет вывод о том, какое именно название города (Rax Iulia или Rax Augusta) имеется в виду в каждом конкретном случае.

Πόρτα Αὐγούστα (Ptol. II 6, 49) (Hispania).

Ὑδάτα Αὐγούστα (Ptol. II 7, 8) (Gallia). По-видимому, приводимый Птолемеем топоним подразумевает латинскую форму Aquae Augustae.

Наконец, в двух случаях прилагательное Augusta определяет местное название непонятной для римлян этимологии, причем следует отметить, что это оказывается допустимым только со словами женского рода:

¹⁶ Собрание античных свидетельств об этом походе Августа см. в [Font. Hisp. Ant. 1940: 183–207].

Bilbilis (Augusta) (SPN, 25 D4): совр. Серро-де-Бамбола (Cerro de Bámbola), (Калатаюд (Calatayud), пров. Сарагоса) [TIR K-30 1993: 64–66]. Город Бильбилис (Bilbilis), омываемый Салоном (Salo, совр. Халон (Jalon)) и его притоком Бирбилисом (Birbilis (Iustin. XLIV 3, 8), совр. Ribota), был основан иберами и получил иберийское название, фигурирующее на монетах этого города в виде *ripls* (Mon. ling. Iber. 85). Благодаря Марциалу, родившемуся в этом городе и неоднократно упоминающему его в своих стихах, известна просодия и грамматические характеристики (III склонение, женский род) топонима (Mart. I 49, 3: *uidebis altam, Liciniane, Bilbilin*); I 61, 12; IV 55, 11 (*saeuo Bilbilin optimam metallo, / quae uincit Chalybasque Noricosque*); X 104, 6 (*altam Bilbilin et tuum Salonem / quinto forsitan essedo uidebis*); XII 18, 9 (*me multos repetita post Decembres / accepit mea rusticumque fecit / auro Bilbilis et superba ferro*). Марциал упоминает свой город также в форме *Bilbilis Augusta* (Mart. X 103, 1 (*municipes Augusta mihi quos Bilbilis acri / monte creat, rapidis quem Salo cingit aquis, / ecquid laeta iuuat uestri uos gloria uatis?*)).

Brācara Augusta (POR, 24 C3 et 1 B2 (Тарраконская Испания)) (CIL. II 4773), также стяжённая форма *Brācaraugusta*, у Плиния *Brācarum oppidum Augusta* (Plin. n. h. IV 112): совр. Брага (порт. Braga) [Tovar 1989: 310–311]. Менее надежна форма *Brācarī* [Tovar 1989]. Топоним произведен от названия племени *Brācarēs* ~um (Plin. n. h. III 18; III 28; IV 112) или *Brācarī* ~drum (Plin. n. h. III 28; IV 112). У Авзония город засвидетельствован в форме *Brācara* ~ae, f. (Aus. urb. 9 (293), 5) без прибавления *Augusta*. Прилагательное *Brācaraugustānus* ~a ~um (CIL. II 2426), позднее *Brācarēnsis* ~e (Isid. Goth. 31).

4. Модель “Augusto- + существительное местного языка”

Одной из интереснейших черт римской географической номенклатуры было использование формантов местных языков в сочетаниях с латинскими формантами прозрачной этимологии. Следует отметить, что в данном случае приходится говорить именно о римской, а не греко-римской номенклатуре, так как в топонимии восточной части Империи такие случаи не засвидетельствованы. Впрочем, и для западной части эти явления ограничены кельтоязычными территориями, а лингвистическая близость кельтских языков к итальяйским облегчала создание подобных варварско-латинских гибридов. С точки зрения носителя литературного латинского языка не вполне ясно, следует ли рассматривать вторые части таких топонимов как прозрачные и понятные, или как непонятные элементы. Скорее всего, вторая догадка более правильна. Этот же принцип номинации населенных пунктов был использован в топонимии Советского Союза: ср. *Ленинабад, Ленинакан, Ленинаван, Сталинабад, Сталинири, Кировакан, Кировабад* и т.п. Всего обнаружилось семь латино-варварских топонимов (все они латино-кельтские), причем один из них (*Augustobriga*) применен для названия двух различных городов.

Augustobona ~ae, f. (FRA, 11 E4 (Лугдунская Галлия)) (Itin. Ant. 381), греч. *Αὐγουστόβωνα* (Ptol. II 8, 10): совр. Труа (Troyes).

Augustobriga (SPN, 25 D4 (Тарраконская Испания)), греч. *Αὐγουστόβριγα* (Ptol. II 6, 53): совр. Муро-де-Агреда (Muro de Ágreda).

Augustobriga (SPN, 26 E2 (Лузитания)), греч. *Αὐγουστόβριγα* (Ptol. II 5, 7). Этнокон встречается у Плиния в форме *Augustobricenses* (Plin. n. h. IV 118). Предположительно совр. Талавера-ла-Вьеха (Talavera la Vieja).

Augustodunum (FRA, 18 B3 et 1 D1 (Лугдунская Галлия)) (Mela III 20 (*Aquitانorum clarissimi sunt Ausci, Celtarum Haedui, Belgarum Treueri, urbesque opulentissimae in Treueris Augusta, in Haeduis Augustodunum, in Auscis Eliumberrum*); Tac. ann. III 43; III 45; III 46; Amm. XV 11, 11; XVI 12, 1; Ven. Fort. VIII 6, 100 (*Augustoduno*)), этникон *Augustodūnēnsēs* (Eumen. pro rest. schol. 14, 1; Hier. uir. ill. 82); греч. *Αὐγουστόδουνον* (Ptol. II 8, 12; VIII 5, 5; Zosim. hist. noua II 42, 4): совр. Отён (Autun).

Augustodurum (FRA, 7 F2 (Лугдунская Галлия)): совр. Байё (Bayeux, департамент Кальвадос).

Augustomagus (FRA, 11 C3 (Белгика)) (Itin. Ant. 380): совр. Санлис (Senlis, департамент Уаза).

Augustonemetum (FRA, 14 I3 et 1 D1 et 18 A4 (Аквитания)) (Not. Tir. 87, 7; 87, 8), греч. Αὐγουστονέμετον (Ptol. II 7, 12): совр. Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand). Другие названия: Ciuitas Aruernorum, Augusta Aruernorum.

Augustoritum (FRA, 14 G3 et 1 D1 (Аквитания)) (Itin. Ant. 462; Not. Tir. 87, 16) (вариант Augustoretum), греч. Αὐγουστόριτον (Ptol. II 7, 9): совр. Лимож (Limoges).

Анализ словообразовательных моделей, в которых выступает корень August- в греко-римской географической номенклатуре, показывает значительную степень стандартизации словоупотребления, при которой из шести возможных форм (три рода, два числа) использования прилагательного в качестве субстантивата избрана фактически одна, а именно, форма женского рода единственного числа, хотя в принципе в греко-римской топонимии употребляются все шесть возможных форм. При этом лишь отсутствие мужского рода единственного числа можно было бы объяснить грамматически: тенденцией избегать мужского рода в топонимах. Впрочем, эта тенденция не исключает возможности возникновения названий городов с окончанием -us (Corinthus, в Италии – Amestratus, Aponus), в том числе от прилагательных или от основ, омонимичных прилагательным: Almus (при наличии прилагательного almus), Ancus (при наличии прилагательного ancus; оба примера – на Балканах). Форма мужского рода множественного числа, образованная от имени правителя, засвидетельствована в названии Philippī ~orum (ср. в Италии Tarquinii ~orum). Форма женского рода множественного числа также хорошо известна (Athenae ~arum, Syracusae ~arum, Cumae ~arum). Огромно число названий городов в форме среднего рода единственного числа (Tarentum ~i, Saguntum ~i), несколько менее распространены названия городов в форме среднего рода множественного числа (Xenippa ~orum).

Форма на -us от прилагательного Augustus не засвидетельствована в названиях городов ни в единственном, ни во множественном числе. Форма женского рода множественного числа Augustae встречается в греко-римской географической номенклатуре по крайней мере три раза. В топониме Augustae (ITL, 48 B2) на Сардинии [Rowland 1981: 15–16] она частично сохранилась до сих пор: современная форма названия этого города Austis предполагает позднеантичный топоним Augustis из abl. loci. Топоним Augustae (BUL, 22 A5 et 21 F6 (Нижняя Мёзия), совр. село Хырлец (болг. Хърлец)) [TIR 1976: 19; Maschov 1994], известен как в форме ном. (Itin. Ant. p. 220), так и в форме abl. (Tab. Peut.; Geogr. Rau. IV 7 p. 189, 19). Возможно, балканский пример имеет внутреннюю форму, отличную от примера из Сардинии, так как этот населенный пункт (лагерь и дорожная станция) в Мёзии располагался в устье реки Augusta (BUL, 21 F6 et 22 A5), совр. Огоста [RE: Augusta 8.; TIR 1976: 19] и мог получить свое название по этой реке, сохранившей до сих пор свое латинское название; аналогичная топонимическая модель встречается также в римской Британии, где в устье реки Abona (UKG, 8 E3) располагался населенный пункт, засвидетельствованный в форме 'Abone' (UKG, 8 E3) (если = Abonae). Видимо, в V–VI вв. у мезийского топонима возник вариант Augusta (женск. р. ед. ч.): Юстиниан восстановил эту крепость под названием Augustae в форме мн. ч. (Procop. aedif. IV 6, 29–30: Αὐγουστες ὀνομάζετο ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἢ πόλις. (30) νῦν δὲ τὸ μὲν παλαιὸν ὄνομα ἔχουσα, νέα δὲ καὶ ἀκραφνῆς ὅλη πρὸς Ἰουστινιανοῦ βασιλέως γεγενημένη, οἰκητόρων ἐπικρῶς πληθεῖ), но аварский каган захватил ее в 583 г. как Augusta (ед. ч.) (Theophyl. Sim. I 4 p. 40: τὴν Αὐγουσταν); о форме ед. ч. Augusta свидетельствует, возможно, уже Notitia dignitatum (Not. dign. ор. 39 p. 108: cuneus equitum Dalmatarum Augustae), обычно датируемая временем между 425 и 430 гг. [KP 1963–1975, 4: Notitia Dignitatum]. Третий топоним Augustae (Itin. Ant. 249 (Augustis); Not. dign. occ. XXXV 14 (equites stabilesiani seniores, Augustanis)) засвидетельствован в Реции для населенного пункта, располагавшегося между Voiodorum и Reginum в районе совр. Штраубинга (Straubing) [RE: Augusta 4]. (В атласе Тальберга этот топоним пропущен как на картах, так и среди нелокализованных топонимов (см. карту 19).) Форма среднего рода единственного числа от основы August- засвидетельствована, по-видимому, лишь один раз в топониме Αὐγουσ-

тов (Ptol. IV 3, 38) (Африка). На фоне огромного большинства топонимов, имеющих форму *Augusta* женского рода, эта форма среднего рода выглядит исключением. Аналогичным образом наряду с нормативной формой *Iulia* женского рода единственного числа, зафиксированной в десятках топонимов, существует лишь единичный пример *Iulium Carnicum* в форме среднего рода. Форма множественного числа среднего рода от основы *August-* в топонимии, по-видимому, не встречается.

Практически полное отсутствие для прилагательного *Augustus* формы среднего рода единственного числа, весьма распространенной для других прилагательных, нельзя объяснить иначе, чем сознательным запретом или требованиями топонимической системы. Скорее всего, новосоздаваемые топонимы с прилагательными в форме среднего рода ассоциировались со словами *municipium* и *oppidum*, которые обозначали населенные пункты городского типа, однако находящиеся ниже, чем колонии, в иерархии населенных пунктов Римской империи. Таким образом, использование прилагательного *Augustus*, воспринимавшегося как “императорский”, т.е. связанный с высшими политическими и религиозными ценностями государства, исключало возможность отнесения его к объектам недостаточно большой важности, что и привело к запрету на топонимы типа *Augustum*. По-видимому, даже можно говорить о том, что в императорский период женский род единственного числа топонима стал ассоциироваться с крупными городами, а средний род единственного числа указывал на менее высокий статус населенного пункта.

Во всяком случае, все города с элементом *August-* в названии действительно представляли собой крупнейшие населенные пункты, имевшие либо стратегическое, либо административное, либо большое экономическое значение. Так, город *Emerita Augusta* был административным центром провинции Лузитания, а с IV в. – центром диоцеза Испаний, город *Augusta Vindelicum* был центром провинции Ретия, а три первых города с элементом *Augusta* (*Augusta Raurica*, *Augusta Praetoria* и *Augusta Vindelicum*) имели важное стратегическое значение. *Augusta* – Лондон к IV в., к которому относится его переименование, превратился в крупнейший центр римской Британии.

С точки зрения античной грамматики элемент *Augusta* в названиях типа *Colonia Augusta*, а также во всех других названиях, где *Augusta* не было субстантивировано, рассматривалось как *cognomen*, т.е. “прозвище” или “дополнительное название (уточнение)”. Плиний Старший, свидетельство которого является древнейшим свидетельством для значительного числа городов с элементом *Augusta* в названии, очень часто оговаривает, что слово *Augusta* является для топонима *cognomen* (“прозвищем”). Тот же термин он употребляет также по отношению к элементу *Iulia* и другим, преимущественно адъективным, элементам многочисленных топонимов императорской эпохи. Характерен, например, пассаж, в котором Плиний описывает топонимию крупных городов Испании: *Singilis fluuius, in Baetim quo dictum est ordine inrumpens, Astigitanam coloniam adluit, cognomine Augustam Firmam, ab ea nauigabilis. huius conuentus sunt reliquae coloniae immunes Tucci quae cognominatur Augusta Gemella, Ituci quae Virtus Iulia, Vcubi quae Claritas Iulia, Vrso quae Gen<eti>ua Vrbano- rum (Plin. n. h. III 12)* “Река Сингилис, впадающая в Бетис указанным образом, омывает Астигитанскую колонию, имеющую прозвище (титул) Августа-Фирма, и начиная от нее становится судоходной. Остальными свободными от налогов колониями этого судебного округа являются Тукци, прозываемая Августа-Гемелла, Итуци, прозываемая Виртус-Юлия, Укуби, имеющая прозвище Кларитас-Юлия, и Урсон, прозываемая Генетива-Урбанорум”. В этом пассаже *Augusta* сопоставляется, с одной стороны, с прилагательными *Genetiva*, а с другой – с существительными *Virtus* и *Claritas*, однако показательно то, что все эти слова женского рода. Термин *cognomen*, по-видимому, точно характеризует отношение к такого рода топонимическим элементам самих римлян: этот термин взят из антропонимии, где им обозначается третья часть традиционного римского мужского имени, причем *cognomen*, в отличие от *praenomen* и *nomen*, не имел обязательного характера и стал официальным лишь к концу существования республиканского Рима. По-видимому, аналогия между топонимией и антропонимией в случаях названий городов облегчалась распространенным в античном мире культом

каждого отдельного города (наиболее известный пример – культ богини Ромы). Таким образом, элементы типа *Augusta, Iulia, Pax, Virtus, Claritas* в названиях городов воспринимались как нечто аналогичное фамильным прозвищам. Правда, фамильные прозвища обычно указывают на телесные недостатки или другие нелестные свойства (*Flaccus* “вислоухий”, *Varro* из *uarus* “кривоногий”, *Rufus* “рыжий”, *Brutus* “тупой”), в то время как все новосозданные или переименованные города получают “прозвища” с ярко выраженным положительным содержанием и семантически оказываются ближе всего к *agnomen* – четвертой (или пятой и т.д.) части римского имени, как правило, содержащей указание на победы, одержанные носителем имени или его предками (*P. Cornelius Scipio Africanus Numantinus*, *L. Cornelius Scipio Asiaticus*). Впрочем, иногда вместо *agnomen* римляне использовали в том же значении слово *cognomen* (напр., *Liu. II 33, 5*). Чисто лингвистическим доводом в пользу того, что слова с элементом *Augusta* воспринимались не как собственно название города, а как своего рода почетное прозвище или титул, можно считать тот факт, что при наличии у города двух названий, из которых одним было название с элементом *Augusta*, а другое представляло собой более раннее местное название, элемент *Augusta* фигурирует только в официальных документах, а с концом античности во многих случаях полностью исчезает (например, *Augusta Taurinorum*, совр. *Torino*; *Augusta Gaditana*, совр. *Cádiz*; *Augusta Suessionum*, совр. *Soissons*; *Augusta Treuerorum*, совр. *Trier*). Это значит, что местное население во многих случаях продолжало пользоваться тем названием города (или местности, определяемой по проживавшему в ней племени), которое существовало ранее до придания ему почетного звания *Augusta*, а этот титул был предназначен только для торжественных случаев. В то же время элемент *Augusta* обнаруживает гораздо большую устойчивость, чем другие *cognomina* городов, и в ряде других случаев современные названия городов представляют собой производные от названия *Augusta* (например, *Aouste-sur-Sye, Aoste, Aosta, Augst, Augsburg*), а не от известных нам местных названий. Скорее всего, этот факт следует объяснять престижностью названий с элементом *Augusta*, которая долгое время ощущалась говорящими.

Итак, суммируя вышеизложенное, можно сказать, что одним из способов именования наиболее крупных городов и важнейших административных, экономических и стратегических центров было в греко-римской географической номенклатуре использование основы *August-*, а на грекоязычном материале – поставленной ей в соответствие основы *Σεβαστ-*. Первым топонимом с основой *August-* была *Augusta Raurica*, основанная летом 44 г. до н.э., а хронологически последним – название *Augusta* для одного из крупнейших городов римской Британии, современного Лондона, появившееся в IV в. н.э. При этом из 41 топонима с основами *August-* и *Σεβαστ-*, время возникновения которых поддается более или менее точной датировке, три топонима достоверно относятся к I в. до н.э., 23 (помимо вышеупомянутых трех) топонима существовали уже в I в. н.э., 13 топонимов впервые засвидетельствованы во II в. н.э. и три топонима впервые встречаются в IV в. Таким образом, пик употребления этих основ в географической номенклатуре падает на эпоху принципата, хотя этот способ именования продолжал оставаться достаточно продуктивным вплоть до конца II в. н.э. Слово *Augusta* в первом топониме, его содержащем, было заимствовано из религиозной терминологии, обозначало (применительно к месту) такое место, где божественная благодать ощущалась особенно очевидным образом, и имело значение “благодатный, святой”. В эпоху принципата Августа все топонимы с элементом *Augusta* приобрели значение “Августов”, а в императорскую эпоху – значение “императорский”. Элемент *Augusta*, помимо чисто номинативной функции называния объекта, выполнял дополнительную функцию почетного звания города. Морфологически элемент *Augusta* выступает в топонимах не только в виде субстантивированного существительного, но и в виде прилагательного женского рода единственного числа, определяющего собой чаще всего существительное *colonia*, реже – другие существительные женского рода. С синтаксической точки зрения обнаруживаются четыре модели образования крупных городов с основой *August-*: (1) субстантиват *Augusta* ж. р. с определением или без него, (2) сочетание *Colonia Augusta* с определением или без него,

(3) сочетание существительного женского рода (кроме *colonia*) с прилагательным *Augusta* (*Rex Augusta*), (4) сочетание основы *Augusto-* со словом местного (варварского) языка (*Augustobriga*). В тех редких случаях, когда основа *August-* служила для обозначения населенных пунктов меньшей важности, используется либо форма женского рода множественного числа (*Augustae* – три примера), либо, в качестве исключения, форма среднего рода единственного числа (*Augustum* – видимо, один пример). Важной характеристикой, отличающей использование основы *August-* в географической номенклатуре от употребления прилагательного *augustus* за пределами топонимии, является его сочетаемость исключительно с женским родом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бердзнишвили 1969 – М.Д. Бердзнишвили. К истории города Фасиса. Тбилиси, 1969 (на груз. яз.).
- Еремян 1939 – С. Еремян. Торговые пути Закавказья в эпоху Сасанидов // ВДИ. 1939. № 1.
- Качаравა, Квирквелия 1991 – Д.Д. Качаравა, Г.Т. Квирквелия. Города и поселения Причерноморья античной эпохи (малый энциклопедический справочник). Тбилиси, 1991.
- Ломоури 1955 – Н.Ю. Ломоури. Клавдий Птолемей “Географическое руководство”. Известия о Грузии // Материалы по истории Грузии и Кавказа. Вып. 32. Тбилиси, 1955.
- Ломоури 1957 – Н.Ю. Ломоури. Из исторической географии древней Колхиды // ВДИ. 1957. № 4.
- Ломоури 1958 – Н.Ю. Ломоури. К вопросу о торговых путях Грузии // Труды Института истории АН ГССР. 1958. Т. IV. Вып. 1 (на груз. яз.).
- Манандян 1936 – И. Манандян. Главные торговые пути по *Tabula Peutingeriana*. Ереван, 1936.
- Манандян 1939 – Я.А. Манандян. Круговой путь Помпея в Закавказье // ВДИ. 1939. № 4.
- Подосинов 2002 – А.В. Подосинов. Восточная Европа в римской картографической традиции. Текст. Перевод. Комментарий. М., 2002.
- von Aulock 1968 – H. von Aulock. Die römische Kolonie Germa in Galatien und ihre Münzprägung // *Istanbuler Mitteilungen*. 1968. 18.
- Bayard, Massy 1983 – D. Bayard, J.-L. Massy. Amiens romain // *Revue archéologique de Picardie*. Amiens, 1983.
- Bean, Mitford 1970 – G.E. Bean, T.B. Mitford. Journeys in Rough Cilicia 1964–68 // *Denkschriften der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, philosophisch-historische Klasse*. 1970.
- Benoist, Goelzer 1934 – Nouveau dictionnaire latin-français. Paris, 1934.
- Bromwich 1993 – J. Bromwich. The Roman remains of southern France: a guidebook. London, 1993.
- Bryer, Winfield 1985 – A.A.M. Bryer, D.C. Winfield. The Byzantine monuments and topography of the Pontos. 1–2. Washington, 1985.
- CIL – Corpus inscriptionum Latinarum. Berolini, 1863–.
- Cumont 1906 – F.V.M. Cumont, E. Cumont. Voyage d'exploration archéologique dans le Pont et la Petite Arménie // *Studia Pontica* 2. Bruxelles, 1906.
- Deissmann 1923 – A. Deissmann. Licht vom Osten. 4. Aufl. Tübingen, 1923.
- Dieckmann 1919 – H. Dieckmann. Kaisernamen und Kaiserbezeichnungen bei Lukas // *Zeitschrift für katholische Theologie*. 1919. 43.
- DNP 1996–2003 – Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike in 16 Bänden / Von H. Cancik, H. Schneider (Hrsg.). Stuttgart, 1996–2003.
- Dubois, Renaud 1976 – J. Dubois, G. Renaud. Édition pratique des martyrologes de Bède, de l'Anonyme lyonnais et de Florus. Paris, 1976.
- Durand 1984 – Les villes de la Gaule Belgique au Haut-Empire. Actes du colloque tenu à Saint-Riquier (Somme) octobre 1982 / Éd. par M. Durand // *Revue archéologique de Picardie*. 1984.
- Fichtl 1994 – S. Fichtl. Les gaulois du nord de la Gaule (150–20 av. J.C.). Paris, 1994.
- Font. Hisp. Ant. 1940 – Fontes Hispaniae Antiquae. T. 5. Barcelona, 1940.
- Gaffiot, Flobert 2000 – Le Grand Gaffiot – Dictionnaire latin-français. Nouvelle édition revue et augmentée sous la direction de P. Flobert. Paris, 2000.
- Georges 1913–1918 – Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch/Ausgearbeitet von K.E. Georges. Bd. I–II. 8. Hannover; Leipzig, 1913–1918 (= 10. Aufl. 1959).
- Gimeno, Mayer 1993 – H. Gimeno, M. Mayer. Una propuesta de identificación epigráfica: Lara de los Infantes – Nova Augusta // *Chiron*. 1993. 23.

- Goodspeed 1945 – *E.J. Goodspeed*. Problems of New Testament translation. Chicago, 1945.
- Grant 1946 – *M. Grant*. From imperium to auctoritas. Cambridge, 1946.
- Hahn 1906 – *L. Hahn*. Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten, mit besonderer Berücksichtigung der Sprache. Leipzig, 1906.
- Jalabert, Mouder – *Inscriptions grecques et latines de la Syrie* / L. Jalabert, R. Mouder (éds.). Paris, 1927-.
- Jones 1937 – *A.H.M. Jones*. The cities of the eastern Roman provinces. Oxford, 1937 (= 1998).
- Jospin, Laroche, Leyge 1990 – *J.-P. Jospin, C. Laroche, F. Leyge*. Aoste, une bourgade gallo-romaine. Grenoble, 1990.
- Kiepert 1878 – *H. Kiepert*. Lehrbuch der alten Geographie. Berlin, 1878.
- Koenen 1996 – *L. Koenen*. The carbonized archive from Petra // JRA. 1996. 9.
- KP 1964–1975 – *Der Kleine Pauly*. Lexikon der Antike. 1–5. Stuttgart, 1964–1975.
- Lauffray 1978 – *J. Lauffray*. Beyrouth: Archéologie et histoire, époques gréco-romaines; I, Période hellénistique et Haut-Empire romain // Aufstieg und Niedergang der römischen Welt/Von H. Temporini, W. Haase (Hrsg.). II.8. Berlin, 1978.
- Lewis, Short 1975 – *C.T. Lewis, C. Short*. A Latin dictionary. Oxford, 1879.
- Magie 1950 – *D. Magie*. Roman rule in Asia Minor. 2 vols. Princeton, 1950.
- Martyrologium Hieronymianum 1894a – *Martyrologium Hieronymianum* // Nov. 2/1. Acta SS / G.B. Rossi, L. Duchesne (eds.). Paris, 1894.
- Martyrologium Hieronymianum 1894b – *Martyrologium Hieronymianum* // Nov. 2/2. Acta SS / H. Quentin, H. Delehay (eds.). Bruxelles, 1894.
- Maschov 1994 – *S. Maschov*. Das spätantike Kastell und die frühbyzantinische Stadt Auguste beim Dorf Harletz, nord-west Bulgarien // Limes. Studi di Storia 5 / G.C. Susini (ed.). Bologna, 1994.
- Miller 1916 – *K. Miller*. Itineraria Romana. Stuttgart, 1916.
- Mitchell 1979 – *S. Mitchell*. Iconium and Ninica. Two double communities in Roman Asia Minor // Historia. 1979. 28.
- Mitchell, Waelkens 1988 – *S. Mitchell, M. Waelkens*. Cremna and Sagalassus 1987 // Anatolian studies. 1988. 38.
- Mitford 1991 – *T.B. Mitford*. Inscriptiones Ponticae Sebastopolis // ZPE. 1991. 87.
- Odiot, Bel, Bois 1992 – *T. Odiot, V. Bel, M. Bois*. D'Augusta Tricastinorum à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) // Documents d'archéologie en Rhône-Alpes. 1992. 7.
- OCD 1970 – The Oxford classical dictionary. 2. ed. Oxford, 1970.
- OCD 1996 – The Oxford classical dictionary. 3. ed. Oxford, 1996.
- OLD – Oxford Latin dictionary / P.G.W. Glare (ed.). Fasc. I–VIII. Oxford, 1968–1982.
- Papazoglou 1988 – *F. Papazoglou*. Les villes de Macédoine à l'époque romaine. Paris, 1988 (Bulletin de Correspondance Hellénique. Suppl. 16).
- Parker 1986 – *S.T. Parker*. Romans and Saracens: a history of the Arabian frontier. Winona Lake, 1986.
- Quentin 1908 – Les martyrologes historiques du moyen âge / H. Quentin (éd.). Paris, 1908.
- Ramirez Delgado 1982 – *J. Ramirez Delgado*. Los primitivos nucleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz. 1982.
- RE – Paulys Real-Encyclopaedie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1894–1978.
- Rivet 1988 – *A.L.F. Rivet*. Gallia Narbonensis: southern France in Roman times. London, 1988.
- Robert 1954 – *L. Robert, J. Robert*. La Carie II: Le plateau de Tabai et ses environs. Paris, 1954.
- Rodríguez Neila 1980 – *J.F. Rodríguez Neila*. El municipio romano de Gades. Cádiz, 1980.
- Rogeret 1997 – *I. Rogeret*. Carte archéologique de la Gaule 76. Seine-Maritime. Paris, 1997.
- Rougier 1986 – *J. Rougier*. Provenance du matériel lithique des monuments antiques de la région Aoste-Isère // Les ressources minérales et l'histoire de leur exploitation. Paris, 1986.
- Rougier 1988 – *J. Rougier*. Aoste-la-Romaine. Lyon, 1988.
- Rowland 1981 – *R.J. Rowland, Jr.* I ritrovamenti romani in Sardegna // Studia archaeologica. 28. Roma, 1981.
- Sautel 1957 – *J. Sautel*. Carte archéologique de la Gaule romaine. XI. Paris, 1957.
- Sharpe 2002 – *R. Sharpe*. Martyrs and local saints in late antique Britain // Local Saints and Local Churches in the Early Medieval West / A.T. Thacker, R. Sharpe (eds.). Oxford, 2002.
- Stillwell 1976 – The Princeton encyclopedia of classical sites/R. Stillwell et al. (eds.). Princeton, 1976.
- Talbert 2000 – Barrington Atlas of the Greek and Roman World / Richard J.A. Talbert (eds.). Princeton; Oxford, 2000.
- TIB 2 1981 – *F. Hild, M. Restle*. Tabula Imperii Byzantini 2. Kappadokien (Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos) // Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Wien, 1981.

- TIB 4 1984 – *K. Belke*. Tabula Imperii Byzantini 4. Galatien und Lycaonien // Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Wien, 1984.
- TIB 5.1 1990 – *F. Hild, H. Hellenkemper*. Tabula Imperii Byzantini 5.1. Kilikien und Isaurien // Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Wien, 1990.
- TIB 7 1990 – *K. Belke, N. Mersich*. Tabula Imperii Byzantini 7. Phrygien und Pisidien // Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Wien, 1990.
- TIB 9 1996 – *K. Belke*. Tabula Imperii Byzantini 9. Paphlagonien und Honorias // Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften. Wien, 1996.
- TIR 1975 – Tabula Imperii Romani M-31. Lutetia – Atuatuca – Ulpia Noviomagus. Paris, 1975.
- TIR 1976 – Tabula Imperii Romani K-34. Naissus, Dyrrhachion – Scupi – Serdica – Thessalonike. Ljubljana, 1976.
- TIR K-30 1993 – Tabula Imperii Romani K-30. Madrid: Caesaraugusta, Clunia. Madrid, 1993.
- TIR K-35 1993 – Tabula Imperii Romani K-35, I. Philippi. Athens, 1993.
- TIR 1994 – Tabula Imperii Romani. Iudaea – Palaestina. Jerusalem, 1994.
- TIR 1995 – Tabula Imperii Romani J-29. Lisboa: Emerita – Scallabis – Pax Iulia – Gades. Madrid, 1995.
- TLL – Thesaurus linguae Latinae. Lipsiae, 1900–.
- Tovar 1974 – *A. Tovar*. Iberische Landeskunde: die Völker und die Städte des antiken Hispanien: Baetica. Zweiter Teil. Bd. 1. Baden-Baden, 1974.
- Tovar 1989 – *A. Tovar*. Iberische Landeskunde. Segunda Parte: Las tribus y las ciudades de la antigua Hispania. Tomo 3: Tarraconensis. Baden-Baden, 1989.
- Uggeri 1978 – *G. Uggeri*. Vie di terra e vie d'acqua tra Aquileia e Ravenna in età romana // Antichità altoadriatiche. 1978. 13.
- Wacher 1995 – *J.S. Wacher*. The towns of Roman Britain. 2. ed. London, 1995.
- Zahrnt 1988 – *M. Zahrnt*. Zum römischen Namen von Augsburg // ZPE. 1988. 72.

© 2006 г. В. БРОЙ

ФЛЕКТИВНЫЙ И ДЕРИВАЦИОННЫЙ ГЛАГОЛЬНЫЙ ВИД В МОЛИЗСКО-СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается система глагольных видов в молизско-славянском микроязыке на территории южной Италии, т.е. образование форм и взаимодействие функций деривационной (СВ : НСВ) и флективной (имперфект : перфект) видовых оппозиций. Описание основывается на модели “интеракции лексики с аспектом (видом)” [ИЛА], включая проблему маркированности видовых граммем, роль предельности и интеграцию заимствованных слов. Под влиянием итальянского языка и его диалектов молизско-славянский язык приблизился к романскому типу: в области видов это вытекает, например, из исчезновения аориста до являющегося все еще живой видовой граммемой имперфекта. Данные были получены с помощью проведенных в Италии исследований.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая статья посвящается особенностям системы глагольных видов в молизско-славянском языке (МСЯ) в южной Италии относительно образования форм и функций ее граммем¹. При этом затрагиваются проблемы взаимодействия функций родной славянской видовой оппозиции с имеющейся также в романских языках оппозицией имперфекта и аориста, включая категорию таксиса, проблематику маркированности и интеграцию заимствованных слов. Важную роль здесь играет также классификация акциональной лексики, особенно относительно критерия предельности.

МСЯ – славянский микроязык в южно-итальянском регионе Molise (провинция Campobasso), носители которого живут в трех деревнях на холмистой территории, приблизительно в 30 км от побережья Адриатического моря. Предки сегодняшних молизских славян пришли, как доказывают диалектные особенности, 500 лет назад из герцеговинской долины реки Неретва и говорили на южнославянском штокавско-икавском диалекте (ср. формы *što* ‘что’, *dvi* ‘две’). Самым близким к МСЯ стандартным языком с точки зрения генетического родства является хорватский литературный язык. Но из-за полутысячелетнего влияния романских языковых систем в МСЯ наблюдаются адстратные влияния на всех языковых уровнях, вследствие которых он сильно приблизился к романскому языковому типу. В истории МСЯ различаются два основных периода романского влияния, во-первых, сначала исключительный контакт с итальянско-молизским диалектом и, во-вторых, уже более чем 100-летний контакт с итальянским литературным языком.

МСЯ находится сегодня в ситуации абсолютного языкового контакта, это значит, что все говорящие овладевают, по крайней мере, также и одним вариантом итальянского. В двух деревнях, Acquaviva Collecroce (в молизско-славянском Kruč) и Montemitro (Mundim-

¹ Данные были получены с помощью исследования в Италии в рамках проекта A15 “Абсолютный языковой контакт славянских микроязыков” специального научно-исследовательского центра “Вариантность и развитие в лексиконе” университета г. Констанц, при финансовой поддержке Немецкого исследовательского общества (DFG, Sonderforschungsbereich 471). Настоящая статья основывается на первоначальной разработке тематики глагольного вида в МСЯ на немецком языке [Breu 2003].

itar), МСЯ остается до сегодняшнего дня живым разговорным языком большинства населения (приблизительно 1500 человек), в то время как в третьей деревне, San Felice del Molise (Filic), он почти полностью исчез из общественного употребления. Общие диалектные различия довольно значительны, однако относительно глагольного вида они кажутся скорее малыми. Настоящая статья ссылается, если не отмечено другое, на говор главной местности, Аквививы².

2. СОСТАВ ФОРМ МОЛИЗСКО-СЛАВЯНСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО ВИДА

2.1. Флективная видовая оппозиция

Славянские языки, находящиеся под интенсивным влиянием неславянских языков, например, лужицкий в контакте с безвидовым немецким, отличаются в общеславянских рамках особым поведением глагольного вида³. МСЯ представляет собой, в отличие от лужицкого, тот специальный случай, когда контактные языки, в этом случае романские, также имеют категорию глагольного вида (или аспекта) в форме “флексивной”, точнее морфо-синтаксической, синтетически-аналитической видовой оппозиции в прошедшем времени.

В общероманских рамках видовая оппозиция включает в себя три грамлеммы: имперфект, аорист (по-итальянски *passato remoto*) и перфект (*passato prossimo*)⁴, которые нам известны также из истории русского языка. В МСЯ из старых времен сохранилась, из-за утраты аориста и его замены перфектом, только двучленная оппозиция:

(1) МСЯ: (Ø) **имперфект** **перфект**

Система (1) на первый взгляд похожа на ситуацию в тех говорах сербохорватского (= боснийского/сербского/хорватского) языка, в которых синтетические формы глагольного вида, в принципе, еще продолжают существовать, но в ограниченном размере. При этом есть, однако, одно очень заметное различие: в этих говорах сохранился, напротив, аорист, в то время как имперфект исчез и передал свои функции перфекту. Даже в тех вариантах сербохорватского языка, в которых используются еще обе синтетические видовые граммемы, имперфект употребляется реже аориста⁵.

² Об общей характеристике современной ситуации МСЯ (см. [Breu 1990]); о самых важных феноменах языкового контакта в моллизско-славянской грамматике (см. [Breu 1998]). В приложении к словарю [Breu, Piccoli 2000] представлены фонологическое описание и краткая грамматика говора Аквавивы. Классическое описание общей ситуации и языка славян в Молизе к началу XIX века представил [Rešetar 1911]. Подавляющее большинство моллизских славян пишет и читает только по-итальянски, но является неграмотным относительно родного языка. Т.е. МСЯ употребляется в большинстве своем только устно. Несмотря на это, есть и свидетельства письменности, прежде всего стихи и другие краткие тексты некоторых интеллигентов, отчасти с влиянием (сербо)хорватского языка (здесь и далее написание названий языков авторское. – *Ред.*). Собрание таких «литературных» текстов дает Дуличенко [Дуличенко 2003: 128–177].

Такое влияние проявляется, конечно, менее интенсивно в нормированном литературном языке, чем в диалектах и в разговорной речи. К вопросу видовой системы в верхнелужицком разговорном языке (см. [Breu 2005]).

⁴ О сравнении итальянской и русской видовой системы с функциональной точки зрения (см. [Брой 1998]).

⁵ Наблюдение над употреблением аориста и имперфекта в сербохорватских говорах обобщил Ивич (см. [Ivić 1958: 120]): “Das Imperfekt wurde in einem beträchtlichen Teil des štok. Territoriums (Norden und Westen), der Aorist nur in einigen Randmundarten ganz ausgelöscht, während in manchen anderen Mundarten sein Gebrauch reduziert wurde”. [Имперфект на большей части токавской территории (север и запад) исчез полностью, исчезновение аориста произошло только в некоторых окраинных говорах, в других говорах его использование было редуцировано.] В кон-

Схема (2) показывает вероятные этапы утраты флективных видовых форм в сербохорватском языке (схрв.) и его диалектах на Балканском п-ове: от консервативной полной системы (2а), через частичную редукцию (2б), которая еще существует в малопрогрессивных говорах, до полной утраты супплетивных форм (2в) в самых прогрессивных вариантах современного сербохорватского:

(2а)	↓ консервативный схрв.	аорист	имперфект	перфект
(2б)	↓ этап утраты I	аорист	(Ø)	перфект
(2в)	↓ этап утраты II	(Ø)	(Ø)	перфект

Если исходить из того, что в период иммиграции молизских славян, оппозиция имперфекта и аориста существовала еще на всей сербохорватской языковой территории, что доказывают письменные документы того времени, то на первоначальной родине и в Италии произошли два противоположных развития: там сохранился аорист, а здесь – имперфект⁶. Исчезновение имперфекта при одновременном сохранении аориста – явление, присущее не только сербохорватскому. Оно является как раз одной из исторических констант славянских языков⁷.

Что касается итальянского, то консервативный итальянский литературный язык в (3а), также, как и консервативный схрв. в (2а), сохраняет как имперфект, так и аорист, в то время как разговорный язык довольно большей части Италии, который испытал на себе влияние северного итальянского, и который также является контактным языком для МСЯ, больше не знает аориста. Утрата аориста наблюдается, кроме того, также в местных молизских говорах итальянского языка. Из этого следует, что все контактные

клетном случае косовско-резьянского диалекта [Ivić 1958: 237] утверждает, например: “Alle Mundarten dieses Dialekts kennen den Aorist, wobei der Umfang seines Gebrauchs in den Banat-Mundarten eingeschränkt ist. Das Imperfekt ist in den Mundarten südlich der Donau bekannt... aber fehlt im Banat. Dies stimmt im Prinzip mit dem Stand im Šumadija-Vojvodina-Dialekt überein”. [Всем говорам этого диалекта известен аорист, хотя его использование в говорах Баната ограничено. Имперфект используется в говорах южнее Дуная... но отсутствует в Банате. Такое положение совпадает, в принципе, с ситуацией в шумадийско-воеводинском диалекте.] Имперфект исчез даже на северо-восточной части территории восточно-герцеговинского диалекта [Там же: 145]. Также в литературных языках имперфект используется реже аориста. См., например [Raguž 1997: 185] о хорватском аористе: “Aorist... nije tako čest, ali je češći nego što se to tvrdi u hrvatskim gramatikama... Osobito je čest u književnim i povijesnim tekstovima”, и в противоположность этому об имперфекте: “Praktično je imperfekt u suvremenome jeziku iščezlo glagolsko vrijeme”. То же у [Barić et al. 1997: 413]: “Aorista danas uglavnom nema u razgovornom jeziku i informativnim tekstovima. U književnim se djelima upotrebljava češće od imperfekta i daje im jaku stilsku obilježnost”.

⁶ Это положение заметил уже Rešetar [Rešetar 1911: 186], который впоследствии делает важное замечание об использовании имперфекта в сербохорватском языке того времени [Там же: 216]: “...ich habe in der kurzen Zeit, während welcher ich unter den Kolonisten weilte, viel mehr Beispiele des Imperfektums gehört, als mir dies im Verlaufe von Dezennien im Verkehre mit dem Volke und mit Gebildeten in, bezw. aus den verschiedensten serbokroatischen Gegenden zu teil wurde” [“...за короткое время, в течение которого я был среди колонистов, я слышал намного больше примеров имперфекта, чем мне за десятилетия довелось слышать в общении с простым народом и образованными людьми, живущими в различных областях сербохорватской территории или приходящими оттуда”].

⁷ О старорусском (см. [Успенский 1987: 144 и сл.; Klimonov 2001: 129]) исчезновение в русском имперфекта (XII–XIII вв.) до аориста (XIV–XV вв.) объясняет его маркированностью на уровне выражения в форме суффикса *-a-*. Но собственно говоря, такая чисто формальная причина должна была бы быть действительной для всех славянских языков, в том числе также и для МСЯ. И всеобщее объяснение Климоновым (см. [Klimonov 2001]) исчезновения синтетических видовых форм, основанное на возникновении и распространении оппозиции целостности, при “нормальном” языковом развитии должно было бы также проявиться и в МСЯ, так как он в этом смысле тоже полностью развит, см. ниже.

языки МСЯ имеют редуцированную видовременную структуру (3б), которая совпадает полностью со структурой сегодняшнего МСЯ в (1)⁸:

(3а)	↓ консервативный итал.	аорист	имперфект	перфект
(3б)	↓ этап утраты итал./мол.	(Ø)	имперфект	перфект

Обзор других романских языков, например, французского и румынского, подтверждает, что исчезновение аориста до имперфекта является диахронической константой романских языков. Из этого ясно, что МСЯ, хотя и следует общеславянской тенденции (утрата флективной категории вида), в соревновании диахронических констант последовал пути романских языков. Ареальное влияние языкового контакта одержало победу над генетическим родством.

Это утверждение доказывается, по-моему, словенско-резьянским языком, на котором говорят в северо-итальянском регионе Friuli-Venezia Giulia (провинция Udine) и который также состоит в языковом контакте с романскими языками. Синтетические видовые формы в нем, в принципе, еще существуют, в отличие от генетически родственного ему словенского литературного языка и его современных диалектов, но опять-таки эти формы относятся исключительно к историческому имперфекту⁹.

Что касается плана выражения “флективной” (синтетическо-аналитической) категории вида в МСЯ, то ее грамлеммы представлены родными славянскими формантами. Т.е. в МСЯ перфект также образуется с помощью клитических форм настоящего времени глагола *bit* ‘быть’ и причастия на *-l* (который переходит в *-a* на конце слова), но в отличие от сербохорватского языка исключительно в этом порядке слов (вспомогательный глагол перед причастием), например, в глаголе *vrč* ‘поставить’: *sa vrga* (жен. *sa vrl^a*), *si vrga*, *je vrga*, *sma vrl*, *sta vrl*, *su vrl*¹⁰. Имперфект имеет в 1-м лице ед. числа окончание *-h^u*,

⁸ Изоглосса между потерей аориста вблизи побережья и его сохранением внутри страны проходит по горной цепи Monte Mauro позади Аквививы. Все говоры, находящиеся по направлению к морю, среди них также говор главной местности Palata, не обладают аористом. Говоры славянских деревень полностью входят в этом отношении в итальянский диалектальный континуум. Кстати, для албанских говоров Molise это не действует. Наряду с имперфектом здесь также сохранился и аорист, но нет аналитического перфекта в изъявительном наклонении; объяснение см. [Breu 1990: 58]].

⁹ Ср. [Ramovš 1947–1949: 144], который также указывает на то, что Бодуэн де Куртене в 1873-м г. нашел еще две формы аориста, которые к сегодняшнему времени исчезли. О сегодняшнем использовании имперфекта в резьянском говоре села San Giorgio (см. [Steenwijk 1992: 182]); речь здесь больше идет не о видовой грамлеме изъявительного наклонения, а об условной форме, которая выражает нереальное действие (ирреалис). Потеря видовой функции произошла, по всей вероятности, недавно; ср. [Benacchio 1998: 226]. Можно предположить, что моделью для функции нереальности явилась вторичная функция итальянского имперфекта (*se facevo* = *se avessi fatto* ‘если бы я сделал’), которая присутствует также и в МСЯ; см. [Breu 1999a: 246]. Интересным для исследования могло бы стать нахождение причин того, почему в резьянском, в отличие от МСЯ, сохранилась только эта второстепенная функция имперфекта, в то время как в видовых функциях он был заменен формой несовершенного вида прошедшего времени на *-l*.

¹⁰ В говоре Аквививы первоначальные краткие *-e*, *-o* и *-a* на конце слова превращаются в шепотный (редуцированный и глухой) *-a*, в то время как *-i* отпадает полностью. О фонологических правилах МСЯ, говора Аквививы, особо об аканье, о шепотных гласных и о “шкале их силы” (т.е. тенденции к утрате или сохранению), см. [Breu 1999b]. Шепотные гласные, которые в этом и в следующем примере написаны маленьким шрифтом, в дальнейшем пишутся нормально. В Montemitro (Монтемитро) форма 2-го лица ед. числа *si vrga* факультативно употребляется также и для выражения 1-го лица ед. числа наряду с формой *se vrga*. Во множественном числе, по причине отсутствия аканья в этом говоре, формы звучат: *sno vrl*, *ste vrl*. Первоначальный *-i* в суффиксе причастия во множественном числе здесь также исчез, в противоположность говору San Felice, где он сохранился при определенных синтаксических условиях.

расширенное с исторической точки зрения шепотным гласным *-u*, и совпадающее с 3-м лицом множественного числа, что, возможно, является результатом структурного влияния итальянского языка, ср. [Breu 1999a: 245]. Остальные формы объясняются аканьем и аналогическим распространением согласного *-h*-. *vržah^u*, *vržas^a*, *vržas^a*, *vržahm^a*, *vržah^t*, *vržah^u*¹¹.

2.2. Формальное выражение деривационной видовой оппозиции

После представленного выше описания флективного глагольного вида возникает вопрос о судьбе типично славянской видовой категории, которую в отличие от флективной оппозиции имперфекта и перфекта упрощенно можно назвать “деривационной”, так как она выражается словообразовательными элементами. Несмотря на влияние языкового контакта, она хорошо сохранилась. Т.е. в МСЯ существуют еще все обычные формальные способы образования видовых пар (= полных видовых глагольных лексем): префиксация, суффиксация и супплетивизм¹². Для образования совершенного вида (СВ) используются различные грамматические префиксы, как *za-*, *u-*, *po-* в (4а). В образовании несовершенного вида (НСВ) доминирует суффикс *-iva-*, хотя существуют и другие типы образования, см. (4б)¹³. Также встречается суффиксальная оппозиция, как в (4в); в (4г) приведены примеры супплетивных видовых пар:

- | | |
|---|-------------------------------|
| (4а) <i>gušit</i> (НСВ) → <i>zagušit</i> (СВ) | ‘душить – задушить’ |
| <i>krest</i> (НСВ) → <i>ukrest</i> (СВ) | ‘красть – украсть’ |
| <i>solit</i> (НСВ) → <i>posolit</i> (СВ) | ‘солить – посолить’ |
| (4б) <i>kazivat</i> (НСВ) ← <i>kazat</i> (СВ) | ‘показывать – показать’ |
| <i>urnjivat</i> (НСВ) ← <i>urnit</i> (СВ) | ‘всовывать – всунуть’ |
| <i>umirat</i> (НСВ) ← <i>umbrit</i> (СВ) | ‘умирать – умереть’ |
| (4в) <i>ničat</i> (НСВ) ↔ <i>niknit</i> (СВ) | ‘рождаться – родиться’ |
| <i>badat</i> (НСВ) ↔ <i>badnit</i> (СВ) | ‘дотрагиваться – дотронуться’ |
| <i>počivat</i> (НСВ) ↔ <i>počinīt</i> (СВ) | ‘отдыхать – отдохнуть’ |
| (4г) <i>mečat</i> (НСВ) : <i>vrč</i> (СВ) | ‘ставить – поставить’ |
| <i>govorat</i> (НСВ) : <i>reč</i> (СВ) | ‘говорить – сказать’ |
| <i>prohodat</i> (НСВ) : <i>prokj</i> (СВ) | ‘проходить – пройти’ |

В случае префиксального образования часто встречаются видовые тройки. Так, наряду с *gušit* в (4а) существует вторичный глагол несовершенного вида *zagušivat*, а наряду с *krest* имеется инфинитив *kredat*, образованный от основы настоящего времени. Речь в этом случае идет о свободных вариантах, хотя выбор той или иной формы может зависеть от конкретной лексики, от контекста или от самого говорящего. Видовые тройки, образованные двумя типами префиксации, встречаются, напротив, значительно реже, так как чаще всего только часть значения симплекса может быть выражена приставочным партнером. Согласно принципу “категориальной омонимии” [Breu 1984: 132–134], в таких случаях могут быть приняты различные лексемы с расщеплением значения несовершенного вида на два или более отдельных глагола, например, *nosit*/*ponit* ‘нести/понести’ : *nosit*₂/*donit* ‘нести/принести’ или *sijat*/*posijat* ‘сеять/посеять (пшеницу)’ : *sijat*₂/*nasijat* ‘засеивать – засеять (поле)’. От таких случаев надо отличать чисто лексиче-

¹¹ В Монтемитро по причине отсутствия аканья окончания звучат: *-hu*, *-še*, *-še*, *-hmo*, *-hte*, *-hu*.

¹² В дальнейшем представлен только очень короткий отрывок возможностей образования. В [Breu, Piccoli 2000] видовые пары МСЯ Аккавивы описаны полностью с помощью сетевой системы ссылок.

¹³ В говоре Montemitro вместо *-iva-* в качестве суффикса образования несовершенного вида чаще употребляется *-ilja-*, например, *kupiljat* ‘покупать’ (НСВ) в отличие от *kupivat* в Аккавиве. Оба глагола являются производными от *kupit* (СВ) и в обоих говорах имеют вариант *kupovat*; точно так же *ubiljat* (вариант *ubijat*) ‘убивать’ в Montemitro в отличие от *ubivat* (= *ubijat*) в Аккавиве к *ubit* (СВ); о видовых формах в говоре Montemitro ср. [Piccoli, Sammartino 2000].

скую омонимию, возникшую в результате звукового совпадения этимологически различных корней; ср., например, лексемы *ljutiti/zaljutiti* 'проглатывать/проглотить' и *ljutiti/zljutiti* 'приправлять/приправить остро (еду)'.

В отдельных случаях полная видовая лексема может состоять из большего числа глаголов одного или другого вида, которые свободно варьируются; ср., например, варианты глаголов со значением 'сокращать/сократить' *kratnit* $\approx$ *kratnjivat* $\approx$ *zakratnjivat* (НСВ); *skratnit* $\approx$ *zakratnit* (СВ) или глаголы со значением 'открывать/открыть' *otvarat* $\approx$ *otvorat* $\approx$ *tvarat* $\approx$ *tvorivat* (НСВ); *otvorit* $\approx$ *ivorit* (СВ).

В МСЯ, как и в других славянских языках, есть также и одновидовые глаголы, например, несоотносительные глаголы НСВ (*imperfectiva tantum*) в (4д) и несоотносительные глаголы СВ (*perfectiva tantum*) в (4е):

(4д) *sa verat* 'тонуть (в болоте)'; *rižat* 'быть острым (нож)'; *stajat* 'помещаться'

(4е) *ujahat* 'сесть на коня'; *jiznit* 'вынуть'; *zagledat* 'взглянуть'

Подытоживая, можно сказать, что деривационная видовая морфология МСЯ осталась в общеславянских рамках, несмотря на то, что число морфологических вариантов в ней заметно выше, чем обычно, как с точки зрения языкового общества в целом (в отношении от одного говорящего к другому), так и в индивидуальном (у одного и того же говорящего) виде. За это, наряду с непрекращающейся продуктивностью множества способов образования видовых основ, отвечает, прежде всего, выравнивание основ по аналогии, которое, ввиду отсутствия нормы и под действием общего ослабления чувства "правильной формы" в ситуации языкового контакта, является вирулентным и не имеет стабильных результатов.

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЕИХ ВИДОВЫХ ОППОЗИЦИЙ

Обратимся теперь к функциям представленных в МСЯ видовых категорий. Важно то, что в прошедшем времени всегда выступает комбинация одной граммемы из каждой оппозиции (деривационной и флективной). В настоящем и будущем наличествует только деривационная видовая оппозиция славянского типа. Описание функционирования вида в МСЯ основывается на модели "интеракции лексики с аспектом (видом)" (ИЛА), т.е. взаимодействия вида с аспектуальными глагольными значениями (см. [Брой 1997; Вгеи 2000]). При этом модель ИЛА ограничивается здесь неотъемлемыми основами теории для описания молизско-славянской системы.

3.1. Классификация лексического значения

Мы исходим – как это представлено в (5) – из разделения глагольных значений на два акциональных класса: на предельные и непредельные глагольные значения. При этом признак предельности относится, как известно, к присутствию или отсутствию внутреннего предела, цели действия¹⁴:

(5а) **предельный**: ∃ внутренний конечный предел (цель) действия

(5б) **непредельный**: ∄ внутренний конечный предел (цель) действия

¹⁴ В теории ИЛА эти классы подразделяются дальше. Так, на основе образа достижения цели (точный или градуальный процесс) могут быть выделены два предельных подкласса, тотально-предельный, как в лексеме *nakji/nahodat* 'найти/находить' и градуально-предельный, как в *sfašat/sfašivat* 'развернуть/разворачивать'. Непредельные лексемы также не образуют монолитных групп. Мы можем, например, отделить лексемы, выражающие деятельности, как *rabiti* 'работать', от тотально- и относительно-статических лексем, как *koštat* 'стоять' и *ležat* 'лежать'. Сюда относятся также классы, в которых проявляется смешение предельной и непредельной характеристик, как инхотативные лексемы типа *hraniti/hranjivat* 'спрятать/прятать' (глагол НСВ выражает процесс прятанья и нахождение в состоянии спрятанности), а также инцептивно-статические лексемы типа *razumiti* 'понимать/понять' (состояние и вступление в это состояние), которые будут особо рассмотрены ниже.

В основном, предельные лексемы являются в деривационной видовой оппозиции парными, это значит, что они выражаются формами двух глаголов, различающихся видом, но имеющих одно и то же лексическое значение. Исключение составляют несоотносительные глаголы СВ. Напротив, все непредельные глаголы – это касается не только глаголов состояния – в МСЯ несовершенного вида.

3.2. Классификация видовых граммем

Как в деривационной, так и во флективной видовой категории выделяются две видовые функции: лимитатив и нелимитатив; ср. пункт (6). Лимитативы, как славянский СВ, охватывают действие в целом, со всеми его внутренними пределами и результатами. В отличие от них, нелимитативы представляют действие без учета его внутренних пределов. Имперфект является, например, таким нелимитативом. Также НСВ выражает нелимитативные функции, в то время как аорист – или, если он заменен перфектом, как в молізско-славянском, то перфект – имеет функции лимитатива:

- (6а) **лимитатив:** целостный охват глагольного действия (СВ, перфект)
 (6б) **нелимитатив:** глагольное действие представлено без охвата его пределов (НСВ, имперфект)

Внутри глагольных форм происходит взаимодействие акциональной лексики с соответствующим грамматическим значением вида. Получается шкала типов взаимодействий с вытекающими из них “интеракционными значениями”, которая простирается от “несовместимости тотально-статических действий с лимитативами”, через “подчеркивание или изменение качеств пределов” (в смысле, напр., активации/достижения пределов, процессуализации или хабитуализации = неограниченного повторения), до “пустого применения”, как, например, в случае применения лимитатива к тотально-терминативным действиям.

В текстуальном отношении лимитативы применяются для изображения “изменения ситуации” (ПС), а нелимитативы – для изображения “данной ситуации” (ДС), независимо от того, идет ли речь о процессах, состояниях или о повторяющихся событиях¹⁵. Примерами этих функций в МСЯ являются предложения с переменной ситуации в (7а) и с данными ситуациями в (7б) – (7г). В (7б) представлен актуально происходящий процесс, в (7в) – длящееся состояние, а в (7г) – второстепенное состояние, вызванное хабитуальным повторением:

- | | |
|---|-----------------|
| (7а) <i>Tuna dica su ušl.</i> [ПС] | (перфект СВ) |
| ‘Все дети ушли’. | |
| (7б) <i>Kalivaša sundza.</i> [ДС] | (имперфект НСВ) |
| ‘Солнце как раз садилось’. | |
| (7в) <i>Sa sumiljahu kana noća aš dan.</i> [ДС] | (имперфект НСВ) |
| ‘Они были похожи как день и ночь’. | |
| (7г) <i>Tečahu sve nonda.</i> [ДС] | (имперфект НСВ) |
| ‘Они бегали туда всегда’. | |

В ситуационной сети, которая является результатом взаимодействия в тексте двух или более глаголов, возникают таксисное отношение “одновременности”, представленное комбинацией нелимитативов как одновременные процессы в (8а), одновременные состояния в (8б) и одновременность состояния и хабитуально повторяющихся действий в (8в), отношение “разновременности”, т.е. цепи действий, образующейся из комбина-

¹⁵ О признаке ВНС (“возникновение новой ситуации” = ПС) и ДС (см. [Бондарко 1995: гл. III]).

ции лимитативов, как в (8г) и (8д), и таксисное отношение “инцидентности” из соединения лимитативов с нелимитативами в (8е) и (8ж):

- (8а) *Tramjend ja govorahu, ti pisaša.* (имперф. НСВ + имперф. НСВ)
 ‘В то время, когда я говорил, ты писал’.
- (8б) *Kada biša moj muž na gveru, ja ne proživahu maj.* (имперф. НСВ + имперф. НСВ)
 ‘Когда мой муж был на войне, я никогда не отдыхала’.
- (8в) *Kada bihu divojka, čuvahu ovce aš predahu.* (3 имперфекта НСВ)
 ‘Когда я была девочкой, я пасла овец и пряла’.
- (8г) *Kada sma rival u Napulu, sma vidil nu velku navu.* (перф. СВ + перф. СВ)
 ‘Когда мы прибыли в Неаполь, мы увидели большой корабль’.
- (8д) *Sma vazal drugi tren e sma pol na drugu štacijunu veča malu.* (перф. СВ + перф. СВ)
 ‘Мы сели на другой поезд и поехали на другой более маленький вокзал’.
- (8е) *Daždaša. Sma sa skinil.* (имперф. НСВ + перф. СВ)
 ‘Шел дождь. Мы сошли [с поезда]’.
- (8ж) *Ja jimahu dudič an, ka mi umbrala mat.* (имперф. НСВ + перф. СВ)
 ‘Мне было двенадцать лет, когда умерла моя мать’.

Из добавленных в (7) и (8) грамматических определений деривационной и флективной видовой оппозиции следует, что существующие здесь комбинации относительно ДС и ПС внутренне гомогенны, т.к. несовершенный имперфект состоит только из нелимитативов, а совершенный перфект – только из лимитативов. Однако в МСЯ, что ранее было свойственно всем славянским языкам, возможны также комбинации граммем, которые относительно функций лимитативности кажутся противоречивыми. К таким принадлежат, например, комбинации имперфекта СВ и перфекта НСВ.

Перед тем как перейти к обсуждению функций таких комплексных форм, необходимо сначала рассмотреть положение в области маркированности, которая играет важную роль при взаимодействии флективного и деривационного типов видовой категоризации; ср. схему (9). В основном, является действительным, что в деривационной категории вида маркирован лимитативный совершенный вид, а во флективной категории – нелимитативный имперфект (М = маркированное, Н = немаркированное)¹⁶:

(9)	Функция вида	Маркированность вида	Тип образования
СВ	лимитатив	М	деривационный
НСВ	нелимитатив	Н	
аорист/перфект¹⁷	лимитатив	Н	флективный
имперфект	нелимитатив	М	

¹⁶ О статусе маркированности в деривационной видовой категории ср., например [Бондарко 1995: 22–25].

¹⁷ Подлинная (или первоначальная) функция перфекта – фокусирование настоящего состояния, которое является результатом действия в прошлом, например, в виде перфектно-результативного значения: *Смотри, он умер!* = *Смотри, он мертв!* В истории многих языков, например, немецкого и русского, аналитический перфект наряду с этой первоначальной функцией допускал также видовое перемещение фокуса на действие, в то время как явившееся результатом этого действия состояние оставалось второстепенным (отрицаемым) следованием. Во временном отношении это связано с переходом из настоящего в прошедшее и распознается по совместимости с наречиями, которые выражают прошлое (*Вчера он умер*), ср. [Врей 1988]. В видовом отношении наличие результата предполагает целостное проведение действия, следствием чего становится рассмотренная в схеме (9) синонимия с аористом. Это и является причиной того, почему аналитический перфект в рассмотренных здесь языках (а также, например, во французском) полностью или частично вытеснил аорист.

Признак маркированности (М) обозначает, что данная форма выражает только соответствующую видовую функцию и больше ничего. Немаркированная форма (Н), напротив, используется как для выражения своих подлинно видовых функций, так и в тех случаях, когда оппозиция целостности/нецелостности (лимитатив/нелимитатив) нейтрализована, а именно в глагольных действиях, которые “изолированы с точки зрения вида”, так как они стоят вне ситуационной сети, например, общефактические действия.

3.3. Несовершенный перфект и совершенный имперфект

Как видно из схемы (9), в деривационной видовой оппозиции это НСВ, который используется как для выражения своей видовой функции нелимитатива, так и для выражения изолированных в ситуационной сети действий, в то время как в флективной оппозиции это аспектуально противоположный перфект, который наряду со своей собственно видовой функцией лимитатива ответствен за выражение изолированных действий. Из этого следует, что относительно собственно видовых функций противоречивая комбинация немаркированных граммем перфект и НСВ в аспектуально изолированной сфере вполне логична. Т.о., перфект НСВ ответствен за выражение общефактического значения, как, например, перфект *si jima* несовершенного глагола *jimat* ‘иметь’ в пункте (10):

- (10) *Si jima ku votu vlasa dugačke?* (перфект НСВ)
‘У тебя были (когда-нибудь) длинные волосы?’

Однако и комбинация двух маркированных членов с их противоположными знаками относительно лимитативности также возможна, как это видно из МСЯ еще продуктивного совершенного имперфекта. Но в этом случае необходима иерархизация функций лимитативности, т.е. сначала на лексическое значение накладывается лимитативная функция совершенного вида, и только затем – нелимитативная функция имперфекта. Это ясно показывают сложные предложения, в которых СВ сначала устанавливает таксическое отношение последовательности, на которую затем накладывается нелимитативная (стативная) функция имперфекта¹⁸.

В случае контекстуально выраженной повторяемости, например, с помощью наречия в (11а), образуется повторяющаяся цепь действий с распределительным оттенком. Глагол СВ в придаточном предложении выражает предшествование этого действия действию в главном предложении, которое выражено несовершенным видом:

- (11а) *Saku votu ka dojaša, mi nosaša nu biru.* (имперфект СВ)
‘Каждый раз, когда он приходил, он приносил мне пиво’.

В (11б) и (11в) наречия нет. Здесь представлены хабитуальные (т.е. неограниченно повторяющиеся) цепи действий. В русском это значение наиболее ярко выражается наглядно-примерной функцией СВ:

- (11б) *Vamaša krave, preгнаša a nosaša stinu.* (имперфекты СВ)
‘Бывало, возьмут коров, запрягут и тянут камень’. [букв. “возьмешь” и т.д.].
(11в) *Znesaša onu povači, skafaša drugu.* (имперфекты СВ)
‘Бывало, вынул ту лепешку, всунул другую’.

¹⁸ Общее нелимитативное значение имперфекта и несовершенного вида подразделяется на несколько частных функций. Особо выделяются процессив и статив. В последнем случае глагольные действия представлены как состояния, что в нестатических действиях вызывает, как было упомянуто выше, “интеракционное” значение (неактуального) неограниченного повторения. Имперфект СВ в МСЯ применяется именно в этой функции, являющейся также и важной функцией имперфекта СВ в современном болгарском, в церковнославянском и древнерусском языках. В современном хорватском и сербском языках и их говорах, даже в самых консервативных, имперфект с совершенным видом не совместим.

Заметим, что в настоящем времени, в отличие от имперфекта, также все варианты и диалекты схрв. имеют оппозицию НСВ : СВ. При вполне возможной прямой замене имперфекта СВ в предложении (11a) настоящим временем, например, форма *dojaša* (от *dokj* 'прийти') заменяется формой *doja* ($\approx$ *doje*) 'придет', которая также совершенного вида.

С другой стороны, совершенное настоящее в МСЯ – как в сербохорватском – не может выступать в функции будущего или актуального процесса¹⁹. То же действительно, что касается будущего в прошедшем, для имперфекта.

Формы совершенного настоящего не исключены в условных и во временных придаточных предложениях, как (11г), несмотря на то, что здесь мы не имеем дела с повторяемостью/хабитуальностью:

(11г) *Kada prisedža Ndžik, ma počka ponit na rija.* (наст. СВ)

'Когда Франческо женится, мне подобает принести подарок'.

В таких случаях речь идет о гипотетических или будущее-потенциальных действиях, имеющих со случаями повторяющейся цепи действия, как, напр., (11д) и (11е), одну общность – отсутствие временной локализованности:

(11д) *Saki dan pomuzam kozu, činim sir a si ga pojam doma.* (наст. СВ)

'Каждый день я дою козу, делаю сыр и ухожу домой'.

(11е) *Korko gvanja, norko speni.* (наст. СВ)

'Сколько он получит, столько раздаст'.

В имперфекте и настоящем времени форма СВ может быть заменена соответствующей формой НСВ, что особенно часто встречается в главном предложении, например, *nosaja* (имперфект от *nosit* 'носить, тянуть' и т.д. НСВ) в (11а) вместо СВ *ponesaja*. Противоположная замена несовершенного вида совершенным, конечно же, в общем, невозможна, так как (факультативное) использование совершенного настоящего или имперфекта ограничено их специальными функциями.

Возвратимся к случаю перфекта НСВ, т.е. к комбинации немаркированных членов обеих видовых оппозиций. Наряду с общефактической функцией такая комбинация выражает также делимитативность, т.е. эксплицитное временное ограничение действия. Здесь четко выступает немаркированность несовершенного вида, который, несмотря на свою функцию нелимитативности, совместим с временным ограничением, в то время как СВ временное ограничение, независимое от лексически данных пределов действия (т.е. цели глагольного действия), не допускает²⁰.

С другой стороны, во флексивной видовой оппозиции это маркированный нелимитативный имперфект, который исключает всякое ограничение глагольного действия. Таким образом, несов. перфект *je rabija* глагола *rabit* 'работать' в (12а) не может быть заменен соответствующим несовершенным имперфектом **rabaša* так же, как и несовершенный пер-

¹⁹ Об использовании совершенного настоящего в сербохорватском см. [Mihailovic 1962]. Кайкавский и чакавский диалекты допускают (как и словенский и русский языки) использование совершенного настоящего для выражения будущего, ср. [Zima 1887: 247]. МСЯ ведет себя в этой частной области общештокавским образом.

²⁰ В общеславянском отношении ограниченная длительность глагольного действия может быть выражена также лимитативно. Это касается проходящих состояний и деятельности, поскольку СВ здесь оперирует на пределах, представленных временным качеством этих глагольных значений. При этом образуются, например, в русском глагольные пары типа *работать/поработать*, которые в модели ИЛА причисляются к чистовидовым парам. Однако необходимо отметить, что в русском языке при передаче временного ограничения применяется также и НСВ, например, *он работал два часа*, особенно в том случае, если нет включения делимитативного действия в цепь действий в ситуационной сети. В МСЯ нет делимитативных (ограничительных) глаголов СВ с приставкой *po-*. Эта приставка служит здесь наряду с образованием видовых партнеров к предельным глаголам СВ (типа *sijat/posijat* 'сеять/посеять') также и для образования интенсивного способа действия к непредельным глаголам, например, *pomisit* 'крепко месить' к *misit* 'месить'. Отсутствие в МСЯ делимитативных глаголов СВ типа *поработать* может быть связано с ограничивающей функцией немаркированного перфекта НСВ.

фект *je bra* глагола *brat* ‘собирать’ в (12б) не может быть заменен несовершенным имперфектом *berahu*, не говоря уже о совершенном имперфекте *naberahu*:

- (12а) *Džuvan je rabija tut lu joorn* [**rabaša*] (перфект НСВ)
 ‘Giovanni работал целый день’.
 Ср. итал.: *Giovanni ha lavorato tutto il giorno*.
- (12б) *Učer sa bra masline dvi ure* [**berahu*, **naberahu*] (перфект НСВ)
 ‘Вчера я два часа собирал оливки’.

Только на первый взгляд несовершенный имперфект *rabahma* в (12в) является исключением из правила невозможности выражения временного ограничения имперфектом:

- (12в) *Rabahma tri dana la setiman(a)*. (имперфект НСВ)
 ‘Мы работали [обычно] три дня в неделю’.
 Ср. итал.: *Lavoravamo tre giorni la settimana*.

На самом деле, здесь представлен еще один случай иерархии видовых функций, где над темпоральным ограничением, которое исключает употребление маркированного нелимитатива, доминирует хабитуализация, которая, как известно, принадлежит к нелимитативным функциям имперфекта. Подобным образом и несовершенный имперфект *rabaša* в (12а) вместо совершенного *je rabija* обозначал бы, что *Giovanni* работал “обычно” целый день, а не только “один раз”.

Деривационная видовая оппозиция СВ : НСВ не играет в этой иерархии никакой роли: здесь в обоих случаях должен быть применен НСВ. Таким образом, речь идет исключительно о решении конфликта внутри флективной видовой категории, которое, впрочем, точно соответствует ситуации в итальянском. И в этом языке однократное темпоральное ограничение выражалось бы перфектом (или – в тех вариантах, где он существует – аористом), т.е. в примере (12а) перфектом *ha lavorato* (или аористом *lavorò*), а в случае хабитуального ограничения в (12в) – имперфектом *lavoravamo*.

Итак, обобщив результаты взаимодействия флективной и деривационной видовой оппозиции относительно степени маркированности их граммем. Ср. (13), где представлено решение конфликтов в этой области в виде импликаций:

- (13а) $M + H \supset M$ (имперфект НСВ, перфект СВ)
 (13б) $H + H \supset H$ (перфект НСВ)
 (13в) $M + M \supset M/M$ (имперфект СВ)

В случае комбинации маркированной и немаркированной граммем, т.е. несовершенного имперфекта и совершенного перфекта в (13а), доминируют функции маркированной граммеы, это значит, нелимитатив – в случае имперфекта, а лимитатив (и перфектная результативность) – в случае совершенного вида.

В комбинации обеих немаркированных граммем в (13б) выражаются функции, которые совместимы равным образом как с несовершенным видом, так и с перфектом, а именно общефактическая²¹ и темпорально-ограничительная функции. Проблема ком-

²¹ Роль совершенного вида в МСЯ при изолированных действиях еще не окончательно исследована. Первые анализы показали, что в противовес сделанному выше предположению, СВ может употребляться с перфектом в случае общефактического значения: *Si maj bra/nabra masline?* ‘Ты когда-нибудь собирал оливки?’ (НСВ/СВ). Имперфект здесь в любом случае исключен. По нашим данным, можно предположить, что общефактическая функция непосредственно связана с перфектом и что деривационный глагольный вид (НСВ : СВ) здесь служит только для различения акциональных лексических значений: неопределяемая деятельность > НСВ, предельное действие > СВ; см. [Вгел 2005: гл. 4.3.4 (в печати)]. При этом надо учитывать, что общефактическая функция в приведенном примере исторически соответствует первоначальной экспериенциальной функции перфекта, которая, возможно, в отличие от той части функций сегодняшнего перфекта, исторически соответствующих аористу, не подчиняется данным в схеме (9) отношениям маркированности.

бинации обеих маркированных граммем, совершенного вида и имперфекта в (13в), которые должны были бы быть, в принципе, несовместимы, решается с помощью иерархической структуры в виде повторяющейся цепи действий или синтаксического подчинения в гипотетических предложениях.

4. ПЕРФЕКТ И ВОПРОС О ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И СТАТИЧНЫХ ФУНКЦИЯХ

В приведенных выше комплексах примеров (7) и (8) процессы, как и первичные и вторичные (хабитуальные) состояния, выражались с помощью имперфекта НСВ, и в нижеследующем описании перфекту НСВ приписывались общефактическая функция и функция временного ограничения. Уже отсюда следует, что в МСЯ (в отличие от большинства других славянских языков, например, русского) несовершенный перфект (= прошедшее НСВ на *-l*) никогда не используется для выражения нелимитативности. Комбинация обеих немаркированных граммем, НСВ и перфекта, исключает, очевидно, полностью выражение типичных частных функций маркированного имперфекта, а именно выражение действий в их протекании и первичных или вторичных состояний. Так, например, также и в случае инциденции (14) замена процессуального имперфекта НСВ *sa vračaša* перфектом СВ *je sa vračal* не допустима:

(14) *Mendr ka sa vračaš^a, su ngopal vuca.* (имперф. НСВ + имперф. НСВ)

‘В то время, когда он возвращался домой, появились волки’.

Из этого следует, что развитие обычного несовершенного претеритума из несовершенного перфекта в МСЯ (в отличие от большинства других славянских языков, например, русского и сербохорватского) невозможно. Обязательное употребление имперфекта в данных случаях может быть понято как четкое указание на доминирование флективной видовой категории, поддерживаемой романскими контактными языковыми системами, над деривационной, если не рассматривать это вообще как опирающееся на языковой контакт сохранение старейших славянских видовых отношений²². Такое доминирование встречается также и в других случаях. Особенно четко оно проявляется в случае так называемых “инцептивно-статических” глаголов.

5. ИНЦЕПТИВНО-СТАТИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ЛЕКСЕМЫ

В состав лексического значения инцептивно-статических лексем наряду с собственным значением состояния входит также и выражение начального предела этого состояния. Поэтому в теории ИЛА они принадлежат к комплексным лексическим классам. Сравним, например, в русском видовую пару *понять/понимать*. Значение этой лексемы наряду с умственным состоянием ‘понимать’ включает в себя также и наступление этого состояния (момент, с которого начинается понимание). В русском языке этот начальный предел фокусирует с помощью своей функции лимитативности СВ. В МСЯ, напротив, значение начала вызывает исключительно перфект со своей лимитативной функцией, в то время как вид деривационного типа не играет здесь никакой роли: употребляются почти исключительно глаголы НСВ, которые выражают и само состояние.

Точно так же, как, например, в итальянском, перфект *ho saputo* от глагола *sapere* ‘знать’ переводится в ситуационной сети как ‘я узнал’, а не как ‘я знал’, так и молиско-славянский перфект *ja sa znaja* от несовершенного глагола *znat* обозначает именно ‘я узнал’, т.е. начало умственного состояния ‘знать’. Для выражения самого состояния

²² Такое ограничение употребления перфекта уже для древнейшего русского языка больше не являлось действительным, так как здесь в процессуальной и статической функциях выступал уже главным образом именно перфект НСВ, в то время как имперфект находился в стадии исчезновения. В церковнославянском языке, напротив, перфект еще не обладал этими функциями; см. [Trost 1972: 85–101].

‘знать’ в МСЯ применяется только имперфект *znadahu*, аналогично итальянскому *sapevo*. То же является действительным и для значений глагола ‘иметь’, где перфектом НСВ, как, напр., *su jimal* в (15а), выражается опять-таки инцептивное значение “начать иметь”, т.е. ‘получить’, в то время как значение (неограниченного во времени) состояния выражается исключительно имперфектом *jimahu*, см. (15б):

(15а) *Su jimal nu krijaturu*. ‘У них родился ребенок’, дословно “они получили ребенка”.

(15б) *Jimahu nu krijaturu*. ‘У них был ребенок’, дословно “имели”.

Согласно вышеописанным нормам, в случае временного ограничения употребляется перфект НСВ. Это действительно и для инцептивно-статических глаголов, т.е. перфект *su jimal* обладает также этим значением:

(15в) *Su jimal nu maginu pet gošti*. ‘У них пять лет была машина’.

Как следует, впрочем, из употребления формы *si jima* в выше приведенном примере (10), перфект НСВ выражает и у инцептивно-статических глаголов общефактическую функцию.

Инцептивное использование глаголов состояния известно, в принципе, также из истории общеславянского аориста. Однако экстензия рассмотренных глаголов, совпадающая полностью с итальянским языком, является ясным доказательством чужого языкового влияния.

6. ИНТЕГРАЦИЯ ЗАИМСТВОВАННЫХ ГЛАГОЛОВ И ВИД ДЕРИВАЦИОННОГО ТИПА

Несмотря на сильное доминирование флексивной видовой оппозиции вследствие языкового контакта, которое в рассмотренных случаях ярче всего проявлялось в исключении процессуальной функции НСВ в перфекте, необходимо еще раз отметить, что деривационная видовая категория, которая в романских языках не находит никакого соответствия, в МСЯ отнюдь не исчезла.

Нарушения деривационной системы встречаются очень редко. Примером такого нарушения является утрата совершенного **napisat*²³ к несовершенному и теперь двувидовому глаголу *pisat*. В таких случаях функция лимитатива выражается только флексивной оппозицией. Также и постепенное исчезновение имперфекта СВ, который и у пожилых носителей МСЯ в Аквививе употребляется только факультативно, а у молодого поколения почти всегда заменяется имперфектом НСВ, является случаем ослабления (в этом случае нейтрализованной) деривационной видовой оппозиции²⁴. В сербохорватском языке и его вариантах и говорах имперфект СВ исчез уже давно, но причину надо искать здесь скорее в обратной тенденции к общему ослаблению флексивной видовой оппозиции.

Ярче всего живость деривационной видовой оппозиции проявляется в ее продуктивности при интеграции заимствованных слов. Здесь МСЯ даже “положительно” отличается от русского, который в интеграции заимствованных глаголов с суффиксом *-овать* допускает, как правило, двувидовые образования типа *организовать*, которые – несмотря на возможность вторичной префиксации или суффиксации типа *сорганизовать*, *организовывать* – могли бы действовать на видовую систему разрушающе. То же является действительным и для двувидовой интеграции с *-ovati*, *-irati*, *-isati* в сербохорватском языке; ср. [Grotzky 1978: 153].

Как представлено в (16), акциональные лексические классы играют при интеграции заимствованных слов решающую роль, а именно в том, что предельные глаголы почти

²³ Глагол *napisat*, правда, существует в МСЯ, но только в качестве способа глагольного действия ‘слишком много написать’.

²⁴ Частое употребление имперфекта СВ является, напротив, одной из консервативных черт говора Montemitro у всех поколений.

исключительно интегрируются как совершенные, а непредельные – как несовершенные глаголы. В то время как интегрированные глаголы НСВ подчиняются только флективной видовой категории, к интегрированным глаголам совершенного вида всегда образуется партнер НСВ с помощью суффикса *-iva-*:

- (16) **непредельный:** *итал. глагол* → НСВ (*imperfectivum tantum*)
предельный: *итал. глагол* → СВ (⇒ вторичный партнер НСВ)

В пункте (17) приводятся примеры заимствованных непредельных глаголов, интегрированные как несоотносительные глаголы НСВ:

- (17) *pesare* ‘весить’ → *pizat* (НСВ)
bastare ‘быть достаточным’ → *baštat* (НСВ)
chiacchierare ‘разговаривать, болтать’ → *kjikjarijat* (НСВ)
capire ‘понимать’ → *kapit* (НСВ)²⁵

Во избежание омонимии, суффикс *-iva-* употребляется иногда в качестве прямого интеграционного суффикса. В этих случаях бессуффиксный симплекс не существует вообще, ср., например, *badivat* ‘заботиться’ в (18а). Можно предположить, что такая интеграция является попыткой избежания формального совпадения непосредственно (без суффикса) интегрированного глагола НСВ **badat* с родной славянской лексемой *badat/badnit* ‘дотрагиваться/дотронуться’:

- (18а) *badare* ‘заботиться, присматривать’ → *badivat* (НСВ)

Похожий случай, где конфликт омонимов возникает, однако, в самом процессе заимствования, представлен в (18б). Непосредственная интеграция непредельного *nuotare* ‘плавать’ вызвала бы здесь омонимию с предельным заимствованным глаголом *notat* ‘замечать’:

- (18б) *nuotare* ‘плавать’ → *notivat₁* (НСВ)²⁶
notare ‘замечать’ → *notat* (СВ)

Несмотря на такие яркие примеры избежания омонимии, необходимо еще проверить, не является ли действительной причиной добавления суффикса общая тенденция к связыванию несовершенного вида или непредельности в заимствованных словах с суффиксом. Такой взгляд подтверждал бы тот факт, что у некоторых глаголов существуют дублиеты, появление которых не вызвано, по-видимому, омонимией, как, например, дублиеты НСВ *sa nderesat* ≈ *sa nderesivat* ‘интересоваться’ в (18в):

- (18в) *interessarsi* ‘интересоваться’ → *sa nderesat* ≈ *sa nderesivat* (НСВ)

В (19) приведены примеры предельных глаголов, которые, как было уже сказано, интегрируются непосредственно совершенным видом²⁷, и только затем к ним внутриязычно образуется партнер несовершенного вида:

²⁵ Глагол *kapit* является инцептивно-статическим. Поэтому в перфекте этого глагола появляется описанное выше грамматическо-лексическое интеракционное значение “начала умственного состояния”, т.е. *sa kapija* (перф. НСВ) = *понял* (СВ).

²⁶ В противоположность итальянскому *nuotare* ‘плыть, плавать’, в МСЯ *notivat* нельзя употребить с указанием направления (и тем самым с целью действия), а только для выражения чистого действия ‘плавать’. Чтобы выразить, например, такой концепт, как ‘Я хочу поплыть к берегу моря’, надо сказать *Ja hočam notivat za po di riva do mor*, дословно ‘Я хочу плавать, чтобы пойти там, где берег моря’; ср. [Breu 1993: 36].

²⁷ В том, что речь здесь действительно идет о СВ в смысле славянской видовой оппозиции целостности, можно убедиться из ее “неспособности к выражению актуального настоящего”: *Što činiš?* – **Partim*. ‘Что ты (как раз) делаешь?’ – Я уезжаю’ (возможен только несов. *parčivam*). То же является действительным и для отсутствия значения процесса в имперфекте первичных заимствований, здесь совершенного *partahu*, в отличие от вторичного несовершенного *parčivahu*.

- | | |
|--|--|
| (19a) <i>partire</i> ‘уехать/уезжать’ | → <i>partit</i> (CB) ⇒ <i>parčivat</i> (HCB) |
| <i>appoggiarsi</i> ‘прислониться/прислоняться’ | → <i>sa pujať</i> (CB) ⇒ <i>sa pujiť</i> (HCB) ²⁸ |
| <i>cominciare</i> ‘начать/начинать’ | → <i>kumendzat</i> (CB) ⇒ <i>kumendzivat</i> (HCB) |

В (19б) снова представлен обсуждаемый выше глагол *notat* ‘заметить’ со своим партнером несовершенного вида, который омонимичен неопределенному глаголу *notivat* ‘плавать’ в (18б):

- | | | |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| (19б) <i>notare</i> ‘заметить/замечать’ | → <i>notat</i> (CB) | ⇒ <i>notivat</i> ₂ (HCB) |
|---|---------------------|-------------------------------------|

Предельные семельфактивные (однократные) итальянские глаголы в (19в), которые, как правило, имеют также непрерывно-кратное значение, интегрируются в МСЯ, как и другие предельные глаголы, совершенным видом, а непрерывно-кратное значение при этом выражается производным несовершенным видом:

- | | | |
|--|------------------------|---------------------------|
| (19в) <i>baciare</i> ‘поцеловать/целовать’ | → <i>bažit</i> (CB) | ⇒ <i>baživat</i> (HCB) |
| <i>sospirare</i> ‘вздыхнуть/вздыхать’ | → <i>suspirat</i> (CB) | ⇒ <i>suspirivat</i> (HCB) |

Интересны случаи, когда заимствованные глаголы в языке-источнике имеют как предельный, так и неопределенный варианты, см. примеры в (20). Представленные здесь глаголы являются в непереходном значении неопределенными и относятся в этой частной области к несоотносительным глаголам HCB, в то время как в переходном своем варианте они предельны и парны. Первоначальная интеграция может и в переходном значении привести к несовершенному глаголу, но чаще в этом случае имеется глагол CB. Видовой партнер образуется в первом случае префиксацией, а во втором — обычной суффиксацией. Согласно принципу “категориальной омонимии” в теории ИЛА, в таких случаях двусмысленных по предельности глаголов можно выделить две отдельные лексемы, например, в (20а) несоотносительная по виду, непереходная и неопределенная *jokat*₁ ‘играть/поиграть’ и парная *jokat*₂/*zajokat* ‘играть/сыграть’ (на что-либо):

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|---|
| (20а) <i>giocare</i> ‘играть’ | непер. неопред. | → <i>jokat</i> ₁ (HCB, <i>imperfectivum tantum</i>) |
| | пер. предельн. | → <i>jokat</i> ₂ (HCB) ⇒ <i>zajokat</i> (CB) |

Также и в (20б) из диалектального глагола-источника *rannà* образуются две лексемы: несоотносительная по виду, неопределенная деятельность *ranat*₁ ‘полоть/пополоть’ (в винограднике) и парная *ranat*₂/*ranivat* ‘полоть/прополоть’ (виноградник)²⁹:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---|
| (20б) <i>rannà</i> ‘полоть’ | непер. неопред. | → <i>ranat</i> ₁ (HCB, <i>imperfectivum tantum</i>) |
| | пер. предельн. | → <i>ranat</i> ₂ (CB) ⇒ <i>ranivat</i> (HCB) |

²⁸ Как видно из основы заимствованного глагола в этом и в некоторых следующих примерах, языком-источником может служить не только итальянский литературный язык, но и молдско-итальянский диалект. За исключением примеров (20б) и (21), где нет подобных глаголов в итальянском языке, во всех остальных случаях для наглядности приводится итальянский глагол как фиктивная форма-источник.

²⁹ Это различие не является абсолютным, так как образования с *-iva-* проникают также и в неопределенную область. Таким образом, несмотря на то, что в неопределенном значении в наличии имеется делимитативный перфект HCB типа *sa rana dvi ure a pa sa sa vrnija doma* ‘я пополнил два часа, а потом я вернулся домой’, большинство носителей языка предпочитает в этом случае *sa raniva dvi ure*. Это также могло быть связанным с выше названной тенденцией к выражению несовершенного вида с помощью суффикса *-iva-*.

Категориальная омонимия является действительной и в (20в), где предельный вариант глагола *gvidat* ‘управлять’ образуется за счет введения валентности направления, например, *gvidat/gvidavat₂ utra balun* ‘вести/вводить (машину в кювет)’³⁰:

(20в) *guidare* ‘управлять’ непер. неперд. → *gvidat₁* (НСВ, *imperfectivum tantum*)
пер. предельн. → *gvidat₂* (СВ) ⇒ *gvidat₂* (НСВ)

Двувидовость предельных глаголов составляет также и при интеграции заимствованных слов исключение. Один из таких случаев – глагол *lejit* ‘читать/прочитать’, который ведет себя так же, как и ставший двувидовым родной глагол *pisat*; ср. *je pisa list* ‘он писал/написал письмо’, *je lejij^a list* ‘он читал/прочитал письмо’.

Необходимо также добавить, что некоторые славянские и романские приставки и предлоги считаются автоматическими соответствиями в диаграмматической системе молиско-славянских двуязычных индивидов. Так, итальянские *a* и *per* соответствуют славянскому *za*, что проявляется в синтаксисе, а также играет определенную роль для категории вида, например, в молиско-славянской кальке итальянской ‘имминентной’ конструкции типа *sto per partire* ‘езжаю, готовлюсь к отъезду’, по-молиско-славянски *stojim za partit*. В примере (21) автоматическое соответствие *a* : *za* обусловило частичное калькирование молиско-славянского диалектного *abburretà* ‘заворачивать/завернуть’ в гибридную форму *zabritat*, в которой славянский префикс присоединяется к романскому корню. Вторичный несовершенный партнер *zabritivat* образуется обычным образом с помощью суффикса *-iva-*:

(21) *abburretà* ‘заворачивать/завернуть’ → *zabritat* (СВ) ⇒ *zabritivat* (НСВ)

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Задачей настоящей статьи являлся краткий обзор взаимодействия деривационной и флективной видовых категорий в МСЯ. В результате обзора выявилось, с одной стороны, ясное доминирование опирающейся на языковой контакт флективной категории вида с граммемами имперфекта и перфекта над исконной славянской оппозицией с граммемами СВ и НСВ. С другой стороны, однако, проявилась поразительная продуктивность деривационной видовой оппозиции как в исконном словарном составе, так и у заимствованных слов. Важную роль в этой продуктивности играет образование несовершенного вида с суффиксом *-iva-*, однако образование партнера совершенного вида с помощью приставок также сохранилось и является в известной мере еще продуктивным.

В заключение нужно еще раз отметить, что несовершенный перфект (претеритум на *-l*) в МСЯ (в отличие от других славянских языков) не способен выражать ни актуальный процесс, ни неограниченное во времени состояние; в этих случаях обязательно использование имперфекта.

³⁰ В других случаях вырисовывается только тенденция к формальной дифференциации предельного и непредельного вариантов, особенно, если степень предельности говорящему неясна. В этом случае образуются варианты, которые показывают, что интеграция еще полностью не завершена. Например, в вышеназванных *sa nderesat* ≈ *a nderesivat* (*do njive*) ‘интересоваться (полем)’ устанавливается тенденция к использованию бессуффиксного образования, если интерес вытекает в успешное приобретение, что приравнивается к предельному варианту. Это могло бы явиться началом диссоциации на непредельный несоотнositельный *sa nderesivat₁* и парный *sa nderesat/nderesivat₂*. В названных здесь случаях категориальной омонимии с зависящим от степени предельности типом парообразования не учитывались вопросы ‘систематической омонимии’ предельного и непредельного вариантов. О рассуждениях на релевантную здесь тему образования не-предельного интеракционного значения из предельного основного значения лексемы и процессуальной функции статусового вида на примере верхнелужицкого разговорного языка см. [Брой 2005].

С другой стороны, надо добавить, что и настоящее время совершенного вида в МСЯ никогда не выражает актуального процесса в отличие, например, от лужицкого, по меньшей мере, от верхнелужицкого разговорного языка, где это совершенно нормально, ср. *ja rune te blido wotrějem* ‘я как раз вытираю стол’ дословно ‘я как раз вытру стол’. Вопрос в том, что привело к столь значительным отличиям в употреблении видовых категорий в языках обоих славянских меньшинств, которые оба находятся в ситуации тесного языкового контакта с неславянскими языками, является предметом для дальнейших исследований³¹. В исследования должны войти, например, глагольный вид в языке хорватского меньшинства в австрийском Бургенланде или словенского меньшинства в австрийской Каринтии. Особенно интересна структура словенско-резьянского языка в северной Италии, который точно так же, как МСЯ, находится в абсолютном контакте с романскими языковыми системами и располагает по крайней мере еще остатками имперфекта, но в отличие от МСЯ развился “нормально-славянски” относительно выражения процессуальности с помощью несовершенного вида.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко 1995 – А.В. Бондарко. Семантика глагольного вида в русском языке. Frankfurt-am-Main, 1995.
- Брой 1997 – В. Брой. Семантика глагольного вида как отвлечение от предельных свойств лексем (иерархическая модель компонентов)// С. Кароляк (отв. ред.). Семантика и структура славянского вида. II. Kraków, 1997.
- Брой 1998 – В. Брой. Сопоставление славянского глагольного вида и вида романского типа (аорист : имперфект : перфект) на основе взаимодействия с лексикой// М.Ю. Черткова (отв. ред.). Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998.
- Брой 2005 – В. Брой. Фокусный и статусный вид в верхнелужицком разговорном языке// Slavolinguistica. 3. (в печати).
- Дуличенко 2003 – А.Д. Дуличенко. Славянские литературные микроязыки. I. Образцы текстов. Тарту, 2003.
- Успенский 1987 – Б.А. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Мюнхен, 1987.
- Barić et al. 1997 – E. Barić et al. Hrvatska gramatika. II. Zagreb, 1997.
- Benacchio 1998 – R. Benacchio. Il dialetto resiano tra slavo e romanzo: particolarità morfosintattiche// Contributi italiani al XII Congresso Internazionale degli Slavisti. Napoli, 1998.
- Breu 1984 – W. Breu. Zur Rolle der Lexik in der Aspektologie// Die Welt der Slaven XXIX, N.F. VIII. 1984.
- Breu 1988 – W. Breu. Resultativität, Perfekt und die Gliederung der Aspektdimension// J. Raecke (Hrsg.). Slavistische Linguistik 1987. Referate des XIII. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München, 1988.
- Breu 1990 – W. Breu. Sprache und Sprachverhalten in den slavischen Dörfern des Molise (Süditalien)// W. Breu (Hrsg.). Slavistische Linguistik 1989. Referate des XV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München, 1990.
- Breu 1993 – W. Breu. Verben der Fortbewegung im Italokroatischen in vergleichender Sicht (Morphologie, Funktionen, Entlehnungen, Rektion) // S. Kempgen (Hrsg.). Slavistische Linguistik 1992. München, 1993.
- Breu 1998 – W. Breu. Romanisches Adstrat im Moliseslavischen // Die Welt der Slaven XLIII. 1998.
- Breu 1999a – W. Breu. Der Konditional im Moliseslavischen. Ein Beitrag zur Kontaktlinguistik // K. Grünberg, W. Pothoff (Hrsg.). Ars Philologica, Festschrift für Baldur Panzer zum 65. Geburtstag. Frankfurt-am-Main, 1999.
- Breu 1999b – W. Breu. Phonologie und Verbkonjugation im Moliseslavischen // R. Rathmayr, W. Weitlaner (Hrsg.). Slavistische Linguistik 1998. Referate des XXIV. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München, 1999.

³¹ О первом сравнении категорий вида молизско-славянского и верхнелужицкого разговорного языков см. [Breu 2005].

- Breu 2000 – *W. Breu*. Zur Position des Slavischen in einer Typologie des Verbalaspekts (Form, Funktion, Ebenenhierarchie und lexikalische Interaktion) // *W. Breu* (Hrsg.). Probleme der Interaktion von Lexik und Aspekt. Tübingen, 2000.
- Breu 2003 – *W. Breu*. Flexivischer und derivativer Verbalaspekt im Moliseslavischen // *T. Berger, K. Gutschmidt* (Hrsg.). Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen (= Slavolinguistica 5). München, 2003.
- Breu 2005 – *W. Breu*. Verbalaspekt und Sprachkontakt. Ein Vergleich der Systeme zweier slavischer Minderheitensprachen (SWR/MSL) // *S. Kempgen* (Hrsg.). Slavistische Linguistik 2003. Referate des XXIX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens. München, 2005.
- Breu, Piccoli 2000 – *W. Breu, G. Piccoli*. Dizionario croato molisano di Acquaviva Collecroce. Campobasso, 2000.
- Grotzky 1978 – *J. Grotzky*. Morphologische Adaption deutscher Lehnwörter im Serbokroatischen. München, 1978.
- Ivić 1958 – *P. Ivić*. Die serbokroatischen Dialekte. V. I. The Hague, 1958.
- Klimonov 2001 – *W.D. Klimonov*. Natürlicher grammatischer Wandel im System aspektueller Oppositionen des Russischen // *O. Teubner, N. Fuhrhop* (Hrsg.). ZAS Papers in Linguistics 21. 2001.
- Mihajlovic 1962 – *M. Mihajlovic*. Tempus und Aspekt im serbokroatischen Präsens. München, 1962.
- Piccoli, Sammartino 2000 – *A. Piccoli, A. Sammartino*. Dizionario Croato-Molisano di Montemitro. Montemitro; Zagreb, 2000.
- Raguž 1997 – *D. Raguž*. Praktična hrvatska gramatika. Zagreb, 1997.
- Ramovš 1947–1949 – *F. Ramovš*. Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana, 1947–1949.
- Rešetar 1911 – *M. Rešetar*. Die serbokroatischen Kolonien Südtaliens. Wien, 1911.
- Steenwijk 1992 – *H. Steenwijk*. The Slovene dialect of Resia, San Giorgio. Amsterdam, 1992.
- Trost 1972 – *K. Trost*. Perfekt und Konditional im Altkirchenslavischen. Wiesbaden, 1972.
- Zima 1887 – *L. Zima*. Sintaktične razlike između čakavštine, kajkavštine i štokavštine. Zagreb, 1887.

© 2006 г. Н. Ш. АЛЕКСАНДРОВА

РОДНОЙ ЯЗЫК, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ЯЗЫКОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ, У КОТОРЫХ НЕТ НАЗВАНИЯ

Имплицитный и эксплицитный языковые процессы обеспечивают коммуникацию посредством языка. Различия стратегий обработки информации и возрастной чувствительности позволяют осваивать новые языки и совершенствовать их знание в разных условиях и в разном возрасте. Многообразие языковых феноменов, описанных в статье, обусловлено доминированием либо натурального (прямого) либо логического способа освоения нового языка в различные периоды жизни человека. Способность родного языка не только развиваться, но и обедняться в условиях новой языковой среды дает основание рассматривать человеческий язык как динамичную систему, способную к самореорганизации и стремящуюся к экономному функционированию.

Понятия “родной язык” и “иностранннй язык” ассоциируются, прежде всего, с понятиями “родина” и “иные, чужие страны” и идеально подходят для одноязычной среды, в которой большинство населения имеет один родной язык, а второй, третий и т.д. языки изучаются в школе, на курсах и т.п. Языковые процессы, происходящие в многоязычной среде, заставляют по-новому взглянуть на устоявшиеся понятия родного и иностранного языка. Это отмечено, к примеру, Д.О. Добровольским [Добровольский 2002] в рецензии на книгу К. Meng “Russlanddeutsche Sprachbiografien”. На основании анализа литературы и собственных наблюдений процесса освоения нового языка лицами разного возраста в условиях той или иной языковой среды вниманию читателей предлагаются размышления о способах освоения второго языка в свете стратегий обработки информации полушариями мозга, а также описание языковых феноменов, которые невозможно определить как родной или как иностранннй язык.

Понятия “родной язык” и “иностранннй язык” несут в себе определенные противопоставления способов приобретения языка, возраста, в котором оно происходит, а также качества приобретенных языков. Так, родной язык – это первый язык человека, который осваивается в процессе контактов с носителями языка в раннем возрасте, а иностранные языки приобретаются при помощи формальных инструкций в процессе обучения. Обучение иностранным языкам возможно начиная со школьного возраста. Кроме того, понятие родной язык является, в известном смысле, синонимом качества языка. Иностранннй язык по своему качеству может стремиться, приближаться к уровню родного, но достигнуть его не может [Klein 2000; Jacobs 1988; Paradis 2004]. Освоение родного языка является естественным состоянием развивающегося индивида, т. е. этот процесс развивается как самостоятельное поведение [Lenneberg 1972; Алхазисвили 2004]. Важная особенность освоения родного языка – путь от понимания целостных высказываний к пониманию отдельных единиц языка. Так, Л.С. Выготский [Выготский 1996: 306–307] писал, что ребенок начинает с целого в развитии семантической стороны речи и лишь позже переходит к овладению частными смысловыми единицами, отдельными словесными значениями. В.А. Ковшиков отмечает: “Язык не разрозненный набор единиц..., он – система взаимодействующих процессов, позволяющих ему выступать как целостной системе. Усвоение языка есть усвоение целостной системы...” [Ковшиков 1994: 74]. По своей сущности родной и иностранннй языки – принципиально различные явления, возникшие в результате принципиально различных процессов. “Ни одна почти из фактических закономерностей, изученных в развитии родного языка, не по-

вторяется в сколько-нибудь сходном виде при усвоении языка иностранного” [Выготский 1996]. О различии двух механизмов освоения языка см. [Felix 1982; Burgschmidt, Götz 1974: 115; Solmecke 1973: 62; Балонов и др. 1999; Klein 2000; Paradis 2004]. Освоение родного языка опирается на имплицитную языковую способность человека (врожденную, внутренне присущую человеку, неанализируемую способность) и процедуральную память. Иностранные языки, как и прочие полученные в процессе обучения знания, приобретаются благодаря эксплицитной языковой способности, которая проявляется как сознательная декларативная память [Paradis 2004]. Некоторые авторы предпочитают называть память, присущую имплицитному и эксплицитному языковым процессам, соответственно имплицитной и эксплицитной [Altenberg, Vago 2004].

Имплицитная языковая способность “слабеет” с возрастом. Ребенок должен быть погружен в языковую среду (имеется в виду первый язык) не позднее 5–7 лет, иначе полноценного языкового развития не будет [Черниговская 2003; Paradis 2004].

СПОСОБЫ ОСВОЕНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА

Освоение второго, третьего и т.д. языков в жизни человека возможно не только в процессе обучения (результат обучения – иностранный язык), но и при погружении в новую языковую среду, т.е. посредством контактов с носителями нового языка (например, в условиях миграции). Так могут осваиваться новые языки на протяжении всей жизни человека, т.е. живая языковая среда может быть источником не только первого родного языка, но и последующих языков, см. [Щерба 1974]. В этом случае мы говорим о натуральном, или прямом, способе освоения второго языка. Процесс приобретения нового языка данным способом во многом происходит непроизвольно во время общения (как у детей, так и у взрослых). Постижение нового языка начинается с понимания общего смысла высказываний в конкретных ситуациях и, по мере освоения языка, идет к пониманию значений отдельных слов, т.е. понимание языка проходит путь **от общего к частному**. Формирование импрессивной стороны языка опережает навыки говорения. Слово первоначально осваивается в одном конкретном значении в определенном контексте. В возрасте приблизительно до полового созревания натуральный способ может привести к приобретению второго (третьего и т.д.) языка, который не отличается от родного; см. [Lenneberg 1972: 177; Felix 1982: 240; Jacobs 1988]. Человек, освоивший язык, будет опознаваться и ощущать себя как носитель этого языка. Сравним с логическим, или аналитическим, способом освоения второго языка. Он возможен с 6–7 лет, т.е. совпадает по времени с началом школьного обучения и предполагает произвольность при изучении материала. Постижение языка идет **от частного к общему**, т.е. вначале изучаются отдельные слова и короткие фразы (выражения) и, опираясь на их значение, происходит понимание устного или письменного текста. Импрессивная сторона языка часто значительно отстает от навыков говорения. Слово, в отличие от натурального пути, может изучаться как многозначное. Данный путь в любом возрасте приводит к приобретению иностранного языка, который, даже освоенный на очень высоком уровне, качественно отличается от родного.

Нужно заметить, языковая среда является единственным источником для постижения нового языка только в дошкольный период, с момента овладения грамотой в этом процессе участвует и логический путь – ребенок, а тем более подросток или взрослый, даже если он не посещает специальные языковые курсы, как это имеет место в случае иностранных рабочих, начинает опираться на чтение, время от времени пользуется словарем и т. п. Освоение языка логическим способом (в школе, на курсах и т.д.) в современном мире также часто сочетается с кратковременным погружением в языковую среду: посещения страны изучаемого языка, просмотр фильмов и т.п. Вероятно, в настоящее время можно говорить лишь о доминировании того или иного способа в процессе приобретения нового языка. Но оба способа могут функционировать и изолированно. Натуральный путь, несомненно, является первичным, древним в человеческом обществе. Так, если общество состоит из бесписьменных разноязычных племен, то единствен-

ный способ освоения новых языков – прямые контакты с носителями. Логический путь возможен лишь в грамотном обществе, он позволяет “оторвать” изучение нового языка от прямых контактов с носителями этого языка.

Освоение языка в живой среде (натуральный способ) отличается от чисто логического пути наличием ситуаций, при которых необходимо быстро понять высказывание на незнакомом или малознакомом языке и адекватно отреагировать. В эти моменты происходит извлечение общего смысла высказывания из потока незнакомой речи и соединение его с конкретным предметом, действием, состоянием. Огромное значение при этом имеет понимание темы беседы, мимика, интонации, жесты собеседника. Иными словами, натуральный способ освоения языка для школьников и взрослых в современном мире это логический способ плюс описанные выше ситуации – контакты с носителями нового незнакомом языка. Так, например, дети школьного возраста в условиях миграции начинают учить новый язык на уроках, а также контактируют как со сверстниками, так и со взрослыми носителями нового языка.

Управление процессом приобретения второго языка может иметь место, на наш взгляд, как при логическом, так и при натуральном пути: например, широко применяемые во многих странах программы погружения для изучения иностранного языка в детских садах, это, по существу, организованный и управляемый педагогами процесс освоения второго языка натуральным способом.

СПОСОБЫ ОСВОЕНИЯ ЯЗЫКА И СТРАТЕГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУШАРИЯМИ МОЗГА

Два принципиально различных способа освоения языка, на наш взгляд, опираются на разные стратегии обработки информации, которые присущи правому и левому полушариям мозга. При этом роль каждого полушария в переработке тех или иных стимулов определяется не столько характером стимульного материала, сколько характером той задачи, которая решается субъектом [Вассерман и др. 1997: 29] или зависит от коммуникативных целей [Wray 1992; 2000]. Задача понять высказывание собеседника и адекватно отреагировать активизирует правополушарный способ обработки информации, которому присущи целостность, simultaneity восприятия. Предположение о преимуществе правого полушария при приобретении языка в ситуациях общения и левого – при формальном изучении содержится в работе С. Ромейн [Romaine 1989: 82]. Многие исследователи приходят к заключению о ведущей роли правого полушария на ранних этапах становления языка [Zaidel 1978; Obler 1981; Galloway, Krashen 1980; Bates et al. 1997; Bates 1999; Friederici, Hahne 2000; Chiron et al. 1997]. Э. Байтс [Bates 1999] говорит о значении правого полушария при первичном знакомстве со словом у детей и взрослых: “В первый раз, когда мы раскодируем слово и относим его к определенной категории, мы делаем это, интегрируя фонетический вход с информацией из многих разных источников, включая зрительный, тактильный и слуховой контекст. Мы ожидаем, что правое полушарие играет более важную роль, когда дети учатся узнавать слова в первое время, преимущество правого полушария исчезает, когда слова полностью освоены и совмещение знакомых звуковых сигналов с семантическими образцами протекает быстро и автоматически”, и далее: “можно ожидать большее участие правого полушария на ранних стадиях изучения второго языка у взрослых”.

На наш взгляд, как уже говорилось, активизация правополушарной стратегии обработки информации наблюдается при освоении детьми и взрослыми нового языка именно натуральным способом, а точнее, в тех ситуациях, где необходимо понять высказывания на незнакомом языке. Логический способ освоения нового языка активизирует левополушарный анализ и синтез, т.е. последовательность, дискретность при переработке информации (как у детей, так и у взрослых).

Еще в XIX в. Дж.Х. Джексон на основе наблюдений больных с афазией делает вывод о способности правого полушария понимать речь: “Левое полушарие обеспечивает нам возможность самостоятельной активной речи, а правое – автоматизированное получе-

ние речевых сообщений” [Джексон 1996: 17]. Э. Зайдель [Zaidel 1978] на основании исследований больных с комиссуротомией¹ приходит к заключению, что восприятие языка, в отличие от говорения, представлено билатерально, причем способность правого полушария к пониманию речи проявляется только в случаях поражения “речевой зоны”. Сравним с освоением нового языка натуральным способом: левое полушарие в незнакомой языковой среде не выполняет присущую ему рецептивную функцию, т.е. “не работает”, и в этой ситуации проявляются скрытые способности правого полушария к пониманию языка. Э. Зайдель говорит о неясной адаптивной значимости уникальной языковой организации при нормальном функционировании. Можно предположить, что данная языковая организация позволяет осваивать (совершенствовать) новые языки на протяжении жизни человека натуральным способом, т.е. без формальных инструкций, что имеет огромное значение в осуществлении языковой коммуникации. Об участии правого полушария в понимании языка см. также [Boller, Grafmann 1988–1992; Schmidt et al. 2000].

ЯЗЫКОВЫЕ ФЕНОМЕНЫ, КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КАК РОДНОЙ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Замена языка, язык-заменитель, обеднение языка и “обедненный” язык

При перемене языкового окружения (например, в условиях миграции) у детей дошкольного возраста достаточно часто наблюдается полная замена языка. Чем младше ребенок, тем скорее он может забыть свой первый язык. Ребенок начинает все больше и больше говорить на новом языке, и взрослые не сразу замечают, что первый язык обедняется и может полностью исчезнуть. Д. Порше приводит описание процесса замены языка у ребенка, сделанное Гумбольтом во время длительного пребывания с дочерью в Италии:

В начале мая Гумбольт сообщает (в письмах к жене): “Адель очень веселая, для себя она все время говорит по-итальянски, только со мной по-немецки, но тоже часто начинает говорить по-итальянски. И если с ней не разговаривать с римским акцентом, как у нее, она сразу же говорит: *Ma dite bene, dite cosi!*” Только позже он (Гумбольт) становится печальным, когда проявляется нежелательная форма одноязычия: «Адель здоровая..., но мне жаль, что немецкие звуки умирают на ее губах. Как ни говори с ней по-немецки, она все понимает, но отвечает по-итальянски. Одно единственное немецкое “да” я недавно из нее выдал» [Porsche 1983: 69 и сл.].

Собственные наблюдения:

Александр приехал в Германию в возрасте 9 лет из России, где отлично учился в школе. Школьная успеваемость всегда была значима для мальчика. Александр жил в новой семье матери (муж матери – немец), для ускорения освоения им нового языка было решено дома говорить только по-немецки. Через несколько месяцев мальчик не только бегло говорил по-немецки, но и хорошо справлялся с письменными работами. В то же время выяснилось, что он не может писать и читать по-русски (не смог прочесть письмо от бабушки из России), а также говорить. Понимание русского языка более сохранно, но значение многих распространенных слов утрачено. Затруднено повторение русских слов со сложной звукословесной структурой.

Замена языка у детей выступает как наиболее яркое проявление тенденции к одноязычию в многоязычной среде [Jampert 2001; Александрова 2003; 2004]. При замене языка происходит следующее:

¹ Комиссуротомия – хирургическое рассечение путей, соединяющих два полушария мозга. Применяется при лечении эпилепсии.

1. Ребенок в процессе замены языка не остается без способности к коммуникации, т.е. не замолкает.
2. Вначале теряются навыки чтения и письма (если таковые были, т.е. когда замена языка происходит в школьном возрасте), затем разговорная речь, наиболее прочным является понимание языка.
3. Построение второго языка при замене происходит значительно быстрее, чем происходило приобретение первого родного языка.

Является ли новый язык полноценным заменителем первого, остается вопросом. Так, по мнению К. Ямперт [Jampert 2001], потеря языка – это не только потеря коммуникации на родном языке, но и шаг назад в общем развитии ребенка. Вместе с языком уходят сформированные понятия. Исследования [Pallier et al. 2003] показали, что дети, сменившие языковую среду в возрасте от трех до восьми лет (исследовалась группа корейцев, усыновленных французскими семьями), полностью забыли первый язык и при восприятии корейского языка не отличались от французов, никогда не контактировавших с корейским языком, – активация зон мозга на fMRI² при восприятии корейского языка была сходной у корейской и контрольной французской монолингвальной группы. В то же время fMRI показал некоторые различия в активации зон мозга при восприятии французского языка – у французской группы активации были обширнее, чем у корейской.

По нашим наблюдениям, существует непосредственная связь между темпами освоения нового языка и сохранностью первого языка: быстрое приобретение языковых навыков обязательно сопровождается заметными потерями в первом языке. Дети, медленно осваивающие новый язык (обычно это наблюдается, если первый язык поддерживается в семье), в будущем имеют больше шансов полноценно овладеть двумя языками. Создается впечатление, что детский мозг готов к замене одного языка на другой, а на строительство второго языка идет только в случае крайней необходимости – если на протяжении длительного времени существует потребность общаться на обоих языках.

Сохранить первый язык у дошкольника при погружении в новую языковую среду удается не всегда, даже если родители стараются сделать это:

Эдгар родился в Германии в русскоязычной семье, до 4-х с половиной лет контакты с немецким языком были незначительные, т.к. ребенок не посещал детский сад. По состоянию русского языка (высокая речевая активность, богатый словарный запас, правильное звукопроизношение и т.п.) мальчик заметно выделялся в лучшую сторону среди двуязычных детей. Через год после начала посещения детского сада (погружение во второй язык) отмечается резкое обеднение русского языка: ребенок, задавая вопросы, с трудом подбирает русские слова, иногда заменяя их немецким эквивалентом. Произношение типично русских звуков (Р и Л) стало неустойчивым: в некоторых позициях мальчик произносит аналогичные немецкие звуки. Все эти изменения произошли несмотря на то, что в семье продолжают говорить только по-русски и каждый день читают сыну русские книги.

В школьном возрасте освоение нового языка замедляется, многие дети год и больше “молчат” в новой школе, но первый язык остается более сохранным и к подростковому возрасту эти дети чаще подходят с двумя хорошими разговорными языками, т.е. наши наблюдения совпадают с выводами [Skutnabb-Kangas, Toukomaa 1976]: в условиях миграции без специальной помощи родителей и педагогов дети старше девяти лет имеют больше шансов по сравнению с младшими детьми хорошо овладеть двумя языками. С одной стороны, родной язык к девятилетнему возрасту достигает определенной зрелости и меньше, чем ранее, подвержен обеднению, с другой стороны, освоение нового языка до уровня родного еще возможно, а быстрое убывание данной способности наблюда-

² fMRI – функциональная магнитно-резонансная томография; позволяет наблюдать активность здорового мозга.

ется после 12-ти лет, т.е. “возрастной коридор” – 9–11 лет благоприятен для погружения в новый язык. Наиболее уязвимыми при перемене языковой среды в младшем школьном возрасте являются навыки письма и чтения в первом языке. Э. Олыштайн [Olshtain 1986] важным для устойчивости первого языка считает овладение грамотой.

Обеднение языка (как первого, так и второго), на наш взгляд, играет важную роль в процессах языковой интерференции:

Ваня (12 лет). В Германию приехал из России в возрасте восьми лет, пошел в первый класс немецкой школы. Через четыре года родители привели мальчика на занятия русским языком, т.к. Ваня стал “странно говорить по-русски”. Мальчик учится в четвертом классе, успеваемость нормальная. Дома говорят только по-русски. На момент начала занятий мальчик может общаться по-русски в пределах бытовых ситуаций, употребляя отдельные слова и короткие фразы. Составление рассказа по сюжетной картинке и пересказ прослушанного рассказа невозможны – затруднен как подбор слов, так и построение фраз. Выраженно страдает понимание русской речи: не знает, что означают многие распространенные слова (например, *небо*, *грустить*, *прыгать* и т.п.). При изменении глагола по лицам и числам мальчик не допускал ошибок, но при образовании множественного числа существительного ошибки встречаются примерно в половине случаев. При договаривании предложений существительными в некоторых случаях употребляет кальку с немецкого: *Я ем суп... с ложка* – *Ich esse die Suppe mit einem Löffel*.

Пробелы в родном языке замещаются конструкциями нового языка.

В случаях обеднения и потери первого языка в новой языковой среде встает вопрос об обратимости подобных изменений, т.е. можно ли вернуть утраченный ребенком язык.

Ваня (случай, описанный выше) полгода занимался русским языком (два раза в неделю в вечернее время, индивидуальные и групповые занятия; учитель – носитель русского языка), за это время он научился читать и писать под диктовку по-русски, но его разговорная речь почти не улучшилась. Практически он осваивал русский язык заново, причем больше как иностранный, чем как родной. Лишь в понимании значений отдельных слов иногда проявлялся эффект воспоминания.

Э. Бурхардт-Монтанари [Burkhardt-Montanari 2002: 101] приводит рассказ 25-летней девушки.

Девушка до пяти лет была двуязычной (немецко-персидское двуязычие), но затем забыла персидский язык, т.к. долгое время не виделась с отцом. Девушка вспоминает, как через несколько лет отец вновь пытался говорить с нею на фарси, но она отвечала по-немецки, и отец перешел на немецкий язык. Позднее девушка пыталась выучить фарси на курсах, в настоящее время говорит на этом языке с немецким акцентом и сожалеет о потере языка, на котором легко говорила в детстве.

В этом рассказе описаны нередкие для двуязычной среды феномены – потеря двуязычным ребенком одного из языков, необратимость этой потери и тщетные попытки взрослого возродить общение на утраченном языке. Потери в языке, по нашим наблюдениям, носят необратимый характер. Но часто в детстве первый язык, если он вновь становится необходимым, осваивается заново. Чем старше ребенок, тем сложнее вернуть утраченный язык.

Полная замена одного языка другим в школьном возрасте происходит редко и при определенном стечении обстоятельств, но та или иная степень обеднения родного языка при погружении в новую языковую среду наблюдается не только у школьников, но и у взрослых и выражается в некоторой дезавтоматизации родной устной и письменной речи: может появиться неуверенность в правильности построения фраз, в выборе ударений, в правописании, возможен акцент. Потери в родном языке у взрослых людей преодолеваются обычно логическим путем, т.е. взрослый грамотный человек обращается к словарям, старается запомнить обороты речи, в которых ошибался, вспоминает забы-

тые правила правописания, т.е. сознательно контролирует свою устную и письменную речь. В некоторых случаях обеднение родного языка у взрослых людей может быть весьма значительным.

Автор статьи познакомилась с Т.А. в Берлине на конференции, посвященной интеграции российских немцев в Германии. Вначале разговаривали по-немецки, затем, заметив, что мне сложно говорить, Т.А. перешла на русский. Она говорила бегло, в ее речи не было явного немецкого акцента, но подбор слов был настолько неудачный, что я с трудом улавливала мысли, а иногда не понимала вовсе. Я подумала, что моей собеседнице труднее говорить по-русски, чем мне по-немецки и предложила снова перейти на немецкий язык. Я была уверена, что разговариваю с “местной” немкой, которая учила русский как иностранный. Более того, когда общие знакомые рассказывали, что Т.А. родом из России, я не поверила и решила, что речь идет о другом человеке. Но через некоторое время нам довелось вновь встретиться, и Т.А. рассказала о себе. Она родилась в 1963 году в семье российских немцев. Закончила в Сибири школу и институт, специальность – ветеринарный врач. Дома говорили на двух языках – на русском, который был ведущим для всех членов семьи, и на одном из диалектов немецкого языка. В возрасте 28-ми лет Т.А. (по характеру настойчивый, целеустремленный человек) переезжает в Германию с намерением как можно скорее усовершенствовать свой немецкий язык и найти работу. В Германии выясняется, что диалект, на котором говорит семья, резко отличается от современного немецкого языка. “Я ничего не понимала, не могла даже расслышать отдельные слова в немецкой речи”, – так Т.А. описывает свои первые контакты с немецким языком. Началась упорная работа по освоению языка, прежде всего нужно было научиться понимать современный немецкий язык. Старалась проводить время в немецкоговорящей среде, позже работала в немецких коллективах. По-русски говорила мало. Участвовала в разработке, реализации и презентации проектов, связанных с интеграцией российских немцев. Подобная деятельность невозможна без хорошего владения как устным, так и письменным немецким языком, т.е. малопонятная русская речь Т.А. не означает плохие языковые способности вообще. Наша встреча на конференции произошла через 12 лет после переезда Т.А. в Германию.

В случае Т.А. русский язык изменился настолько, что перестал опознаваться как родной.

Исследования детей разного возраста (до и после полового созревания) показывают, что возраст является важным фактором, влияющим на процесс стирания языка, см. [Nakuta, d'Andrea 1992]. Д. Кауфман [Kaufman 2001: 185] отмечает, что данный процесс сильнее проявляется у детей до полового созревания, чем у старших детей и взрослых. Исследования лиц, сменивших языковую среду после полового созревания [Körpke, Schmid 2004], влияния фактора возраста не выявили.

Обеднение родного языка, которого, по нашим наблюдениям, не удастся избежать даже при самой удачной организации процесса освоения второго языка **н а т у р а л ь н ы м** **с п о с о б о м** и в любом возрасте, приводит к возникновению таких языковых феноменов, как язык-заменитель или “обедненный” родной язык.

О полной или частичной потере первого языка ребенком упоминается во многих работах, посвященных различным аспектам детского двуязычия [Негневичкая 1987; Kiehlhöfer, Jonekeit 2002: 15; Burkhard-Montanari 2002: 101; Jampert 2001; Александрова 2003; 2004; Гулида 2004; Шаяхметова 2004]. Феномен обеднения, стирания первого языка (first language attrition) активно изучается уже более двадцати лет, но психолингвистическому аспекту проблемы до недавнего времени уделялось мало внимания. В настоящее время наметился подход, рассматривающий данное явление как самореорганизацию лингвистической системы [Körpke, Schmid 2004].

Феномен стирания первого языка дает основание:

- 1) предположить ограничение, конечность мозговых ресурсов, “запланированных” для освоения родного языка;
- 2) усмотреть тенденцию языковой системы к экономному функционированию и стремление к одноязычной программе;

- 3) рассматривать становление раннего многоязычия не как параллельное совершенствование автономных каналов-языков, а как единый процесс, в котором развивающиеся языки взаимодействуют и влияют друг на друга.

Натуральный способ освоения новых языков, который запускает процесс стирания первого языка, опирается на правополушарную стратегию обработки информации. Следовательно, процессы обеднения и стирания языка также связаны с деятельностью правого полушария.

Язык, освоенный преимущественно натуральным способом в подростковом возрасте и позже

Зависимость успешности освоения второго языка от возраста присутствует в двух вариантах – постепенное влияние возраста на возможность освоения второго языка, которое наблюдается всю жизнь, а также качественное изменение (критический период), который совпадает во времени с половым созреванием. Способность к освоению языка снижается, но монотонно или ступенчато? Этот вопрос остается открытым.

Условием становления двух языков в детстве является сосуществование на протяжении длительного времени двух языковых сред, необходимых ребенку. Согласно гипотезе критического периода (Critical period hypothesis – CPH) [Lenneberg 1972: 177], дети сохраняют способность освоить второй язык, по качеству не уступающий родному, приблизительно до полового созревания, т.е. данная способность имеет ограничение во времени. Этот факт, являющийся очевидным для каждого наблюдателя данного процесса, описан многими исследователями [Felix 1982; Romaine 1989: 238–239; Jacobs 1988]. При этом количество языков, которые могут быть освоены натуральным способом (т.е. в процессе общения) до полового созревания, CPH не ограничивает [Felix 1982: 240].

В старшем возрасте новый язык не достигает уровня родного. Э.Х. Леннеберг [Lenneberg 1972: 217], впервые описавший этот феномен, сообщает об акценте как об обязательном спутнике нового языка, освоенного после полового созревания. По нашим наблюдениям, новый язык может содержать неточности практически во всех пластах, и, вследствие этого, индивидум, осваивающий язык, уже не опознается как его носитель. По своему качеству данный языковой феномен отличается как от родного языка, так и от языка, приобретенного в процессе обучения.

Одним из “камней преткновения” для подростков (и тех, кто старше) в немецком языке является род имен существительных. Как и в русском, в немецком языке у существительных три рода – мужской, женский и средний. Окончания и артикли существительных изменяются в зависимости от рода, и поэтому без определения рода не может быть грамотной речи или письма. Часть существительных имеет индикаторы рода в виде определенных суффиксов, у другой части таковых индикаторов нет. Именно эти существительные ставят иностранцев в тупик. Их род можно только запомнить, но таких существительных слишком много. Приведу наблюдение, которое касается моих детей.

Оля и Женья приехали в Германию из России соответственно в 12 и в 8 лет. Оля была собранной девочкой, грамотно писала по-русски и хорошо говорила по-английски. Женья, по словам учителей, был неусидчив, читал медленно и только-только начинал самостоятельно писать. Оля продолжила обучение в русской школе в Берлине, немецкий учила как иностранный, а также осваивала язык в живой среде вне школы. Когда Оле было 15 лет, она готовилась к экзамену по немецкому языку. Жене в тот момент было 11, один год он также учился в русской школе, а затем два года в немецкой. “Самое сложное для меня – определить род существительного, – задумчиво сказала Оля, – я знаю, как изменяются окончания, но могу не угадать род”. “Это просто! – неожиданно вмешался Женья. – Если можно сказать *die*, значит это женский род, *der* – мужской, а *das* – средний. Нельзя же сказать, например, *der Tasche*, только *die Tasche*!”

По отношению к русскому языку это могло бы звучать так: “Если можно сказать *мой* – это мужской род, *моя* – женский, а *мое* – средний. Например, можно сказать *мой*

зверь – значит это мужской род, *моя дверь* – женский, нельзя же сказать по-другому!” Женя чувствовал, как можно и как нельзя сказать, а Оля (всего на четыре года старше!) пыталась это выучить.

Немецкий стал для Жени вторым родным языком. Оля хорошо владеет немецким, но этот язык нельзя назвать родным: есть неуверенность в грамматическом оформлении устного высказывания, поэтому иногда приходится “проглатывать окончания”, письменные Олины работы обязательно проверяет кто-то из носителей языка, иногда это брат Женя. Однажды Оля с радостью сообщила мне, что ее работу проверили и нашли только одну ошибку. Я заметила, что она могла бы постараться подтянуть свой немецкий язык, чтобы чувствовать себя уверенной. “Не могу же я выучить род всех существительных в немецком языке!” – ответила (не без грусти) двадцатилетняя Оля.

Первый язык у подростков обычно на всю жизнь сохраняет ведущие позиции в некоторых областях, как, например, чтение “для себя” художественной литературы.

Следующая история, которая произошла с одноклассником моего сына, дает основание предположить, что язык, освоенный на границе критического периода, неустойчив в стрессовых ситуациях:

Михаил приехал в Германию из Казахстана и начал учиться в немецкой школе в возрасте 11 лет. В семье говорили только по-русски. Мальчик хорошо учился, и к моменту окончания гимназии (13-й класс) итоговая оценка по немецкому языку у Михаила была выше, чем у многих немецких одноклассников. Но аттестата юноша не получил, т.к. письменный экзамен по географии не был засчитан из-за большого количества ошибок в немецком языке. Рекомендация экзаменационной комиссии – языковые курсы.

Вероятно, единственным объяснением может быть предположение, что юноша во время сложного экзамена в ситуации лимита времени сосредоточился на содержании предмета и недостаточно контролировал правописание. Второй язык оказался недостаточно автоматизированным.

Влияние возраста на успешность освоения языка демонстрирует история семьи Г-с.

Семья Г-с (родители, 12-летняя дочь и 5-летний сын), этнические греки, в начале 90-х годов выехали из бывшего СССР в Грецию. Языком общения в семье был русский язык. Семья обосновалась в Афинах, в районе, где не было других русских семей. По словам матери, сын начал общаться с греческими детьми в первый же день, а 12-летняя дочь с трудом осваивала новый язык в школе. Через семь лет (дочери 19, а сыну 12 лет) семья переезжает в Германию. Дочь два месяца посещает немецкую школу и понимает, что не сможет быстро и хорошо освоить новый язык. Девушка переходит в греческую школу в Берлине, а после ее окончания возвращается в Афины, где поступает в университет. Двенадцатилетний сын учится в немецкой школе, и немецкий язык вскоре становится для него ведущим. “Когда вся семья собирается вместе, – рассказывает мать, – нам трудно найти общий язык – дочери легче говорить по-гречески, сыну – по-немецки, а нам, родителям, – по-русски”.

Возрастные изменения языковых способностей человека проявляются не только как затруднения при освоении новых языков, но и как ограничение возможности совершенствования ранее приобретенных.

Л.Б. родилась в 1951 году на Урале в семье российских немцев. Ее мать перед свадьбой поставила будущему мужу условие – с детьми говорить по-немецки. Детей в семье было четверо, и родители общались с ними только на немецком языке. Русский язык дети осваивали в школе, и Л.Б. вспоминает, как трудно ей было рассказывать родителям о школьных делах по-немецки, как не хватало немецких слов. В то же время между собой родители говорили по-русски, ведущим для них был русский язык. Л.Б. закончила в России школу и философский факультет университета, где немецкий язык изучала как иностранный. В возрасте 23 лет вышла замуж за немца и переехала в ГДР. Работала в редакции журнала, готовила к печати материалы на русском языке. Но журнал изменил направленность. Л.Б. должна была готовить к печати статьи на немецком, но не

смогла этого делать. “У меня не было образования на немецком”, – так Л.Б. объясняет этот факт. Напомним, что немецкий был первым родным языком Л.Б., она достаточно хорошо им владеет, художественную литературу, в том числе поэзию, легко воспринимает на обоих языках. Л.Б. пыталась совершенствовать свой немецкий язык, но не смогла поднять его до уровня русского языка. Впоследствии работу пришлось сменить. Л.Б. в тот момент не было и тридцати лет. И, казалось бы, для совершенствования языка были все условия – проживание в Германии, немецкоговорящий муж, коллектив редакции журнала и т.п. И в настоящее время, т.е. почти после тридцати лет жизни и работы в Германии, для Л.Б. проще писать письма и статьи на русском, чем на немецком языке.

Для достижения высокого уровня в каждом из языков при раннем многоязычии необходимо полноценное образование на всех языках в оптимальный возрастной период, т.е. параллельно.

Критический период в языковом развитии, т.е. утрата способности освоить новый язык до уровня родного в возрасте полового созревания, связан с имплицитной языковой способностью. Как долго в течение жизни можно использовать имплицитную языковую способность в процессе приобретения новых языков натуральным способом – этот вопрос остается открытым. Так, М. Парадис [Paradis 2004: 60] считает, что после определенного возраста (возраст не указывается) это становится невозможным или очень длительным и сложным. Натуральный способ освоения языка предполагает тесные контакты с его носителями. Взрослый человек обычно избегает ситуаций, в которых необходимо общаться на незнакомом или малознакомом языке, возможна психологическая дистанция от нового языка [Schumann 1975]. Взрослые люди, как правило, предпочитают сначала поучить язык логическим путем и лишь потом общаться с носителями нового языка. Имплицитная языковая способность, вероятно, не только слабеет с возрастом, но и меньше запрашивается. Сознательная декларативная память, как возможность увеличивать словарный запас, не чувствительна к критическому периоду, и это маскирует ослабление способности использовать имплицитные механизмы, т.е. закономерности возрастных изменений имплицитных и эксплицитных языковых процессов различны.

Совершенствование второго языка в течение жизни человека

Существует множество вариантов контактов со вторым языком в течение жизни человека, которые, несомненно, изменяют когда-то приобретенный тем или иным способом язык, т.е. второй язык приобретается, совершенствуется всю жизнь. Например, второй язык вначале осваивается в школе или в университете логическим путем, а затем долгие годы является средством общения в бинациональной семье или становится “инструментом” в работе, как это имеет место в деятельности синхронного переводчика. В этих случаях живая среда вносит свой вклад в язык, первоначально приобретенный логическим способом. И это еще один языковой феномен, который отличается как от родного, так и от иностранного языка в их обычном понимании. Д. Перини [Perani et al. 1998] в результате исследования активаций зон мозга с помощью ПЭТ показывает влияние достигнутого уровня мастерства во втором языке на его мозговое представительство. Исследовались две группы билингвов, обе с высоким уровнем владения вторым языком, но различающиеся возрастом его приобретения: 1) позднее приобретение (в школе после 10 лет) и 2) раннее приобретение (до четырех лет), а также 3) поздние билингвы, у которых второй язык был освоен посредственно. Исследователи приходят к выводу, что высокий уровень владения вторым языком в большей степени, чем возраст приобретения этого языка, определяет его мозговое представительство. В работе указывается, что все поздние билингвы, владеющие на высоком уровне вторым (английским) языком, год и более проводили в англоязычных странах.

На наш взгляд, высокий уровень владения вторым языком предполагает значительный вклад натурального способа в его освоение (правополушарная стратегия обработки информации), и именно это обстоятельство влияет на мозговое представительство языка.

“Мама, а горноста́й – это козел или птица?” – этот вопрос мне задал двуязычный сын Женья в возрасте 18 лет. Два́м годами раньше он спросил, почему название торта *Причу́да* пишется через *при*, а не через *пре*. Оказалось, он считал, что *причу́да* значит ‘большое чудо’. Из этих смешных примеров ясно, что Женья пытался угадать смысл незнакомых слов через однокоренные слова. Бедность пассивного словаря характерна для двуязычных подростков по сравнению с одноязычными сверстниками и наблюдается даже в тех удачных случаях, когда подросток свободно использует оба языка устно и письменно. Преимущества, которые получает носитель двух родных языков в социальной сфере, маскируют потери в сфере языковой.

По нашим наблюдениям, там, где есть владение несколькими родными языками, есть некоторое “уменьшение” каждого языка, но по сравнению не со средней нормой, а с потенциалом конкретного человека. Способности людей, как известно, могут быть очень разными, возможно значительное превышение средней возрастной нормы. Отдельные удачные примеры владения несколькими родными языками предполагают совмещение хороших способностей и оптимальных условий многоязычного воспитания, но и в этих случаях нельзя утверждать, что каждый из нескольких языков развит так же хорошо, как могло бы быть при одноязычии. В данном случае уместно сравнение с близнецами: когда появляются на свет близнецы, то, даже если это крупные младенцы, ясно, что один ребенок был бы крупнее. Родной язык при одноязычном воспитании складывается из общения со многими носителями языка в разных жизненных ситуациях. В случае двуязычия, а тем более многоязычия, в каждом из языков неизбежны слабые области. Так, если ребенок всю свою жизнь с мамой говорит на одном языке, а с папой на другом, то в одном языке будут сильнее “мамины”, а в другом – “папины” темы. Невозможно полностью дублировать школьное обучение, общение с друзьями, книги и фильмы. Чем больше языков, тем меньше времени для говорения, чтения и письма на каждом из них. Но лимит времени – это общая проблема приобретения знаний, связанная с эксплицитной языковой способностью: возможности сознательной декларативной памяти не безграничны, что заставляет ребенка, а потом и взрослого человека из огромного числа возможностей выбирать определенную область знаний и сферу деятельности. В отношении родных языков существует, по-видимому, еще одна причина, связанная с сущностью имплицитной языковой способности: сама возможность обеднения и замены родного языка показывает, что языки, освоенные (осваиваемые) натуральным способом, ведут себя как конкуренты, “выталкивают” друг друга. Способность родного языка не только развиваться, но и обедняться под воздействием другого, является, вероятно, основной причиной неудач в области многоязычного воспитания. Если бы приобретение многих родных языков без явного снижения их качества было возможным, то дети осваивали бы языки уже в дошкольном возрасте, а в школе не было бы предмета иностранный язык.

Если отвлечься от конкретной ситуации освоения второго языка (способности человека, изучающего язык, мотивация, условия и т. п.), то существуют два основных фактора, влияющих на данный процесс и во многом определяющих его результат – способ освоения языка и возраст. Так, у школьника 11–12 лет, погруженного в новую языковую среду, есть шанс приобрести еще один родной язык (если пребывание в языковой среде достаточно длительное), но у ученика, изучающего новый язык как иностранный только на уроках в школе (даже если обучение началось в семилетнем возрасте), такой возможности нет. Продолжительность, как и интенсивность изучения в последнем случае приведет к совершенствованию иностранного языка, но не сделает этот язык родным. Внешне различие между родным и иностранным языками, на наш взгляд, выражается в том факте, опознается ли человек, освоивший новый язык, как его носитель.

Тенденция к одноязычию присутствует при освоении новых языков натуральным способом в любом возрасте и может проявляться как та или иная степень обеднения первого языка (от полной потери родного языка в раннем детстве до легкой

деавтоматизации родной устной и письменной речи, субъективно ощущаемой в зрелом возрасте). Создается впечатление, что имплицитная языковая способность предоставляет человеку возможность в любом возрасте осваивать (совершенствовать) новый язык натуральным способом, но за счет первого родного языка. При этом детский мозг отличается от взрослого не столько большей емкостью, сколько большей подвижностью процессов, позволяющих менять один родной язык на другой. Имплицитная языковая способность, таким образом, предстает как некая конечная величина, определенный и ограниченный мозговой ресурс, который в случае раннего многоязычия скорее делится, чем увеличивается или умножается. По-видимому, именно этот факт и заставил человечество изобрести трудоемкий логический способ освоения иностранных языков, опирающийся на эксплицитную языковую способность и не вызывающий обеднения родного языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Александрова 2003 – *Н.Ш. Александрова*. Раннее детское двуязычие – стремление к одноязычию? // А.Р. Лурия и психология XXI века. Доклады второй международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Р. Лурия. М., 2003.
- Александрова 2004 – *Н.Ш. Александрова*. Раннее двуязычие и гипотеза созревания мозга // Детская речь как предмет лингвистического исследования. Материалы Международной научной конференции. СПб., 2004.
- Алхазишвили 2004 – *А.А. Алхазишвили*. Психологические основы обучения устной иностранной речи // Психологические основы обучения неродному языку. М.; Воронеж, 2004.
- Балонов и др. 1999 – *Л.Я. Балонов, В.Л. Деглин, Т.В. Черниговская*. Функциональная асимметрия мозга в организации речевой деятельности // Хрестоматия по нейропсихологии. М., 1999.
- Вассерман и др. 1997 – *Л.И. Вассерман, С.А. Дорофеева, Я.А. Меерсон*. Методы нейропсихологической диагностики. СПб., 1997.
- Выготский 1996 – *Л.С. Выготский*. Мышление и речь. М., 1996.
- Гулида 2004 – *В.Б. Гулида*. Социо-фонетические особенности речи ребенка-билингва // Детская речь как предмет лингвистического исследования. Материалы Международной научной конференции. СПб., 2004.
- Джексон 1996 – *Дж.Х. Джексон*. Избранные работы по афазии. СПб., 1996.
- Добровольский 2002 – *Д.О. Добровольский*. Рец. на: K. Meng. Russlanddeutsche Sprachbiografien // ВЯ. 2002. № 4.
- Ковшиков 1994 – *В.А. Ковшиков*. Экспрессивная алалия. СПб., 1994.
- Негневичкая 1987 – *Е.И. Негневичкая*. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра // Иностранные языки в школе. 1987. № 6.
- Черниговская 2003 – *Т.В. Черниговская*. Дети со специфическими языковыми расстройствами в свете современных дискуссий в лингвистике и психологии // А.Р. Лурия и психология XXI века. Доклады второй Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.Р. Лурия. М., 2003.
- Шаяхметова 2004 – *А.К. Шаяхметова*. О соотношении языков в детском двуязычии // Детская речь как предмет лингвистического исследования. Материалы Международной научной конференции. СПб., 2004.
- Щерба 1974 – *Л.В. Щерба*. Преподавание иностранных языков в средней школе: Общие вопросы методики. 2-е изд. М., 1974.
- Altenberg, Vago 2004 – *E. Altenberg, R. Vago*. The role of grammaticality judgments in investigating first language attrition // First language attrition. Amsterdam; Philadelphia, 2004.
- Bates et al. 1997 – *E. Bates, D. Thal, D. Traumer, J. Fenson, D. Aram, J. Eisele, R. Nass*. From first words to grammar in children with focal brain injury // Developmental neuropsychology. 1997. 13(3).
- Bates 1999 – *E. Bates*. Plasticity, localization and language development // S.H. Broman, J.M. Fletcher (eds.). The changing nervous system: Neurobehavioral consequences of early brain disorders. New York, 1999.
- Boller, Grafmann 1988–1992 – *F. Boller, J. Grafmann* (eds). Handbook of neuropsychology. V. 1–4. Elsevier; Amsterdam, 1988–1992.
- Burgschmidt, Götz 1974 – *E. Burgschmidt, D. Götz*. Kontrastive Linguistik Deutsch/Englisch. München, 1974.
- Burkhard-Montanari 2002 – *E. Burkhard-Montanari*. Wie Kinder mehrsprachig aufwachsen. Frankfurt-am-Main, 2002.

- Chiron et al. 1997 – C. Chiron, I. Jambaque, R. Nabbout, R. Lounes, A. Syrota, O. Dulac. The right brain hemisphere is dominant in human infants // *Brain*. 1997. 120.
- Chomsky 1981 – N. Chomsky. Lectures on government and binding. Amsterdam, 1981.
- Felix 1982 – S.W. Felix. Psycholinguistische Aspekte des Zweitspracherwerbs. *Language Development*. 1982.
- Friederici, Hahne 2000 – A. Friederici, A. Hahne. Neurokognitive Aspekte der Sprachentwicklung // H. Grimm (ed.). *Enzyklopädie der Psychologie*. Bd. 3. Sprachentwicklung. Göttingen, 2000.
- Galloway, Krashen 1980 – L. Galloway, S. Krashen. Cerebral organization in bilingualism and second language // R. Scarcella, S. Krashen (eds.). *Research in second language acquisition*. Cambridge (Mass.), 1980.
- Hakuta, d'Andrea 1992 – K. Hakuta, D. d'Andrea. Some properties of bilingual maintenance and loss in Mexican background high-school students // *Applied linguistics*. 1992. 13 (1).
- Jacobs 1988 – B. Jacobs. Neurobiological differentiation of primary and secondary language acquisition // *Studies on second language acquisition*. 1988. 10.
- Jampert 2001 – K. Jampert. Sprachförderung entsteht über Beziehung und Aktivität *Treffpunkt deutsche Sprache* Eine Tagungsdokumentation Projektheft 5. München, 2001.
- Kaufman 2001 – D. Kaufman. Tales of L1 attrition – Evidence from pre-puberty children // T. Ammerlaan, M. Hulsen, H. Strating, K. Yagmur (eds.). *Sociolinguistic and psycholinguistic perspectives on maintenance and loss of minority languages* 2001. Münster, 2001.
- Kielhöfer, Jonekeit 2002 – B. Kielhöfer, S. Jonekeit. *Zweitsprachige Kindererziehung* 11 Aufl. Tübingen, 2002.
- Klein 2000 – W. Klein. Prozesse des Zweitspracherwerbs // H. Grimm (ed.). *Enzyklopädie der Psychologie*. Bd. 3. Sprachentwicklung. Göttingen, 2000.
- Köpke, Schmid 2004 – B. Köpke, M. Schmid. *Language attrition* // *First language attrition*. Amsterdam; Philadelphia, 2004.
- Lenneberg 1972 – E.H. Lenneberg. *Biologische Grundlagen der Sprache*. Frankfurt, 1972.
- Oblor 1981 – L. Oblor. Right hemisphere participation in second language acquisition // K. Diller (ed.). *Individual differences and universals in language learning aptitude*. Cambridge (Mass.), 1981.
- Olshtain 1986 – E. Olshtain. The attrition of English as a second language with speakers of Hebrew // B. Weltens, K. De Bot, T. Van Els (eds.). *Language attrition in progress*. Dordrecht, 1986.
- Pallier et al. 2003 – C. Pallier, S. Dehaene, J.-B. Poline, D. LeBihan, A.-M. Argenti, E. Dupoux, J. Mehler. Brain imaging of language plasticity in adopted adults: Can a second language replace the first? // *Cerebral Cortex*. 2003. 13.
- Paradis 2004 – M. Paradis. *A neurolinguistic theory of bilingualism*. Amsterdam; Philadelphia, 2004.
- Perani et al. 1998 – D. Perani, E. Paulesu, N. Sebastian, E. Dupoux, S. Dehaene, V. Bettinardi, S.F. Cappa, F. Fazio, J. Mehler. The bilingual brain. Proficiency and age of acquisition of the second language // *Brain*. 1998. 121.
- Porsche 1983 – D.C. Porsche. *Die Zweitsprachigkeit während des primären Spracherwerbs*. Tübingen, 1983.
- Romaine 1989 – S. Romaine. *Bilingualism*. Oxford, 1989.
- Solmecke 1973 – G. Solmecke. *Psychologische Grundlagen des neusprachlichen Unterrichts*. Ratingen; Kastellaun; Düsseldorf, 1973 [Lit. no: S.W. Felix. Psycholinguistische Aspekte des Zweitspracherwerbs // *Language development*. 1982].
- Schmidt et al. 2000 – R.F. Schmidt, G. Thews, F. Lang. *Physiologie des Menschen*. 28. Berlin; Heidelberg; New York, 2000.
- Schumann 1975 – J. Schumann. Second language acquisition: the pidginization hypothesis. Dissertation. Harvard, 1975. [Lit. no: S.W. Felix. Psycholinguistische Aspekte des Zweitspracherwerbs. Tübingen, 1982].
- Skutnabb-Kangas, Toukomaa 1976 – T. Skutnabb-Kangas, K. Toukomaa. Teaching migrant children's mother tongue and learning the language of the host country in the context of the socio-cultural situation of the migrant family. (UNESCO-Report). Tampere, 1976.
- Wray 1992 – A. Wray. The focusing hypothesis: The theory of left hemisphere lateralised language re-examined. Amsterdam; Philadelphia, 1992.
- Wray 2000 – A. Wray. Holistic utterances in protolanguage: the link from primates to humans // Ch. Knight, M. Studdert-Kennedy, J.R. Hurford (eds.). *The evolutionary emergence of language: Social function and the origins of linguistic form*. Cambridge, 2000.
- Zaidel 1978 – E. Zaidel. Lexical organisation in right hemisphere // *Cerebral correlates of conscious experience* elsevier. 1978.

© 2006 г. Е.М. ВЕРЕЩАГИН

“ПОВЕСТЬ О СВЕТОМИРЕ” ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА В ПРОЧТЕНИИ РАССКАЗНОЙ ПОГЛАСИЦЕЙ*

Вольфу Абрамовичу Московичу,
однокорытнику¹ и другу старому, –
к славному 70-летию.

“Повесть о Светомире”, вершинное произведение великого русского поэта Вячеслава Иванова, написана особой ритмической и архаичной прозой. Повесть предназначалась для прочтения вслух, но ключ к ее произнесению утрачен. Действительно, явно не подходит привычное для нас чтение с паузацией по периодам, обусловленным синтаксическим членением текста. Приняв во внимание обстоятельства жизни и трудов В. Иванова, автор статьи высказывает предположение, что поэт мог ориентироваться на прочтение “Повести” рассказной погласицей, используемой старообрядцами при чтении Пролога. Соответственно в статье дан образчик погласицы и описаны ее составные элементы – речёвки. Попытка применить несколько модифицированную практику чтения погласицей к “Светомиру” оказалась, как представляется, приемлемой. Во всяком случае, погласица, требующая от чтеца сотворчества, выявляет внешние поэтические признаки прозы В. Иванова.

I

“Повесть о Светомире царевиче”² занимает особое место в творчестве Вяч. Иванова (в дальнейшем – В.И.). Приступив к написанию повести³ в 1928 г.⁴, великий поэт продолжал трудиться над ней буквально вплоть до самой смерти⁵.

* Исследование выполнено по проекту “Церковнославянское и синодального перевода русское Евангелие как самостоятельная духовная линия в мировой истории и культуре”, финансируемого Отделением ИФН РАН в рамках программы “Русская культура в мировой истории”.

¹ Автор этих строк был сотоварищем В.А. Московича по аспирантуре. Мы даже жили в одной комнате в общежитии.

² Напечатана в 1-м томе. Собрания сочинений (см. [СС 1971: 255–369]).

³ Впрочем, жанровая принадлежность произведения не устанавливается с легкостью. Л.Д. Иванова и О.А. Шор-Дешарт называли его *романом*, а сам В.И. – (расплывчато) “*баснословием*”. Поскольку явно просвечивает греч. соответствие *mythologia*, возможно, В.И. имел в виду интенционно-содержательную сторону своего произведения, а не его жанр. Т. Венцлова допустил множественность жанровых квалификаций: *сказка, эпопея, квазиисторический роман* и даже богословский *трактат* [Венцлова 1988: 28–29]. Последнее, впрочем, невероятно. С другой стороны, Т. Венцлова, на наш взгляд, правильно отнес “Повесть о Светомире” к мифотворчеству В.И.

⁴ Сообщение о начале работы датировано 28 сентября 1928 г. Первая книга была завершена в том же году.

⁵ Как свидетельствует дочь поэта, в последние восемь или десять дней жизни “Вячеслав лежал в постели, тихий, гармоничный, всем интересовался, на все радовался, с полной ясностью, даже, может быть, с повышенной деятельностью ума, и работал до последнего дня над своим Светомиром” [Иванова 1990: 296]. Она продолжает: «Все мысли, вся работа до самого последнего дня жизни были направлены на “Повесть о Светомире царевиче»» [Там же: 297]. Довести “Повесть” до конца писателю суждено не было, и, как известно, дописала ее, по завету В.И. и ориентируясь по его устным рассказам и подготовительным материалам, О.А. Шор. “16 июля 1949 года за два-три часа до смерти Вяч. Иванов попросил О.А. Шор: “Спаси моего Светомира... Допиши сказание”. Сказанное было не только последней волей писателя, это были последние его слова” [Гей 1996: 197].

Считается, что “Повесть” написана ритмической прозой⁶. Дочь поэта Л.В. Иванова воспроизводит квалификацию своего отца: “Да, проза особая, а все же проза” [Иванова 1990: 226]⁷. Вот первое впечатление дочери от “Светомира” в прочтении самого поэта: «...Он прочел написанное за ночь: две главки. Прочитанное поразило меня своей необычностью, показалось значительным, убедительным; язык с налетом старины, по особому ритмичный, ни на чей язык не похожий. “Как хорошо!” В.И. улыбнулся: – “Что Бог даст!”...» [Там же: 227]. Эту самобытность языка “Повести”, противопоставленность его обычному литературному языку (и трудность для читательского восприятия) Л.В. Иванова подчеркнула еще раз: “...дело шло не о простом, естественном языке, а о форме языка совершенно своеобразной, над которой Вячеслав долго, упорно работал. [...] Кто знает? Быть может, это произведение, такое прозрачное, бесхитростное, окажется самым трудным для понимания современников?” [Там же: 288].

Если перед нами действительно ритмическая проза, то “Повесть” предназначена не для восприятия глазами только, а для проговаривания. А вот здесь-то и *haeret aqua*.

Сам Вячеслав Иванов ясно сформулированного ключа-наставления к проговариванию не оставил. Тем не менее на практике поэт мастерски читал “Повесть” вслух, и подобное чтение удавалось еще только *Фламिंगе*⁸ – О.А. Шор, которая со слуха усвоила манеру обожаемого мэтра. Другие близкие поэта, в том числе дочь и сын, по собственным словам, читать “Повесть” не умели.

Л.Д. Иванова пишет, что “во время оно”, т.е. до войны, “...часто устраивались интимные чтения, где два или три слушателя посвящались в последние приключения героев романа”. Она продолжает: “Мы глубоко сожалеем, что эти чтения не были записаны на пленку. Никто не может их описать: язык романа, который в чтении Вячеслава воспринимался как естественный, красивый, очень простой и ясный, как современная речь, в наши дни мало кем до конца понят”. “Неплохо выходило чтение романа у Ольги Александровны. И здесь тоже непостоянно, что мы все откладывали и так и не сделали ни одной записи на пленку” [Там же: 287–288].

Попытки самостоятельного (т.е. без образца) прочтения во всеуслышание “Повести”, – а “Повесть” пытались читать вслух весьма образованные и уважаемые люди, – заканчивались конфузом: “Как-то раз (вспоминает Л.Д. Иванова) я слышала попытку чтения повести, сделанную талантливейшим чтецом Романом Осиповичем Якобсоном, и со страхом услышала, что все выходит фальшиво. Дело в том, что Вячеслав, когда писал и читал “Светомира”, не стилизовал, а просто погружался в свой коренной, душевный, еще с младенчества сохраненный русский язык” [Там же: 287]⁹.

Не досадно ли, что мы не имеем ключа к внешней форме “Повести”? Ведь тогда “вещью в себе” остается вершинное произведение В.И., его с любовью пестуемое детище, *sein Lieblingswerk*¹⁰.

⁶ Недавно появилось монографическое исследование поэтического языка В.И. [Грек 2004]. В нем говорится также и об архаике языка “Светомира”.

⁷ Дать точную квалификацию языковой ткани “Светомира” не удастся: ее называют, скажем, *стихоподобной прозой* (имеется в виду библейский *стих-verset*), но и этот термин не имеет четких границ.

⁸ В домашнем языке семьи прозвище О.А. Шор (не *Фламिंगо*, а *Фламिंगа*) склонялось (по парадигме существительных женского рода).

⁹ Рассказывают, что в 1980-е гг. “Повесть” читал в Театре им. Вахтангова С.С. Аверинцев.

¹⁰ Поэт описывает идеальную страну, где процветает огражденная от нечисти христианская вера. В ней почивают мощи ап. Фомы, просветителя Индии, а власть держит “зде пребывавый апостол Иоанн”; правятся агапы любви; есть “домы студитские, и училища, и книгохранилища”, причем подлинные “любомудры” “софистикии лести не плетут”; полно храмов, колокольного звона, духовенства и богомольцев. а тема христианской Софии вышла в “Повести” на первый план и т.д. В то же время страна Утопия вместила в себя дорогие автору антично-эллинские черты: и олимпиады, и “лицевые действа”, и “борцом попроща, глаголемые палестры”, и “конникам – ристалища”, и даже “Вакха, у Еллинов славима”. Да и вообще царствует европейская терпимость, в том числе и веротерпимость: допущены добросовестные “Сакимуня и Конфуция последователи”, и “Корана начетчики”, и манихеи, и гностики, и даже... еретики! В стране нет (русского) бездорожья, для путников повсюду готовы “покоища” в “частых вертепах”. Поэт с одобрением упоми-

Наши современники читают прозу с паузацией по периодам, обусловленным синтаксическим членением текста, а индикатором синтаксического членения служит пунктуация.

Рассмотрим “Послание Иоанна Пресвитера Владарю царю тайное” (таков подзаголовок Пятой главы “Повести”)¹¹. С учетом авторской пунктуации, взятый для примера стих¹² (кн. V, гл. 1: 14) может быть прочитан с разделением на два периода:

Отрасль хвалимся быти царственного Константина града,
далече процветшая прежде распри с Римом первым...

Фраза не закончена и продолжается в следующем стихе (15), который, опять-таки с ориентацией на авторскую пунктуацию, также состоит из двух периодов:

...о ней-же изволися нам ничесоже ведети. Господа благодаряще,
яко хитона Спасителява, не швена¹³, свыше исткана цела, не предерохом ниже разделихом.

нает о неких “колхозах” (или “киббуцах”) и с одобрением описывает общность имущества и отсутствие частной собственности. Ср.: “Воздělывают землю срединную содружества семейств, в общении живущих труда и прибытка. Ина же всяко, аще ли туне, аще ли трудом добыто стяжание толкуют общи Христовы братии достояние быти, и своя не рекут, елика имут” (кн. V, гл. 7: 2–3).

¹¹ Скажем кстати, что на Пятой главе написание “Повести” самим автором закончилось. Апология католицизма тонкой, но непрерывной нитью проходит по всей “Повести”, а в V-й книге, содержащей “Послание Иоанна Пресвитера”, она, пожалуй, даже доминирует. О.А. Шор отметила, что тяготение “к католицизму, кафоличеству” у В.И. проявилось уже в самом первом поэтическом сборнике: в “Кормчих Звездах” он воспел “разлуки вселенской вест”. Обстоятельства перехода В.И. в католичество (4/17 марта 1926 г.) хорошо известны. О формуле перехода см. новейшее исследование [Шишкин 2003]. Именуя себя “православным в общении с Папой”, под конец жизни (в “Римском дневнике 1944 г.”; цикл “Февраль”) поэт все же ясно свидетельствует о своей приверженности католицизму даже на бытовом уровне и именно ему отдает предпочтение при сопоставлении конфессий:

Милы сретенские свечи
И Христы-младенцы в святки;
Дух лаванды в ночь Предтечи,
В праздник Агнии ягнятки;
Благодатной ожерелья –
Нежных Ave розы-четки;
В среду заговин, с похмелья,
На главах золы щепотки...

Где бормочут по-латыни,
Как-то верится беспечней,
Чем в скитах родной святыни, –
Простодушней, человечней...

В “Повести о Светомире” описана счастливая теократическая страна (Белая Индия), никак не затронутая церковной схизмой 1054 г. В “Повести” однажды – правда, в устах сомнительного лица (Мелетия) – все-таки упоминается ересь латинян: они-де “от Платонова богомудрия отступили и прилепились к Аристотелю”. Но Лазарь-Владарь/Володарь, правитель без страха и упрека, тут же дает отпор: “А что Аристотелю паче послушествуют, разумно творят” (кн. II, гл. 10: 12–13). В дальнейшем он и вообще предпочитает (“православному”) Платону (“католического”) Аристотеля: “Стагирит по земле ходить учит, [...] к действенному целей исполнению мужескую мощь движет”; “Градовладык Платон воспитать тщился втуне; Аристотель же воспитал вселенной владыку” [Там же: стихи 15–17].

¹² Внутри главы сам В.И. предпринимает разбиение текста на малые элементы текста, и эти элементы по объему и принципам фрагментации сопоставимы со стихами Свщ. Писания. Поэтому когда мы говорим о стихах в “Повести”, термин используется в текстологическом, а не в метрическом смысле.

¹³ Так в публикации; следовало бы, однако, принять слитное написание: *нешвена*. Действительно, противопоставления здесь нет; кроме того, хитон Иисуса, о котором бросали жребий, именуется именно *нешвеным*. Ср. по синодальной славянской версии Евангелия (Ин 19:23): *бе же хитон нешвен, свыше исткан весь*.

Здесь заметная пауза должна пройти только в конце первой строки: оборот “Господа благодаряще” (как обычный член предложения – определение образа действия) не может быть вычленен из всей фразы; вставная конструкция (“нешвена, свыше исткана це-ла”), выделяемая интонацией, неизменной паузации также не предполагает.

Следующий стих (16) содержит перечисление, поэтому в нем, даже при отсутствии знаков пунктуации, интонационно-паузальный рисунок – другой, более сложный:

Ныне же, брате добролюбивый,
о жительстве нашем
и законе, и свычаях,
последь и о себе недостойнем,
и о святых наших сокровенных
нечто поведем.

Можно было бы умножать примеры, и всякий раз современное метрико-паузальное членение текста в “Повести”, зависящее от синтаксиса, оказывается иным, новым, а это означает, что перед нами, действительно, проза, и проза простая, поскольку реитерация на первый взгляд не улавливается.

Если же реитерации нет, говорить о самоценности внешней формы текста (в том числе и о его ритмической организации), естественно, никак нельзя.

Не исключено, однако, что повторяющиеся ритмические фрагменты в “Повести” присутствуют, только читать текст нужно **не так**, как современные “мастера художественного слова”, чеканящие прозу Пушкина или Гоголя по периодам.

Однако, как именно? *Negatio* имеет ценность, если взамен отрицаемого предлагается нечто положительное и определенное.

Выскажем догадку от противного. Если современная манера чтения прозы к “Повести” неприложима, то, может быть, надо искать аналоги в какой-либо манере архаичной? Может быть, ориентация В.И. на прошлые эпохи, – в свете этого умонастроения поэта можно назвать *претеристом*¹⁴, – отсылает и к способу чтения, близкому ко временам, описываемым в “Повести”?

Чтобы подтвердить догадку, придется сделать отвлечение. Рассмотрим *погласицу* – принципы архаичного чтения вслух церковных текстов. Надеемся, что в дальнейшем сможем по аналогии судить и о принципах ритмической организации “Повести о Светомире”.

II

В ныне употребительном “Типиконе, сиесть Уставе”¹⁵, при общем описании всенощного бдения указывается, что на утрени по шестой песни канона священник глаголет

¹⁴ В.И. нередко причисляют к *архаистам*, но термин занят, он отсылает к контroversе архаистов (ишиковистов) и новаторов (карамзинистов). Если *футурист* – это последователь “авангардистского течения, отвергавшего культурное наследие прошлого” (определение взято из [БРСРЯ]), то по аналогии и для симметрии *претеристом* мы бы назвали последователя “арьергардистского течения, приверженного культурному наследию прошлого”. К числу претеристов, среди прочих, можно отнести А.К. Толстого, а также, несомненно, Б.А. Садовского, писавшего дворянским языком первой половины XIX в. О том, что В.И. – претерист, стало ясно с момента его поэтического дебюта: когда вышел в свет его первый сборник стихотворений (“Кормчие звезды”, 1903), один из рецензентов метко назвал автора “Тредиаковским наших дней”. Термин *претерист* приложим, пожалуй, лишь к форме (к эстетике, к языку) художественного творчества писателя и отчасти к выбору тематики сюжетов, а если говорить о философской установке, то В.И. можно назвать *религиозным символизмом*, “самым символистским символизмом” (С.С. Аверинцев).

¹⁵ Вот взятое наугад издание (подробно описанное по обороту титульного листа): “Типикон, сиесть изображение чина церковного”. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия книга напечатана “в граде Москве, в лето от Рождества по плоти Бога Слова 1954, индикта 21, месяца януария”. Это издание представляет собой фотомеханическую допечатку Московского синодального издания 1906 г.

малую ектению и произносит возглас "Ты бо еси царь мира", после чего певцы-клирошане поют воскресный кондак и икос. А затем, говорится в Уставе, – *чтѣмъ прологъ*. Таково общее уставное указание: после шестой песни канона на ежедневной утрени положено читать Прѣлог¹⁶.

Это указание неуклонно выдерживается в *месяцеслове*, составившем основное содержание Типикона. Если же упоминание о Прѣлоге пропущено, это не значит, что Прѣлог опускается, – уставное чтение Пролога за каждой утреней настолько разумеется само собой, что напоминать не обязательно. М.Н. Скабалланович подчеркивает, что "это чтение рассматривается Уставом как особенно важное, не отменяясь и в воскресенья с нарочитыми праздниками", а "на будничных утрених это был единственный материал для чтения" [Скабалланович 1913: 286, 287].

Когда же к *месяцеслову* прибавляются, в согласии с лунным календарем, *триодные* "знаменитыя праздники", чтение Пролога (этой малой *минеи*-четьи), казалось бы прочно привязанного к (рассчитываемому по солнцу) месячно-годовому циклу, тем не менее отнюдь не отставляется. Теперь, по Уставу, к нему прибавляется еще *Синаксарь*, то есть чтения из особого, последнего, раздела того же Пролога, соотнесенные со днями седмиц Великого поста и Пасхального цикла.

Короче говоря, Прѣлог, по Уставу, – это неотъемлемая часть ежедневного богослужения (когда служитя утрени и поется канон). Поэтому неудивительно, что в Древней Руси Пролог был в пятерке наиболее читаемых книг¹⁷.

Насколько настойчив и резолютен Типикон, настолько же непреклонна современная церковная практика: Устав систематически не выполняется! Современные церковные

¹⁶ О том, что такое (славянский) Прѣлог, как он возник и каким образом получил свое название (вследствие недоразумения), см. [Верещагин 1996: 84–92].

В кратком изложении история такова. В конце X или в начале XI в. в Константинополе была создана книга, в которую вошли краткие жития святых на каждый день церковного года. Поскольку книга представляла собой сборник житий (из разных источников), она у греков и называться стала *Synaxarion* ("сборник"). Соответственно у славян, которые обычно заимствовали греческие титулы книг, она должна бы была называться *синаксарь*, или *синаксарий*. Греч. *Synaxarion* открывался предисловием, а *предисловие* по-гречески – *prólogos* (отсюда и современное слово *пролог*; в соответствии с правилом ставить ударение по родительному падежу греческих слов). Перевод книги на славянский язык был выполнен, весьма вероятно, на Руси во второй половине XII в. Крупно написанное название греческого предисловия переводчики приняли за название всей книги. Так и стал греческий *Синаксарь* славянским *Прѣлогом*.

Будучи заимствован у греков, *Синаксарь*-Прѣлог, как бы providенчески получив себе на Руси новое имя, почти сразу же оторвался от греческого источника. В него очень рано вошли жития общеславянских святых (Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских; Людмилы и Вячеслава [Вацлава] Чешских), а также жития русских святых – равноапостольной княгини Ольги, равноапостольного князя Владимира, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, основателей русского монашества Антония и Феодосия Печерских, князя-исповедника Михаила Черниговского и боярина его Феодора (и многие другие). Кроме того, в отличие от греческого оригинала, русские книжники почти на каждый день года предложили вниманию читателей и слушателей назидательные поучения (правда, обычно также переводные).

Прѣлог сразу же приобрел широкую известность, стал интенсивно переписываться (сохранилось около трех тысяч рукописных прѣлогов!), а потом и издаваться типографски. Русские составители Пролога черпали из самых разнообразных источников, так что в итоге составила самая настоящая православная энциклопедия. Действительно, Пролог содержит сведения по всемирной, славянской и русской истории. Приобщает к догматике христианского вероучения. Дает географические, медицинские, астрономические, календарные и другие научные сведения. Прививает вкус к возвышенному церковно-книжному славяно-русскому языку. Читать Пролог не только познавательно и назидательно, но еще и увлекательно. Пролог хорошо знали, и не случайно, что он вошел в народное творчество и отразился в фольклоре. А хорошо Прѣлог знали даже и неграмотные, поскольку, по вышеизложенным предписаниям Устава, он во всеуслышание неопустительно прочитывался за богослужением.

¹⁷ На первом месте, естественно, Псалтырь, потом Евангелие, Апостол, служебные *минеи* и на пятом месте – Прѣлог.

православные люди обычно не ведают, что такое Прѣлог, и не знают, где в слове правильно поставить ударение. Не читается Прѣлог и в большинстве старообрядческих церквей и согласий: так, в Москве его не читают ни в храмах Белокриницкой и Ново-зыбковской иерархий, ни у беспоповцев-федосеевцев.

И все же есть, к счастью, в старообрядчестве толк, или согласие, – т.н. (по самоназванию) Древлеправославная Поморская Церковь Христова, – в котором Прѣлог продолжает читаться по Уставу.

Такое небольшое открытие Б.А. Успенский и пишущий эти строки сделали в середине 1960-х гг. Нас тогда очень занимало особое литургическое произношение беспоповцев. Интересовала нас также и вообще манера старообрядческого богослужебного чтения, так называемая *погласица*.

Погласица – это т.н. *отстоявшаяся* (раз за разом повторяемая, т.е. реитеративная) ритмико-мелодическая формула (*попевка*) для произнесения нараспев (речитативом) текстов ветхозаветных паремий, Евангелия, Апостола, молитв, а также (положенных по уставу) нарративно-агиографических (например, из Прѣлога) или гомилетических (например, из Златоуста) текстов.

Тексты Свщ. Писания и молитвы читаются той разновидностью погласицы, которая называется *псалмодической*, а нарративы, в том числе из Прѣлога, – *рассказной* погласицей¹⁸.

Строго говоря, погласица происходит из обычной речевой интонации и могла бы отождествляться с ней, но естественное интонирование в погласице усилено. Погласица, поднявшись на ступень словесного искусства, – искусственна.

Тем не менее разрыв сравнительно небольшой: краткие мотивы-модуляции попевки (в отличие от современного певческого [например, оперного] речитатива и тем более собственно пения) по объему как правило не превышают терции (максимально – квар-ты). Погласицу можно сопоставить с декламационным речитативом, который также не бывает широкораспевным. Однако в отличие от современной декламации, когда сильно варьируется сила голоса, погласица заметных динамических колебаний не имеет.

Как в стихотворной декламации ритм выходит на первое место, так и для погласицы ритм очень важен. У поморцев приходилось наблюдать чтецов, особенно начинающих, которые во время чтения отбивали для себя ритм (пальцем по пюпитру-аналою или легкими взмахами руки).

Погласица – это, собственно, общее название *манеры чтения*. При детальном рассмотрении пространство погласицы состоит из структурных единиц – ритмических групп, которые, однако, устойчивой номинации не имеют.

Прибегнем к аналогии: если *попевкой* называется мелодико-ритмический оборот, повторяющийся в различных *песнопениях* (знаменного распева) и являющийся конструктивным элементом гласа, то *речёвкой* можно назвать повторяющийся мелодико-ритмический оборот в *чтении* определенной погласицей. В музыковедческих терминах попевка и речёвка аналогичны *репризе* (повторению одного и того же [уже изложенного] материала). Как попевки меняются в зависимости от гласа, так и речёвки меняются в зависимости от вида погласицы.

Характерным признаком срединного текста речёвки является постоянное произнесение слогов на одной ноте. Мензуральная продолжительность слогов не является определенной и зависит от чтеца. Инициальная часть речёвки характеризуется подъемом высоты на один тон, а признаком конца речёвки любого вида является относительное (по сравнению с обычной продолжительностью) *удлинение гласной последнего ударного слога*, снижение высоты на один тон, а также относительно продолжительная пауза.

¹⁸ Образчик погласицы последнего рода приведен (под № 4) на CD “Старообрядческое церковное пение” (М., 2005). Квалифицированный чтец воспроизводит речитативом знаменитое “слово на святую Пасху учительное” Иоанна Златоуста, известное у староверов как “Павловы уста”. Справки у издателя по адресу: gia-soyuz@mail.ru.

Это финальное удлинение гласной субъективно может восприниматься как небольшое замедление темпа; в старообрядческой среде (в обиходе) однажды пришлось слышать, как совокупность признаков конца речёвки выразительно назвали *раздумчивостью*. Ниже для показа конца речёвки мы используем один-единственный знак – знак долготы [:], помещаемый после удлиняемой гласной. После ударной долгой гласной может быть еще один безударный слог, или два-три, или (вероятно, максимально) четыре, и в таком случае все они произносятся на одной ноте и в ускоренном темпе.

Внутри речёвки обычно имеется *цезура* (небольшая, но заметная пауза, отделяющая один фрагмент речёвки от другого). Точнее сказать, цезур может быть больше одной. Цезура не нарушает ни мелодики, ни ритмики и способствует восприятию речёвки по единицам – обычно (но не всегда) смысловым. Ниже цезура показывается у нас переносом текста на другую строку.

В задачу статьи не входит исчерпывающее описание феномена *погласицы*, но все же кратко упомянем и о том, что в конце более или менее продолжительного фрагмента текста (и особенно, когда текст совсем завершается), бывает *кода* – намеренное замедление темпа со скандированием отдельных фонетических слов (каждое слово сопровождается паузой). Кода обычно распространяется на конечную строку, но иногда захватывает и предконечную. О приближении коды в тексте Пролога обычно сигнализирует заглавная литера. (Кода в дальнейшем нами не учитывается.)

Именно итеративные речёвки придают проложному тексту *размеренность* (т.е. вносят в него меру). Из прагматичного нарратива (как можно подумать, если читать текст только глазами или “по-современному”) текст преобразуется в эстетический, художественный и поэтический (со стороны внешней, т.е. языковой, формы). Когда чтец читает по речёвкам, он вступает в сотворчество с книжником, составившим проложное сказание. Перед нами самая настоящая синергия.

Рассказную, или (совсем точно) проложную, погласицу мне пришлось слушать у признанных мастериц старообрядческого церковного чтения. О них подробно говорится в другой публикации [Верещагин 1997]. И не только слушать, но и самому учиться читать!

Да, одна из поморских начетчиц (Еннафа Ивановна Горохова) согласилась – случай небывалый! – поучить еретика-“никонянина” читать Пролог. Среди моих записей середины 60-х гг. сохранился переписанный от руки текст проложного Жития мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев (память 20 сентября/3 октября; в старопечатном Прологе [см. сноску 25] листы 71^г–73^г), с разметкой текста для чтения погласицей¹⁹.

Сейчас, через без малого сорок лет, я, имея в виду разрешение проблемы чтения “Повести о Светомире”, решил опубликовать проложное Житие свв. Михаила и Феодора по этой своей учебной записи. Зафиксированные мною речёвки не были случайными, не варьировались произвольно, а отражали общецерковную традицию²⁰. Поэтому если, как будет видно из дальнейшего, В.И. имел возможность познакомиться со старообрядческой погласицей, то он слышал примерно то же чтение, которое практиковали московские поморцы сорок лет назад и – община сейчас процветает – практикуют до сих пор.

В старопечатном Прологе текст, конечно, сплошной, но мы печатаем его в графическом разделении на слова и синтагмы (отражая цезуры и завершения речёвок). Кодо-

¹⁹ Одной вертикальной чертой карандашом я помечал промежуточные паузы (цезуры) и связанный с ними небольшой подъем тона голоса в чтении (подъем тона сигнализирует о незавершенности речёвки), а двумя чертами – “раздумчивость” (удлинение гласной, конечную паузу и падение тона). Переносные магнитофоны тогда уже существовали, но чтица наотрез отказывалась говорить перед “бездушной” машиной.

²⁰ У каждого чтеца – своя погласица, даже если они прошли одну и ту же школу. Индивидуальные особенности отчетливо заметны, но общее и одинаковое в традиционном чтении преобладает.

вых завершений у чтицы оказалось всего двенадцать – все они приходятся на концы пронумерованных нами фрагментов. Сказание о Михаиле Черниговском – сравнительно небольшое, и мы публикуем его полностью²¹.

В той же днь
оубієніе
стѣю мѣнкѣ,
ѡ батѣа| царѣ,
великаго кнзѣ
михаила черниговска|го,
и болярина его ѡбодора.

- 1) (1) Сей блжєный великїи
- (2) кнзѣ миха[:]|илѣ,
- (3) ѡ| юныѣ версты
- (4) бѣа возлюбѣ[:].
- (5) и пречтѣю егѡ| ма[:]|терѣ,
- (6) и оумѣ свой
- (7) к немѣ вперѣ[:]|вѣ,||
- (8) кротостїю и матынею ко Ѹбѡ[:]|гн^м.
- (9) и всѣ пѣ|стошнѣ
- (10) міра сего ѡвѣ[:]|ргѣ,
- (11) богатѣство и слѣ|вѣ соу[:]|етнѣю,
- (12) еже естъ хѣ|ждѣше паучїи[:]|ны.

Во фрагменте 1), завершаемом кодой, всего 8 речёвок, а именно: (1—2; 3—4; 5; 6—7; 8; 9—10; 11; 12). Четыре речёвки (5; 8; 11; 12) не имеют цезуры. Речёвки с двумя цезурами не встретилось. Строка (12) – кода; она исполнена иначе, чем строки (11—12): темп к концу замедлился, конечная гласная не только протянута, но и пропета на два тона (восходящий и нисходящий), пауза длиннее цезурной и речёвочной, имел место глубокий вдох (как подготовка к дальнейшему чтению).

2) В лѣто шесть тѣсаць сѣдмь сотѣ|
четыренадесѣть шестѡе²²,
бысть нахождєніе|
вє(з)кѡжнаго царѣ батѣа,
на роуѣсскѣю зѣмлю|
гнѣвомѣ вѣїмѣ,
за оумнѣженїе грѣхѣ| нашихъ
и разбѣгшимсѣ вѣѣмѣ
хрѣтїа|нѣмѣ, и кнзѣмѣ.
Царѣ же батѣи
при|зываѣ ихъ лѣстїю,
и повелѣ покланѣтїсѣ ѡдолѣмѣ,
канѡви и коуѣстѣ,
слнцѣ же| и ѡгнѣю.
и мнѡзи ѡдѡшѣ сквозѣ ѡгнѣ,
и покланїшасѣ ѡдолѣмѣ,

²¹ Еннафа Ивановна читала по книге, восходящей ко второму изданию Пролога 1642/43 гг. Тем не менее у нее в руках подлинной книги второй половины XVII в. не было. Она читала по добросовестной допечатке начала нашего века, в колофоне которой читается: Иынѣ же препечѣтасѣ во всѣмѣ согласнѣ со оною древлепечѣтною книгою вторымѣ тисненїемѣ въ хрѣтїанскѣй тѣпографїи, при Превѣраженѣскомѣ богадѣленномѣ дѡмѣ, в Москвѣ, въ лѣто зѣкг (= 1915 г.). Этот текст буква в букву, слово в слово, во всем согласно с оригиналом, и помещается нами ниже.

²² = 1238 г.

славы ради свѣта сего,
и души свою погубиша.

3) Блговерныма же тогда
кнзю михайлѹ,
и воларинѹ его ѿеодорѹ
привывающимъ въ чернигоуѣ,
и видѣста мнѡгѣа прельщѡущасѣ,
славою свѣта сего,
и бездѣшнымъ ѿдолѡмъ пожёршихъ,
и о семъ дшѣю поболѣста
и маже даде бгъ блгодѣть
и даръ стѣго дха,
ѣже обличити
царѣ батыѣ прѣлестъ,
ѣюже льститъ хртїаны.
И повѣдаста ѿцѹ своемѹ
дхѡвномѹ мысль свою,
и просїста оу него блгословѣнїѣ,
ѣже царѣ обличїти,
и пострадаѣти за вѣрѹ хртѡвѹ.
онѣ же|| побѣнвѣ ѿ доволно
ѿ стѣго писанїѣ,
и блгословївѣ ѿ,
и ѿпѣстї с миромъ.

4) Кнзѣ же михаилѣ,
и воларинѣ его ѿеодорѣ,
приидѡста къ царю батыю.
царѣ же ноужаше ѣю,
поклонїтисѣ слнцѹ и огню.
она же| царѣво повелѣнїе предвїдѣста,
и ѿдолѡмъ| его не поклонїстасѣ.

5) Царѣ же рече,
почтѡ повелѣнїе моѣ предвїдѣста,
и воуѡмъ моїмъ не поклонїстасѣ
слнцѹ и огню.
Михаилѣ же рече,
недостѡнно єсть хртїанѡмъ|
поклонѣтисѣ твѣри, паче творца (Рим 1:25).
мы| оубо поклонѣмасѣ
стѣи тѣрце
оцѹ и снѹ|
и стѡмѹ дхѹ,
иже єсть єдинѣ бгъ,
твоѣрѣцъ нбѹ и землї (Из Символа веры).

6) Мнѡзи же приходя|хѹ
къ стѡмѹ михаилѹ
ѿ своихъ ємоу,
и| мола|хѹ его глагѡлюще,
сотвори вѡлю| царѣвѹ.

Сѣтъ же михаилъ
никакоже преклониса
къ моленію ихъ.

7) Слышавъ же царь,
ѣко не возможе сѣаго оувѣщати
ласканіемъ| словесъ своихъ,
ни прещеніемъ смѣрти| оустрашити.
ниже слезъ ѿ моленіа своихъ ѣмѡу
молѣщихъ послѣшати ѣмѡу,
ѿ сотворити волю царевъ,
И повелѣ ватынъ|
сѣаго растѣгнѡти
за рѣцѣ ѿ за нозѣ,
ѿ бити немилостивно
по всемоу тѣлу єго.||

8) ѿ на долзѣ вѣемъ
сѣомъ нещадно,
ѣко ѿ земли
крѡвію єго ѡбагритиса.
ѣдинъ же ѿ слоугъ царевыхъ
доманъ именемъ,
иже прежде хртїанинъ бывъ,
потомъ же ѡвергса
вѣры хртїанскїа,
ѡрѣза| ножемъ
чтнѣю главъ
сѣомъ исповѣдникъ,
великомъ кнзю михаилъ,
ѿ ѡверже ю ѿ тѣла.
Сѣомъ же еще
ѡно слово
во ѡстѣхъ глѡущъ,
хртїанинъ єсмь.|

9) Потомъ же начаша глагѡлати
слѡги царевы ѡеѡдоръ,
сотвори понѣ ты
волю царевъ,
ѿ поклониса богѡмъ нашимъ,
ѿ живъ| боудеши,
ѿ великъ слава
ѿ царѣ прїимеши.
ѿ гдѣна твоего
кнзѣ михаила
кнже|нїю наследникъ боудеши.
ѡеѡдоръ же рече,
не хощѣ кнженіа
гдѣна моего,
великаго кнзѣ михаила,
ни славы, юже царь
ѡбѣщаваетъ ми,
ѿ богѡмъ нашимъ не поклѡняюся.

но во хрѣта еди́наго
творца́ нѣѣ
и зе́манъ вѣрѣю,
и за́нь хоцѣ́ пострада́ти,
ѣ́акоже и кнѣзь мой.

10) Видѣвъше же оуби́ныцѣ ѡны,
непрекло́нна того́ пребыва́юща,
ѡбѣѣ́ ѣмше ѣго́,
и немилостивно моу́чаху́,
ѡко́же и вели́каго кнѣзѣ ми́хаила.
послѣднѣ́ же и чти́ую ѣго́ главѣ́
мечѣмъ ѡсѣкѡ́ша. ||
рѣкше сѣце́,
ѡко́ и сѣнцѣ́ не хотѣ́ста покло́нитисѣ́,
на́ньже недосто́йна сѣ́ща и зрѣ́ти.

11) И тако пострадаста
стѣла мѣнка,
и бѣгоу дарѣща хрѣта,
предѣста стѣла своѣ дшѣ|
в рѣцѣ гдѣви,
мѣца септѣврѣа
въ кѣ днѣ.]
Стѣла же тѣлесѣ ѿхъ
повѣржена быста
псѣмъ| на снѣдѣніе.
на многѣ же днѣ
лежащима| ѿма,
и бѣгодѣтїю хрѣтѣвоу
неврѣжена прѣбѣста.
Бѣу прославляющѣ
стѣла своѣ| чудесы,
стѣлпѣ во ѿгнѣныи
ѣвисѣ надъ| тѣлесы ѿхъ,
сїѣющѣ пресвѣтлыми зарѣ|ми,
и свѣщїи на многѣи нѣщи
горѣща| зрѣхъ.

12) Видѣвъше же то
прилѣчѣху ѿ сѧ въ рѣкѣ,
ѣже погребѣша
честнѧ
ѿ хѣ тѣлеса,
благодарѣше
бгѧ
прославляющаго
сѣбѧ
своѧ

Источник интересен в лингвистическом отношении. Сейчас, однако, мы сосредоточимся только на особенностях паузации и отчасти интонирования.

Во-первых, если отвлечься от начала и конца текста, когда читающий наращивает или, напротив, замедляет темп и возможно скандирование одного слова²³, то основной массив сказания читается по *тактам*²⁴. Такт может быть равен речёвке, а может быть меньше речёвки: тогда такты, имеющие цезуру, (в количестве по крайней мере двух) бывают структурными единицами речёвки.

Такты никогда не состоят из одного-единственного фонетического (т.е. имеющего *икт*²⁵) слова. Такт состоит из носителей как минимум двух *иктов*: *сей блаженныи великий / князь михаил / от юныя версты / бога возлюб / и пречистую его мать* и т.д.

Во-вторых, наблюдаются и такты, содержащие не два, а три *икта*: *крѡтостию и милостыню ко убогим /, богатыство и славу съетную /, еже есть хуждыее научины /* и т.д. Тактов, которые имели бы четыре *икта*, ни в рассматриваемом тексте, ни вообще в наших наблюдениях не встретилось. Даже там, где синтагма состоит из четырех и пяти единиц, *чтец* разделяет ее или пополам или на двух*икт*ный и трех*икт*ный такты.

В-третьих, имеются такие единицы текста, которые никогда не могут быть самостоятельными носителями *икта*. Таковы, предлоги, послелого, союзы и союзные слова, составляющие слог или два (*о, у, от, ко, во, на, за, над, сквозе, ради*²⁶; *и, но, яко*), а также однослоговые частицы (*не, ни, ниже, же, бо, ся*) Сказанное не означает, что *икт* не может падать на предлог (ср.: *за руце, за нозе*); сказанное означает, что в таком случае слово (носитель лексической семантики) остается без ударения.

Наконец, в-четвертых, бывают и такие единицы текста, которые могут быть, а могут и не быть носителями *икта*. Тогда постановка *икта* определяется *чтецом*: если ему нужно образовать такт, то местоимение получает *иктовое* ударение (*и ѹм свой / к нему вперив /, и вся пустошина /, еже обличити /* и т.д.); если же такт образуется полными словами, то местоимение приравнивается к предлогу или послелогу и соответственно *икта* не имеет (*и пречистую его мать /, мира сего отвѣрг /, призывая их лѣстню* и т.д.). Потенциальными носителями *икта* бывают, как сказано, местоимения разных категорий и (безударные) вспомогательные глаголы.

Когда обычно безударные элементы текста скапливаются, то один из них как правило имеет *икт*: *еже есть хуждыее научины /, еюже льстит християны /, он же поучив я доволно /, и о сем душою поболѣста /* и т.д. Имена существительные, прилагательные, глаголы, наречия, числительные (т. е. полные категории) – *икт* имеют всегда.

Таким образом, квалифицированный *чтец* вырабатывает в себе чувство двух- или трех*икт*ового такта, поэтому он заранее видит, каков ближайший для произнесения текст и членит его так, чтобы в остатке не получилось как четырех-, пяти-, так и одно*икт*ового такта.

При этом синтактико-смысловые связи между полными словами могут быть “принесены в жертву”, т.е. пауза может (пусть и редко) вклиниться, например, между согласованными друг с другом прилагательным и существительным (чего обычно не бывает в современной культуре чтения прозы). Например, *сей блаженныи великий / князь михаил*. Ср. еще случаи “разрушения” сильных синтаксических связей: *и разбѣгшимся всем / християном и князем; ни славы, юже царь / обещавет ми*. Таких случаев немного, и складывается впечатление, что составитель сказания, пища свой текст, проговаривал его и старался избежать таких конструкций, когда приходится вставлять паузу в “неподобающем” месте.

²³ В начале и конце текста пауза может быть после каждого слова: *благодаряще / бога / прославляющаго / стяжя / свой*, но устойчивые (связные) словосочетания не разрываются: *убиеніе / святую мученику / от Батія царя / великаго князя / михаила черниговскаго*.

²⁴ *Такт* – межаузауовый текст; текст, в начале и в конце которого имеются паузы, в том числе цезурные.

²⁵ *Икт* – сильное, или словесное, ударение. Иктом одно фонетическое слово отделяется от другого. Слабые, или побочные, ударения в настоящем исследовании не рассматриваются.

²⁶ Двусложные предлоги получают побочное (не *иктовое*) ударение.

Если читать прѣложное сказание о Михаиле Черниговском только глазами или даже вслух, но по современной практике паузирования синтаксически цельных периодов, то, конечно, перед нами – обычная проза. Проза без ритмизации. Но если читать, руководствуясь воспитанным чувством тактового деления текста и внятно подчеркивать икты, то имманентно готовый быть ритмическим текст выявляет свои потенции.

III

Возвращаемся к анализу внешней стороны текста “Повести о Светомире”.

Ниже мы предприняли попытку расписать текст одной главы (1-й из Части пятой, стихи 1–16; [СС 1971: 352–357]) по принципам рассказной погласицы, подробно описанным выше. В половине стихов (1–8) мы, обозначив долготу конечной гласной, показали также концы речѣвок.

1. Бѣгу во святой,
единосущней,
свѣтоначальной
и животворящей
Трѣице слá[:]ва.

2. Иоáнн Пресви[:]тер
держáвному Владáрю²⁷ рá[:]доватися.

3. Венчающуся тебѣ
венцѣм кесáрским сорá[:]дуюся
и благословѣн да бѣдет престѣ[:]л твой
Гѣспода сил молю[:]

4. Смирѣнный пресви́тер Иоá[:]нн,
милостию Бѣжию еди[:]нный
от наро́доправителей христиá[:]нских,

5. могу́щ сый не стрáнных
и звѣронрáвных племѣ[:]н
слѹ́жбою подъярѣ[:]мною,
но влады́чествующего нарѣ́да моего́[:]
числѣм и трудѣм[:],
и мѹ́жеством, и единомы[:]слием,

6. ктому́ и земѣль прострá[:]нных
неоску́дным плѣдоноше́[:]нием,
и рѹ́д горных
и кáмения сáмоцвѣ[:]тного
изобѣ́лием, веселя́щим ли
ѣ́ко со[:]лнечное
или в нѣдрах сокровѣ́[:]нным.

7. Послѹ́шествуют мнѣ[:]
христѣлюбѣ́вых царѣй[:]
двѣ́на[:]десять,

²⁷ Такое ударение дает сам автор (I–16:6; II–23:8). Для него важна одинаковая акцентуация имен *Владáрь* и *Лázарь*.

и трѣе от них при мнѣ живу[:]:т
в митропóлии держáвы нá[:]:шея,
споспѣшествующе мѝ[:]:
совѣтом и смотре[:]:нием, -
прóчий²⁸ же над трѣми другѝ[:]:ми
частя́ми ца́рства поста́[:]:влены,
по три царя в каждой ча́[:]:сти.

8. Причті к сѝм
и господáрей язы[:]:чествующих,
под нáшу рúку
вóлею приста́[:]:вших
и окрѣстные области держа́[:]:щих,
их-же к вода́м крещѣ[:]:ния
не хóщем нуди[:]:ти.

9. Писáх же сѝе не в похва́льбу²⁹,
но да не оста́нешися
о нáс в неведѣнии,
егдá мно́гообразный
помы́слиши соста́в
на земли Цѣ́ркве Христо́вы,

10. и взаимодей́ственни да бúдут
в бóгоздáнном согла́сии
все úди Едѝного Тѣла.

11. Достóит бо тебѣ испѣ́рва
блáгонадѣ́жну бы́ти,
я́ко мы от пра́вого
исповѣ́дания едѝны́е
святы́е, соборны́е
и апостольскіе Цѣ́ркве
и от преда́ния святоотѣ́ческаго,
еще и мно́гими е́ресьми прельща́ми,
нико́лѣже есмы́
ни в ма́ле не отступѝли,

12. я́коже и сáм о то́м
известѝтися мóжеши
словѣ́сным испытáнием
послóв моих,
са́ном священ́ства мне ра́вных.

13. Отсѣ́льници есмы́
но́выя Трѣ́и,

²⁸ В СС явно ошибочно: *прочий*.

²⁹ Ударение продиктовано ритмикой. В.И. иногда сам показывает отклонения в ударении от современной ему литературной нормы; см. ниже (11) *испѣ́рва* (ударение автора. – *Е.В.*) (ср. *сперва́*), (14) *Конста́нтиня града́* (ср. отпуст Литургии Иоанна Златоуста: “Иоáнна, архиепископа *Константѝнѣя града́*”). Ср. также другие авторские постановки ударения в сомнительных случаях: *на́шепты* (I–20:8), во *темно́м* бору (II–1:6), на *чистѝй* прогалине (I–1:1), по заветну *бѣрежку* (там же), *ка́менем* самоцветным (II–15:6), в *подне́бесье* (II–18:8), *та́инственно* (II–18:8) и т.д.

еже Визáнтии³⁰ ѿмя
та́йное ёсть
по сказа́нию дрéвнему.

14. О́трасль хва́лимся бѣти
ца́рственного Констан́тина града,
далѣче процвѣтша́я
пре́жде ра́спри
с Рѣ́мом пе́рвым,

15. о не́й-же изво́лися нам
ничесо́же ве́дети,
Го́спода благода́ряще,
яко хито́на Спаси́телева, нешвѣ́на,
свѣ́ше исткана́ цѣла,
не преде́рбо́хом ниже раздели́хом.

16. Ны́не же, бра́те
до́бролюби́вый,
о жи́тельстве на́шем
и зако́не, и свѣ́чаях,
после́дь и о себе недо́стойнем,
и о свѣ́тънях на́ших
сокро́венных не́что пове́м.

Надо сразу отметить, что прочтение “Повести о Светомире” прѣложной поморской погласицей не только вполне возможно, но и легко удаётся. Навык членения текста на речѣвки вырабатывается немедленно.

Однако по сравнению с тем, что было изложено выше применительно к Прѣлогу, имеется некоторое своеобразие.

Так, во-первых, в прѣложном сказании о Михаиле Черниговском практически не встретились *composita*, т.е. сложные (состоящие из двух-трех лексических основ) слова, несущие два-три ударения. Если в согласии с современной орфоэпической нормой лишь одно из ударений может быть главным, а остальные считаются побочным (*единосу́щный, жи́вотворя́щий*, [в богородичном акафисте] *благосе́нноли́ственный*), то в чтении погласицей, как показывает опыт, сложное слово может составить отдельную речѣвку (с двумя равноценными ударениями) [см. стих (1)].

Кроме того, во-вторых, если в прѣложном чтении мы не видели более двух цезур в речѣвке, в тексте В.И., как можно допустить, встречаются три-четыре цезуры [см. опять-таки стих (1)]. С другой стороны, бывают такие фрагменты, которые состоят сплошь из речѣвок и соответственно цезур вообще не имеют.

Наконец, в-третьих, размеренность текста заставляет иногда приписывать слову такое ударение, которое противоречит современной орфоэпической норме [например, (9) *в похва́лбу*, (11) *испе́рва*] Собственно, орфоэпические особенности живой речи В.И. неизвестны, но тем не менее поэт и сам сознавал необходимость в некоторых случаях проставлять в “Светомире” ударения, чтобы не заставлять читателя колебаться. Откровенно говоря, было бы лучше, если бы В.И. к постановке ударения прибегал почаще. Надо также не забывать, что В.И. мог держаться, никак ее не показывая, церковнославянской акцентуации.

Таковы априорные размышления.

³⁰ Ударение продиктовано ритмикой.

Но мог ли сам В.И. стремиться именно к речитативному прочтению своего “Светомира”? Исключать этого нельзя: как филолог-классик он хорошо знал напевную декламацию античной трагедии и Гомеровского эпоса, а “Повесть” – это “баснословие” (стало быть, эпос).

Мог ли, однако, В.И. практически знать старообрядческую погласицу или хотя бы быть с ней знакомым? Вопрос не праздный, ибо та погласица, которая принята в новообрядческой церкви (например, при чтении Апостола или шестопсалмия), к чтению вслух “Повести о Светомире” не подходит³¹. Прямой ответ дать невозможно, но косвенные показатели склоняют к позитивному ответу.

Действительно, В.И. был близко знаком с перешедшим в католичество священником Владимиром Абрикосовым (1880–1966), а тот происходил из коренной старообрядческой купеческой семьи, в католичестве остался в восточном обряде и, почти несомненно, переносил в богослужение усвоенные с детства навыки чтения. Имеется в виду тот самый “о. Абрикосов”, который переводил поэта в католичество, а затем, по свидетельству Джона Мальмстада, часто с ним виделся. Кроме того, В.И., по самосвидетельству, читал – увлеченно! – с иностранными студентами Руссикума духовные стихи. “Читал”, а не “пел”; читал же, надо думать, не как Достоевского, а иначе.

Итак, по скромному опыту автора этих строк, чтение погласицей действительно позволяет заметить, что весь текст первых пяти книг “Повести о Светомире царевиче” (впрочем, и последних четырех, написанных О.А. Шор, но здесь с отступлениями) написан путем проговаривания на основе одной и той же метрической схемы. Ритмичность “Повести” отмечал и сам поэт, а мы попытались всего лишь догадаться, каково качество этой ритмичности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- БРСРЯ – Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2000.
- Венцлова 1988 – Т. Венцлова. О мифотворчестве Вячеслава Иванова: “Повесть о Светомире царевиче” // *Cultura e memoria. Atti del III Simposio Internazionale dedicato a V. Ivanov*. Firenze, 1988.
- Верецагин 1996 – Е.М. Верецагин. Христианская книжность Древней Руси. М., 1996.
- Верецагин 1997 – Е.М. Верецагин. Проложное житие великого князя Михаила Черниговского, тезоименитого прадеда Михаила Ярославича Тверского, в прочтении поморской погласицей // Великий князь Тверской и Владимирский Михаил Ярославич: личность, эпоха, наследие. Сборник докладов. Тверь, 1997.
- Гей 1996 – Н.К. Гей. Имя в русском космосе Вяч. Иванова (“Повесть о Светомире царевиче”) // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996.
- Грек 2004 – А.Г. Грек. Поэтический язык Вячеслава Иванова. Дисс. ... док. филол. наук. М., 2004.
- Иванова 1990 – Л.В. Иванова. Воспоминания. Книга об отце / Подготовка текста и комментарий Дж. Мальмстада. Paris, 1990 (фотомеханическое воспроизведение: М., 1992).
- Скабалланович 1913 – Толковый Типикон. Объяснительное изложение Типикона с историческим введением / Составил [...] М. Скабалланович. Вып. II. Киев, 1913 (допечатка: М., 1994).
- СС – Вяч. Иванов. Собрание сочинений в 4-х томах / Под ред. Д.В. Иванова, О.[А.] Дешарт, с введением и примечаниями О. Дешарт. Брюссель, 1971–1987.
- Шишкин 2003 – А.Б. Шишкин. “Россия” и “Вселенская Церковь” в формуле Вл. Соловьева и Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов – Петербург – мировая культура. Материалы международной научной конференции 9–11 сентября 2002 г. Томск; Москва, 2003.

³¹ Отчасти подошла бы погласица, характерная для чтения (особенно диаконом на литургии) Евангелия, но все же не так хорошо, как проложная.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2006 г. В.Г. КУЗНЕЦОВ

**Ф. ДЕ СОССЮР И А. СЕШЕ. МЕСТО РАБОТЫ А. СЕШЕ
“ПРОГРАММА И МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ”
В ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

Статья посвящается работе А. Сеше “Программа и методы теоретической лингвистики” (1908), которая должна занять достойное место в истории языкознания. В этой работе, опубликованной за восемь лет до издания “Курса общей лингвистики” Соссюра, были сформулированы такие фундаментальные понятия, как язык и речь, синхрония и диахрония, произвольность знака, понятия значимости и системы. Более того, в самом начале XX века А. Сеше предвосхитил проблематику, получившую развитие значительно позже.

Альбер Сеше (1870–1946) – основатель, наряду с Ш. Балли, Женевской лингвистической школы, – широко известен как один из издателей “Курса общей лингвистики” Ф. де Соссюра, лекции которого слушал с 1891 по 1893 гг. С 1893 г., предположительно по совету Соссюра, Сеше продолжил образование в престижном в то время Лейпцигском университете. Уже в своей докторской диссертации, посвященной истории французского сослагательного наклонения [Sechehaue 1902], Сеше разработал, очевидно, не без влияния идей Соссюра, революционный для того времени подход: исследование синтаксических диахронических фактов с позиции системы.

В дальнейшем вся научная жизнь Сеше была связана с Женевским университетом. Он стал первым председателем созданного в 1940 г. Женевского лингвистического общества. Сеше много сделал для пропаганды и популяризации учения Соссюра. Поэтому его по праву можно считать основателем “соссюрологии” – направления, которое в дальнейшем было развито представителями Женевской школы – Р. Годелем, Р. Энгле-ром и Р. Амакером. Помимо методологических проблем общей лингвистики Сеше успешно занимался теорией грамматики (основная работа “Очерк логической структуры предложения” [Sechehaue 1926]), а также вопросами связи лингвистической теории с общественной языковой практикой.

Малоизвестно, что Сеше был не только крупным ученым, но и общественным деятелем. Являясь главным редактором журнала “Эссор” (Essor), он выступал с публицистическими статьями об опасности фашизма для народов Европы. В качестве председателя Швейцарского комитета за посредничество и гражданский мир в Испании Сеше активно выступал в поддержку справедливой борьбы испанских патриотов. О высоком гражданском мужестве Сеше свидетельствует его выступление в 1937 г. на страницах прессы против присуждения Муссолини степени почетного доктора. В 1942 г., в разгар Второй мировой войны, Сеше вступил в движение “Новое демократическое действие”.

В отличие от Ш. Балли круг научных интересов А. Сеше во многом сформировался под влиянием Соссюра. Это проявилось в его первой крупной работе “Программа и методы теоретической лингвистики” [Sechehaue 1908], которой посвящена данная статья.

Опубликованная за восемь лет до издания “Курса общей лингвистики” Соссюра работа Сеше [Sechehaye 1908] представляет большой интерес в двух отношениях. Во-первых, в ней содержатся, а иногда и излагаются более глубоко многие положения учения Соссюра. Во-вторых, она представляет собой попытку построения теоретической лингвистики в период, когда эта наука была преимущественно эмпирической. Даже позже в эпоху, когда Соссюр читал свой курс по общему языкознанию, “лингвистика занималась исключительно изучением языковых изменений под физиологическим и психологическим углом зрения. Всякий иной подход рассматривался как невежество или диалектизм” [Ельмслев 1965: 111].

На предвосхищение идей Соссюра обратили внимание многие лингвисты (Ш. Балли, Р. Якобсон, М. Леруа, П.Я. Черных). Интересно замечание Г. Шухардта о том, что многое из того, что у Соссюра кажется неясным, находит разъяснение в работе Сеше “Программа и методы теоретической лингвистики” [Шухардт 1950: 185].

В более позднее время историк науки о языке из ФРГ П. Вундерли выступил на международном коллоквиуме в Трире в 1975 г. с докладом, смысл которого заключен в его названии “Соссюр как ученик Сеше?” [Wunderli 1976]. Но канадский лингвист Э.Ф.К. Кёрнер, внесший большой вклад в “соссюрологию”, выразил несогласие с мнением Вундерли. Как будет показано ниже, влияние Соссюра на Сеше преобладало гораздо в большей степени.

В посвящении Сеше подчеркивал, что именно Соссюр пробудил в нем интерес к общим проблемам лингвистики и именно ему он “обязан теми принципами, которые освещали... путь к научным исследованиям” [Сеше 2003: 34]. При этом Сеше замечает, что хотя впоследствии его мысль стала развиваться в собственном направлении, “на каждой странице этой книги он старался заслужить” одобрение Соссюра. Там же отмечается, что Соссюр прочитал книгу в рукописи и поддержал своего ученика.

До выхода книги Сеше Соссюр прочитал только первый из трех курсов общей лингвистики. Однако, как показали исследования личных записей и заметок Соссюра, проведенные Р. Годелем, Р. Энглером и Р. Амакером, вопросы общей лингвистики являлись предметом размышлений Соссюра задолго до того, как он приступил к чтению лекций. А. Сеше вспоминал, что еще в 1891 г. в лекциях по морфологии в Парижской высшей школе практических знаний Соссюр уделял пристальное внимание различению синхронических и диахронических фактов [Godel 1957: 33]. По свидетельству самого Соссюра, он начал заниматься проблемами общей лингвистики до 1900 г., точнее к 1894 г. [там же]. Более того, понятие системы присутствовало в его знаменитом “Мемуаре о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках” (1879). Идеи системы в синхронии и диахронии излагались Соссюром и в лекциях по индоевропеистике, которые Сеше посещал с 1891 по 1893 гг. Р. Гodel пишет: «В общих чертах доктрина Соссюра сформировалась гораздо раньше 1900 г., а в записях А. Ридлингера даже указана точная дата “15 лет назад”, сказал сам Соссюр в январе 1909 г.» [Godel 1957: 31]. Балли упоминал в 1913 г. о беседах с Соссюром на эти темы, состоявшиеся более 20 лет назад [Bally 1913]. Таким образом, идеи Соссюра стали известны Сеше из трех источников: “Мемуара”, лекций и особенно из личных бесед.

Основанием для построения теоретической лингвистики у Сеше служат, с одной стороны, классификация наук, а с другой, – психология. Последняя фигурирует и в полном названии книги [Сеше 2003]. В конце XIX– начале XX в. разные разделы языка тяготели либо к психологии, физиологии, либо к логике. Морфология – к психологии, фонетика – к физиологии, синтаксис – к логике, что проявляется в работе Сеше.

Вопросу классификации наук в начале XX в. уделялось большое внимание. Об этом свидетельствует популярная в то время работа А. Навиля “Новая классификация наук. Философское исследование” [Naville 1901]. Этот ученый был родственником Ф. де Соссюра, и последний написал для этой книги одну страницу о семиологии, по всей видимости, не привлекая внимания Сеше.

Современную ему лингвистику Сеше характеризует, пользуясь терминологией Навиля, как науку фактов. Она накопила большое количество важных фактов, но не в состо-

нении их объяснить. Так, историческая лингвистика описала процесс звуковых изменений в языках или группах языков, но не может представить причины этих изменений. А лингвистическая наука в целом ничего не говорит о закономерностях, присущих языку, и законах его функционирования. Сеше даже считал, что лингвистика мало продвинулась в решении этих вопросов со времен Аристотеля. Исключение составляют лишь попытки В. Гумбольдта построить теорию языка.

Сеше выдвигал в качестве задачи теоретической лингвистики дополнить науку фактов наукой законов. При этом он подчеркивал их взаимосвязь, “поскольку исторические факты составляют материал науки законов, существующей только ради них” [Сеше 2003: 38]. “Теоретическая лингвистика соединяет подобное и пытается выявить постоянные отношения, поднимаясь индуктивно от частных фактов к высшим принципам и дедуктивно спускаясь от них к отдельным фактам, объясняя их как обязательное проявление этих принципов в данных условиях” [там же: 65]. В отличие от фактов, существующих во времени – прошлом или настоящем, источники, устанавливаемые наукой законов, “не имеют ни даты, ни привязки к месту, они всегда и везде верны”. Другими словами, закономерности, устанавливаемые теоретической лингвистикой в понимании Сеше, должны носить универсальный и панхронический характер. Здесь чувствуется влияние традиций французской лингвистики с ее логическим, рационалистским картезианским подходом к языку со времен Пор-Рояля.

Сам Соссюр, ставя вопрос о возможности изучать язык с панхронической точки зрения, ограничивал ее только общими принципами. “В лингвистике, как и в шахматной игре, есть правила, переживающие все события. Но это лишь общие принципы, не зависящие от конкретных фактов...” [Соссюр 1977: 128]. Панхроническая точка зрения, считал Соссюр, предполагает выход за пределы лингвистики, поскольку “в панхронии речь идет только об обобщениях” [Engler 1968: 38]. Таким образом, в этом отношении Сеше сближается не только с Соссюром, но и, как будет показано ниже, с Л. Ельмслевым.

Тематика книги Сеше была необычна для современной ему западноевропейской лингвистики. Эту новизну отметил Соссюр в своей неоконченной рецензии [Соссюр 1990].

Соссюр, будучи философом языка, не мог не задуматься о месте лингвистики среди других наук. В упоминавшейся работе А. Навиля Соссюр определяет лингвистику как часть “очень общей науки, которая называется семиологией, и предметом которой должны быть законы создания и преобразования знаков и их смыслов” [Naville 1901: 104]. Признавая, что “в языке все психологично”, он признавал связь лингвистики с психологией через семиологию. В связи с этим он критиковал в рецензии Сеше, рассматривавшего лингвистику “как простое ответвление... индивидуальной или когнитивной психологии”. “Если действительно хотят создать Психологию языка..., то существует настоятельная необходимость прежде всего соотнести лингвистику с другими науками, которые представляют для нас интерес: например, лингвистика и социальные науки..., чтобы с самого начала было известно, в какой мере можно сюда привлечь и психологию” [Соссюр 1990: 167]. Лингвистика не является психологической наукой уже в силу того, что “психологи никогда не учитывали фактор времени” [там же: 196]. Психология может заниматься языковой “материей”, но не с точки зрения лингвистики, поскольку она не способна распознать объект последней – языковой знак в единстве его сторон. В заключении рецензии Соссюр пишет: “я должен еще раз сказать, что оправданное или неоправданное вхождение лингвистики в психологию не освобождает лингвиста от обязанностей выявления того, чем лингвистика отличается от психологии” [там же: 169]. Отметим, что в последующих работах Сеше учел критику Соссюра: “Психологическое определение, которое является ошибочным, потому что опирается на неверную концепцию языка как психологической реальности, нужно заменить определением социологическим, согласующимся с признанным фактом подлинной природы языка” [Sechehayе 1942: 49].

Оценивая современное ему языкознание начала XX в., Сеше писал, что “теоретическая наука, которая ни в чем не помогает практике, не только не опережает, а плетется

за ней; такая наука рискует дискредитировать себя как наука бесполезная” [Сеше 2003: 43]. Фундаментом для построения теоретической лингвистики должна стать психология, поскольку “язык есть психическая деятельность человека, которая осуществляется посредством его организма” [там же: 45]. Здесь проявляется влияние В.Вундта, предложившего общую классификацию наук. Он делил все науки на две основные группы: науки о материальном мире (естественные науки) и науки о духовном мире (гуманитарные науки). К последним Вундт относил и филологические науки. Центральной наукой он считал психологию, которая должна занимать промежуточное положение между естественными и гуманитарными науками, объединяя их друг с другом.

Высоко отзываясь о вкладе Вундта в разработку фундамента теоретической лингвистики, Сеше в то же время критикует его за недостаточный учет лингвистического аспекта языковых явлений. “Суть критики, которую мы считаем необходимым высказать в адрес Вундта можно выразить несколькими словами: ...он не понял важности грамматического аспекта” [Сеше 2003: 50]. Под “грамматикой” Сеше понимал системно-структурную организацию языка. “Объектом грамматической проблемы является... сам язык как таковой, лингвистический организм...” [там же]¹. Здесь намечено выделение того, что получило название “язык” в теории Соссюра. Сам Соссюр считал, что Сеше не до конца пошел в этом направлении: “В общем г-н Сеше, справедливо упрекнув Вундта за игнорирование грамматики, сам недостаточно полно представляет ее проблемы. Ибо основная идея заключается в том, чтобы представить грамматический факт довлеющим самому себе, показать, чем он отличается от любого другого психологического или логического факта” [Соссюр 1990: 168].

Осознавая сложность построения теоретической лингвистики, Сеше отмечает, что его задача “лишь наметить программу. Создать ее целиком – дело более долгое... Однако всегда полезно наметить хорошо продуманный и обоснованный точными расчетами план” [Сеше 2003: 64]. Он разграничивает в языке два аспекта: устойчивый грамматический элемент, относящийся к ведению коллективной психологии, и внеграмматические элементы, не подчиняющиеся конвенциональным правилам и относящиеся к индивидуальной психологии.

Основываясь на работе А. Навиля [Naville 1901], Сеше разработал оригинальный метод включения одних лингвистических дисциплин в другие. “В соответствии с этим принципом различные науки *включаются* одна в другую, а проблемы рассматриваются последовательно в определенном порядке, распределяясь таким образом, что решение первой проблемы подготавливает решение второй, представляя для этого необходимый элемент” [Сеше 2003: 70]. Здесь, несомненно, чувствуется влияние Декарта. “Задача индукции состоит именно в том, чтобы с использованием абстрагирования восходить от одного уровня к другому, от более частного к более общему..., а дедукция синтезирует, используя те же абстракции, только в обратном направлении” [Сеше 2003: 71].

Таким образом, понятие “вхождение” у Сеше основано, с одной стороны, на системных связях между разными разделами языка, а с другой, – на отношениях дедукции. В целом отзываясь одобрительно о теории Сеше вхождения одной науки в другую, которую Соссюр называет “вторым тезисом г-на Сеше по поводу общей классификации наук наряду с теми положениями, которые составляют его Психологию языка”, ему представляется странным, что “каждое подразделение лингвистики... выводится дедуктивным путем, и этот дедуктивный путь представляется достаточным для целей классификации” [Соссюр 1990: 168–169].

Сеше предложил три критерия, на основе которых одна наука включается в другую: 1) “факты, которыми занимается наука, включающая другую науку, должны быть доступны осмыслению” [Сеше 2003: 73], т. е., говоря другими словами, могут быть абстрагированы. 2) 2-й критерий реализуется в отдельных случаях, часто он включается в 1-й:

¹ Согласно Соссюру, “любая структура, любая система, предполагающая элементы в их современном состоянии, есть грамматика” [Engler 1968: 26].

“Это всего лишь перенос в конкретное, в природу первого признака” [там же: 74]. 3) “...наука, включающаяся в другую, всегда изучает более сложные явления и чаще всего более конкретные, чем наука, которая ее включает” [там же: 75]. Исходя из этих критериев, Сеше включает коллективную психологию в индивидуальную.

Очевидно, под влиянием Вундта и исследований по психологии детской речи французских и швейцарских ученых, популярных во время написания работы, Сеше выделяет “дограмматичный” и “грамматичный” язык. Это выделение играет важную методологическую роль в лингвистической концепции Сеше.

Грамматический язык Сеше определял как “продукт действия коллектива, носящий характер условного правила” [Sechehaye 1908: 78]. Грамматическому как принадлежности языкового коллектива предшествует так называемый “дограмматический язык” (le langage prégrammatical), характеризующийся самопроизвольностью, спонтанностью, индивидуальностью и неконвенциональным характером связи между выражением и содержанием. В более поздней работе “Очерк логической структуры предложения”, вернувшись к этому вопросу, Сеше определяет “дограмматическое” как “свободное и спонтанное выражение, предшествующее любой условной (языковой) организации” [Sechehaye 1926: 219]. Понятие “дограмматический язык”, отмечает Сеше, является скорее абстракцией, так как трудно наблюдать языковой акт, в котором не было бы социально обусловленной связи в употребляемых средствах выражения. Даже инстинктивный, естественный крик, например, крик боли, в известной мере, конвенционален (характеризуется стереотипностью).

В наибольшей мере к гипотетическому “дограмматическому языку” приближается, по мнению Сеше, детский язык, особенно на тех стадиях, когда ребенок начинает говорить. В этот период ребенок широко использует звукоподражательные слова, жесты; мысль выражается односложными словами или простым соположением слов.

Можно выделить следующие признаки, служащие Сеше для противопоставлений “дограмматического языка” и “грамматически организованного языка”:

Дограмматический язык

1. Индивидуальный
2. Явление в развитии
3. Несистемный
4. Имплиcitный характер выражения
5. Связь между выражением и содержанием неконвенциональна
6. Аффективный

Грамматически организованный язык

1. Коллективный
2. Продукт развития
3. Системный
4. Эксплицитный характер выражения
5. Связь между выражением и содержанием конвенциональна
6. Интеллектуальный

Р.О. Шор справедливо отмечала, что различие дограмматического и грамматического языка Сеше кладет в основу своего построения теоретической лингвистики [Шор 1927: 53]. По мнению Сеше, теоретическая лингвистика должна состоять из двух основных частей. В задачу первой части, относящейся к индивидуальной психологии, входит изучение “дограмматического языка”. Учение об организованной речи Сеше относит к области коллективной психологии.

“Дограмматическое” и “грамматическое” в языке Сеше рассматривает не как взаимообусловленные явления, а с точки зрения их следования: “дограмматическое” необходимым образом предшествует “грамматическому” и служит для него своеобразной средой. Любое грамматическое явление, по мнению Сеше, имеет индивидуальное происхождение, формируется на базе до-, или внеграмматического акта и превращается со временем в грамматику. Процесс взаимодействия между “дограмматическим” и “грамматическим” в языке протекает постоянно.

В учении Сеше о дограмматическом и грамматическом языке содержится идея разграничения индивидуального и социального, эволюции и статики, эволюционный подход перекликается с генетическим. В то же время эти идеи Сеше предвосхищают сосюровские дихотомии языка и речи, синхронии и диахронии.

Итак, “дограмматическое” у Сеше – это сфера индивидуального со всеми присущими ей свойствами, “грамматическое” – это сфера коллективного, выступающее как обезличенное, абстрагированное от конкретного индивида. В дограмматическом языке индивид создает знаки², которыми он выражает душевные состояния; в грамматическом же он воспроизводит знаки, употребляемые другими. Но в последнем случае мы имеем дело не с собственно знаками, а с символами. Понятие символа Сеше восходит не к Соссюру, а к Аристотелю. Символ имеет две стороны: знак и значение, обе идеальной природы. Как только образовалась двусторонняя связь, вместо знака мы имеем символ, т.е. понятие знака, которое ассоциируется с понятием значения, что может быть представлено формулой: понятие $a = \text{знак } b$, “отсюда происходит любая грамматика” [Сеше 2003: 108].

В отличие от Вундта Сеше настаивает на тесной связи двух сторон символа. Такой подход можно объяснить, с одной стороны, знакомством со взглядами Гумбольдта, а с другой, – личными беседами с Соссюром, о чем свидетельствует следующая цитата: “При анализе речи нельзя отделить содержащее, то есть форму, способ – от содержания, то есть значения. Существует взаимосвязанность этих двух аспектов одного явления. Психофизиологический параллелизм остается абсолютным принципом и являет единственное, в чем мы обнаруживаем две стороны. Мысль без формы и форма без мысли больше не интересуют лингвистику. В случае такой операции по разделению для лингвистики уже бы ничего не существовало; сам объект ее исследования был бы уничтожен” [Сеше 2003: 102–103]. Создается впечатление, что имеет место предвосхищение следующего пассажа из “Курса” Соссюра: “В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от выражения его словами, представляет собою аморфную, нерасчлененную массу... Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено... Звуковая субстанция не является ни более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление” ... “в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой психологии, либо к чистой фонологии” [Соссюр 1977: 144, 145].

Однако отношение между мыслью и формой Сеше понимает по-другому, чем между содержанием и выражением. “Но если форма и значение неразделимы и для лингвиста соединяются в одно и единое, это можно противопоставить другому элементу языка, природа и роль которого совершенно различны: мы имеем в виду звуки, артикуляторные элементы, одним словом, материю, в которой реализуется эта форма” [Сеше 2003: 103]. Речь, очевидно, идет о различии между абстрактной сущностью и конкретной реализацией, о различии между абстрактным характером содержания и конкретным характером выражения. «Ничто не мешает вместо слова *cheval* “лошадь” вообразить другую комбинацию артикуляторных знаков или даже вообще отказаться от нее и думать только алгебраическими символами, каким-нибудь a или x – абстрактным и общим заместителем некоего знака, в котором реализуется эта идея» [там же: 103–104]. В этой цитате содержится также идея конвенциональности знака, которую Сеше, как и Соссюр, связывал с материальной стороной, а также идея значимости. Хотя, как уже отмечалось, фундаментом теоретической лингвистики Сеше была психология, условность знака он связывал с социологической природой языка: “...он постоянен и условен, и именно он делает возможным взаимную адаптацию говорящих, выражение абстрактных понятий и установление постоянных правил” [там же: 120–121].

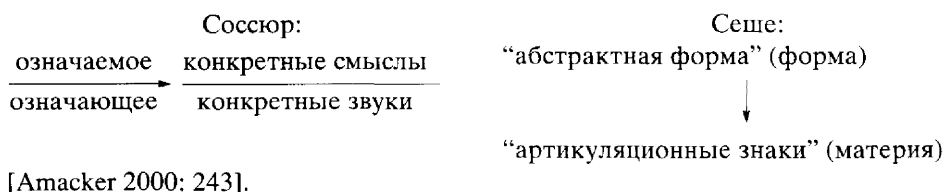
Наряду с индивидуальным и социальным принципом классификации лингвистических дисциплин у Сеше выступает различие состояний и эволюций языка, формы и звуковой материи. Теоретическая наука, изучающая эволюцию языка, должна объяснять причины языковых изменений.

² Слово “знак” Сеше употребляет в нескольких, не всегда совместимых значениях: конкретный элемент выражения, двусторонний абстрактный элемент (совпадение со знаком у Соссюра), который он отождествляет с символом.

“Наиважнейшим принципом разделения” Сеше называет “установление и мысль, которая проявляется в этом установлении” [там же: 102]. Для целей анализа Сеше считает нужным рассматривать раздельно форму и ее звуковое выражение: “форма реализуется при посредничестве условных знаков, ...ее можно отделить от материального случайного качества, создающего эти знаки” [там же: 103]. Таким образом, возможность разделить рассмотрение формы и ее материальное выражение обусловлена конвенциональным характером последнего. Речь идет о различии между абстрактной сущностью и конкретным характером выражения, находящимися в отношении асимметрии.

Закономерно, что такой подход привел Сеше к возможности разъединения двух сторон символа. Для Соссюра сочетание мысли со звучащей материей “создает форму, а не субстанцию” [Соссюр 1977: 145], т. е. знак целиком, означающее и означаемое, являются абстрактной формой в языке, и именно эта форма полностью реализуется на двух уровнях выражения и содержания в речи как смысл и как конкретные звуки. А для Сеше форма связана только с содержанием, выражение при этом рассматривается как соответствующая индифферентная материя: “мы допускаем, что существует абстрактная форма организованного языка, которая является самой формой мысли, и есть условные звуки, которые реализуют эту абстрактную форму, подобно тому как геометрическая форма реализуется в каком-нибудь материале” [Сеше 2003: 110]. Можно предположить, что именно эту асимметрию критиковал Соссюр: “Чем больше автор прилагает усилий, чтобы разрушить представляющийся ему незаконным барьер между мыслительной формой и мыслью, он удаляется от собственной цели, которая должна состоять в том, чтобы очертить область выражения мысли, постичь ее законы не в отношении их сходства с общими законами нашей психики, а, напротив, в отношении их специфичности и уникальности, как законы языка” [Соссюр 1990: 168]. Из словаря соссюровской терминологии Р. Энглера можно заключить, что под мыслью Соссюр мог понимать “означающее”, а под формой – “означающее” [Engler 1968: 39, 25].

То, что у Соссюра может рассматриваться как горизонтальное отношение между двумя сторонами абстрактного знака и как их конкретные реализации, Сеше заменяет вертикальным отношением между двумя сторонами символа:



Асимметрия символа привела Сеше к ограничению произвольности только одной стороной языка – означившей: “в грамматике есть установление, то есть произвольный выбор, только там, где надо определить материальное качество слов и знаков, необходимых лексике и грамматическому механизму” [Сеше 2003: 109].

Такая концепция имела следствием выделение двух различных лингвистических дисциплин: общую морфологию – изучение формы в понимании Сеше и науку о звуках. Эти дисциплины в принципе организованы одинаковым образом: “фонология должна быть для материальных конвенциональных элементов языковой формы тем же, чем морфология является для самой формы” [там же: 129]. Таким образом, свой тезис о независимости плана выражения от плана содержания, соотношение которых он рассматривает как простую условность, Сеше переносит и на конкретный язык, тем самым в еще большей мере отдаляясь от Соссюра.

Л. Ельмслев обратил внимание на близость понимания Сеше формы глоссематике, назвав его одним из первых лингвистов, поставивших вопрос о лингвистике как науке о выражении [Hjelmslev 1928: 79].

Другое следствие асимметрии: Сеше рассматривал двусторонний характер символа как соотношение формы мысли с грамматической формой, а не как соотношение озна-

чаемого с означающим³: “каким образом можно при помощи артикуляторных символов... построить что-то, что обладало бы связанностью и формой, соответствующими связности и форме мысли?” [Сеше 2003: 124].

Сеше ставил следующие задачи перед теоретической лингвистикой в порядке их усложнения: “Теоретическая наука... может рассмотреть... последовательно различные объекты, которые сами находятся между собой в некотором отношении включения. Сначала она примет во внимание лишь самые общие черты человеческого языка, задастся вопросом о том, какими они должны быть или могут быть, обращая внимание лишь на черты свойственные языку всего человечества... Затем наука... приближается к фактам и рассматривает... этнические группы, ..., показывая, какие грамматические типы им соответствуют... Последним, наиболее четким и конкретным объектом является индивидуальный язык” [там же: 128].

Общая морфология может рассматриваться как с точки зрения состояний, так и с точки зрения эволюций. Поэтому Сеше различает статическую морфологию и эволюционную морфологию. Науку о звуках он также делит на две дисциплины, которые называет фонологией – изучает состояние и фонетикой – исследует трансформации звуков. Сеше делает примечание: “Предлагая эти два термина для различения статической науки о звуках и эволюционной науки, мы придерживаемся терминологии, которую использует в своих лекциях профессор Ф. де Соссюр” [там же: 111].

Вероятно, Сеше имел в виду лекции, которые он посещал в 1891–1893 гг. Сохранившиеся рукописные заметки Соссюра по фонологии относятся к 1891 г. Знакомство с этими идеями Соссюра могло быть дополнено и личными беседами. “Лишь фрагментами благодаря некоторым лекциям, или иногда в личных беседах, его первые ученики (Сеше и Балли. – В.К.) познакомились с его идеями” [Sechehaye 1927: 2].

У Соссюра можно обнаружить два определения фонемы: как конкретной, несводимой единицы, звуковой цепи и как абстракцию звука. Развив второе определение фонемы, Сеше пошел дальше своего учителя, предложив подходы к изучению фонемы, которые, по существу, предвосхитили дальнейшие фонологические исследования.

Сеше предлагал вполне четкое определение фонологической системы: «Всякий язык предполагает *фонологическую систему*, то есть совокупность понятий, соответствующих звукам, или... представлений звуков. Фонологическая система составляет часть грамматики языка... Она также образует “форму”..., так как можно представить фонологическую систему в алгебраическом виде⁴ и заменить тридцать, пятьдесят или сто элементов, которые ее составляют, тем же количеством абстрактных символов, которые сохраняют индивидуальность элементов, но не их материальный характер» [Сеше 2003: 130].

Эта формулировка, как справедливо отмечает В.М. Алпатов, предвосхищает дальнейшее развитие фонологии [Алпатов 2003: 15]. Сеше в самом начале XX в. предвосхитил удивительным образом проблематику, получившую развитие лишь через несколько десятилетий в современной фонологии – структурно-функциональные свойства фонем, семиотический характер этой дисциплины, изучение различительных признаков. В фонологическом учении Сеше содержится и другие идеи, получившие развитие гораздо позже: фономорфологии, а также “двойной операции”, предвосхитившей концепции “двойного членения” А. Мартине и Л. Прието.

По признанию Р. Якобсона, фонологические идеи Сеше оказали влияние на формирование его собственной фонологической концепции. “Отдавая себе отчет в том, что

³ Следует заметить, что даже популяризируя положения учения Соссюра, Сеше избегал термины “означающее” и “означаемое”. Он использовал слово “знак” для обозначения выражения и “понятие” – для содержания. “Как звуковые знаки языка, так и понятия, которые они представляют, существуют только в силу различий, которые можно констатировать между звуковыми знаками, с одной стороны, и понятиями, – с другой” [Sechehaye 1917: 16].

⁴ Сравнение с алгеброй, возможно, восходит к Соссюру: “Язык – это, так сказать, такая алгебра, где имеются лишь сложные члены системы” [Соссюр 1977: 154].

“мы еще очень далеки от понимания всех явлений в области фонологии”, Сеше в своей работе ясно показал, что зародилась новая научная дисциплина, указал на ее путь и дал ей название – “фонология”, которое вскоре получило широкое распространение, и этим названием пользуемся и мы” [Якобсон 1985: 55]. Р. Годель отмечает, что главы XI и XII работы Сеше содержат совершенно новые взгляды на фонологию как на “изучение звуков организованной речи и являются весьма близкими к определению фонологии в американской дескриптивной лингвистике” [Godel 1957: 166–167].

Эволюционную морфологию Сеше считал первичной по отношению к фонетике, поскольку “изменение языка, рассматриваемого с фонетической точки зрения, представляет собой более конкретное явление, чем морфологическая эволюция, затрагивающая значения и способы выражения” [Сеше 2003: 137].

Сеше исключает возможность того, чтобы морфологическое явление сопровождалось фонетическим преобразованием: “форма существует вне связи с качеством звуков, и потому совершенно независима”. “...причины и законы, которым подчиняются явления морфологической эволюции, находятся в пределах того, что составляет форму, и, следовательно, эти явления не зависят от фонетических изменений” [там же: 145, 147]. Таким образом, эволюционная морфология, в понимании Сеше, – формальная наука.

Сеше различает два вида фонетических изменений: скачкообразные и постепенные. Первые изменяют фонологические элементы, из которых состоит слово, но не затрагивают фонологической системы. Вторые приводят к изменению фонологической системы, не влияя на состав слов. Среди скачкообразных изменений он особо выделяет аналогические. “Они связаны с мыслительной операцией, которую можно сравнить с вычислением четвертого члена пропорции” [там же: 155]. Это понятие фигурирует и в “Курсе” Соссюра [Соссюр 1977: 195]. Можно предположить, что с этим видом аналогии Сеше познакомился на лекциях Соссюра по сравнительной грамматике индоевропейских языков в 1891–1893 гг.

Сеше построил систему эволюционных дисциплин на основе своего принципа включения и предложил программу их исследований. В задачу эволюционной морфологии входит изучение происхождения символа, связанного с гетерогенными отношениями между говорящим и слушающим. Роль слушающего у Сеше выступает как главенствующая: “Каждый раз, когда символ использовался одним собеседником и должен был быть принят другим, мог осуществиться акт бессознательного нововведения, заключающийся в том, что символ, воспринятый и усвоенный слушающим, не вполне идентичен символу, которым воспользовался говорящий” [Сеше 2003: 177].

Обращение символов, т. е. знаков, очень напоминает “речевую цепочку” Соссюра [Соссюр 1977: 49–50], но с существенной разницей. Для Соссюра говорящий и слушающий полностью идентичны, в то время как Сеше постоянно говорит об асимметрии между ними.

Трансформация символа у Сеше проходит два этапа: индивидуальный и апробацию языковым коллективом: “каждая индивидуальная модификация такого рода, пущенная в обращение, предлагалась на суд коллектива, который отвергал или принимал ее, подобно тому как он отвергает или принимает рождающийся символ” [Сеше 2003: 177]. Такой индивидуально-социальный подход способен, по мнению Сеше, объяснить изменение значения.

Сеше возражал против существовавшего в его время узкого понимания семантики (восходившего к М. Бреалю. – В.К.) как изучение “жизни слов” и ставил перед ней задачу исследовать значения символов. Однако семантику не следует смешивать с эволюционной морфологией. Различие между ними в том, что семантика изучает простой способ выражения, эволюционный синтаксис – сложный способ выражения. Таким образом, Сеше, по существу поставил вопрос о разработке синтаксической семантики.

В соответствии с принципом включения теоретическая лингвистика Сеше состоит из семи дисциплин:

I. Наука об аффективном языке (1) (Индивидуальная психология).

II. Наука об организованном языке (Коллективная психология).

1°. Статические дисциплины.

А. Статическая морфология (2).

В. Фонология (3).

2°. Эволюционные дисциплины.

А. Эволюционная морфология.

а) Семантика (4).

б) Эволюционный синтаксис (5).

В. Фонетика.

а) Наука о фонологических воздействиях (6).

б) Собственно фонетика (7).

В современной ему лингвистике более или менее разработанными Сеше называл только дисциплины первой группы. Перед теоретической лингвистикой стоит задача построить морфологические дисциплины: статическую морфологию и эволюционный синтаксис.

Ранняя работа А. Сеше “Программа и методы теоретической лингвистики” сохраняет свое значение для истории языкознания не только потому, что многие ее идеи предвосхищают положения “Курса” Соссюра, но и новизной для своего времени постановки методологических задач науки о языке. При этом Сеше стремился опереться на достижения смежных наук – психологии, логики и физиологии. В отличие от распространенного в то время, восходящего к младограмматизму, определения лингвистики как науки о фактах, локализованных во времени и пространстве, Сеше определял лингвистику как законоустанавливающую науку и помещал ее на пересечении естественных и гуманитарных наук. В качестве физиологического явления язык относится к естественным наукам, а как проявление психического – к гуманитарным, в первую очередь, к психологии. Сеше разработал схему вхождения одних лингвистических дисциплин в другие, более общие, что позволило ему представить иерархию разных разделов лингвистики и разработать программу для каждого из них. Эта классификация не привилась за исключением фонологии, понимание которой Сеше, как показано выше, было близко современному.

Сеше сформулировал, правда, часто в психологической терминологии соотношение в языке социального и индивидуального, абстрактного и конкретного, статики и динамики. Причем некоторые стороны этих дихотомий рассматривались им глубже, чем в учении Соссюра.

Сеше разработал определение грамматики как науки об общей организации языка, понимая грамматику, так же как и Соссюр, как описание языка в синтагматике и парадигматике, включая лексикологию и морфологию. Сеше добавил к этому фонологию⁵. “Грамматика для нас – все, что касается организации языка, звуков, лексики, синтаксиса. В грамматике мы отдаем предпочтение той ее части, в которой рассматривается комбинация знаков” [Sechehaye 1908: 4]. Таким образом, до выхода “Курса общей лингвистики” Сеше выдвинул понятие языка как системы, основанной на взаимосвязанности элементов. В работе Сеше можно обнаружить постановку вопросов, являющихся предметом рассмотрения современной лингвистики, например, когнитивный подход к частям речи [Сеше 2003: 196]. Понимание частей речи как коррелятов мыслительных категорий получило развитие в его работе “Очерк логической структуры предложения” [Sechehaye 1926].

⁵ Составной частью грамматики считали фонологию И.А. Бодуэн де Куртенэ и Н.С. Трубецкой. Фонетику как особую языковедческую дисциплину, смежную с грамматикой и лексикологией, рассматривали Л.В. Щерба и В.В. Виноградов.

Сеше ставил перед теоретической лингвистикой сверхзадачу – установить универсальные законы, объясняющие причины языковых преобразований. Следует заметить, что хотя прошло чуть менее 100 лет со времени публикации работы Сеше, эта задача далека от своего решения. Для этого требуется проведение крупномасштабных работ на материале большого количества языков разных семей. Видимо, это имел в виду Соссюр в своей рецензии: “Всякое исследование, которое затрагивает самые основы языковой деятельности, когда оно сопровождается последовательной методологической работой и в то же время характеризуется *глубоким знанием языков* (курсив наш. – В.К.), заранее заслуживает большого уважения...” [Соссюр 1990: 166].

Сама же постановка проблемы Сеше, очевидно, восходит, с одной стороны, к французским традициям всеобщей универсальной грамматики, а с другой, – к Соссюру. Как свидетельствуют заметки по общей лингвистике, Соссюр еще в 1891 г. настаивал на необходимости тщательного изучения *языков*, без чего любая лингвистическая теория будет тщетной, и на тесной связи подобных исследований с установлением общих законов [Godel 1957: 179–180]. Что касается обобщений, они возможны как на основе синхронных, так и эволюционных фактов. Он был склонен к тому, что наиболее важные общие законы будут выведены на основе изучения состояний языков. Это будут панхронические законы. Следовательно, мысль Соссюра удивительным образом совпадает с изложением задачи теоретической лингвистики Сеше.

Немало упреков было высказано в адрес Ш. Балли и А. Сеше по поводу знаменитой заключительной фразы “Курса”: “единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя”. Балли, слушавший некоторые лекции Соссюра, настаивал, что именно этими словами Соссюр обычно заканчивал свои лекции. По этому поводу он даже специально написал письмо Л. Ельмслеву. Оно было опубликовано в “Трудах Копенгагенского лингвистического кружка” [Travaux du Cercle linguistique de Copenhague. V. XII. 1959: 24]. Однако это заключение, ставшее знаменем крайних направлений структурализма, не фигурирует в студенческих записях лекций Соссюра и не обнаружено Р. Годелем в рукописных источниках “Курса”. Он пришел к выводу, что эта заключительная фраза была добавлена издателями. Если это так, то с высокой долей вероятности можно предположить, что ее формулировка принадлежит Сеше. В свете вышесказанного под “языком” следует понимать, с одной стороны, каждое из необходимых состояний конкретного языка, с другой, – совокупность общих законов, касающихся языка вообще, которые можно установить на основе данных многих языков. Таким образом, заключительную фразу “Курса” можно было бы переформулировать следующим образом: истинным объектом лингвистики являются языки и язык. “Если стать на эту точку зрения, – пишет Гodelь, – диахроническое исследование должно следовать за синхроническим, а не предшествовать ему; при условии, что последнее рассматривается как эволюция систем” [Godel 1957: 181]. Именно на этом настаивал Сеше. В этом свете заключительную фразу “Курса” следует воспринимать не в плане сужения предмета лингвистики, в чем упрекали Соссюра, а в плане его расширения.

Возникает закономерный вопрос: почему работа А. Сеше “Программа и методы теоретической лингвистики”, предваряющая практически все основные положения учения Соссюра и в ряде случаев даже предлагающая более последовательное решение теоретических проблем, не вызывала должного резонанса ни после публикации, ни позже. В.М. Алпатов выдвигает на этот счет несколько гипотез: 1) в отличие от Соссюра Сеше в 1908 г. не был известен как ученый, 2) новизну идей Сеше затмил психологизм, нередко архаичная терминология, усложненный, иногда трудный для восприятия стиль изложения, 3) работа Сеше опередила свое время. Его современники оказались не подготовленными к ее восприятию. В отличие от работы Сеше положения Соссюра в “Курсе” изложены ясно, четко, логично и последовательно [Алпатов 2003: 16–17].

Следует также обратить внимание на то, что исходные принципы выделения дихотомий у Сеше и Соссюра различные: у Соссюра семиологический и лингвистический, у Сеше – преимущественно психологический и логический. К этому следует добавить, до-

стойную уважения, научную скромность Сеше, который в отличие от труда своего учителя практически ничего не делал для пропаганды и популяризации своей работы. В результате, по выражению В.М. Алпатова, Сеше оказался “в тени” Соссюра, он даже говорит о “драматизме” научной судьбы ученого [там же: 17]. С последним утверждением можно согласиться только до определенной степени.

Нельзя сказать, что работа Сеше оказалась совершенно незамеченной. Многие известные лингвисты – современники Сеше – Ш. Балли, А. Навиль, А. Мейе, К. Фосслер с похвалой отозвались о работе Сеше. Она была отмечена в 1909 г. престижной премией Амиеля⁶. Хорошо знал и часто цитировал работу Сеше Л. Ельмслев, указывавший, что ряд идей Сеше стимулировал разработку его лингвистической концепции. А позднее В. Матезиус отмечал, что “Программа и методы теоретической лингвистики” – одно из первых и последовательных изложений доктрины Женевской школы, а размышления автора о фонологии послужили отправным пунктом для разработки его фонологической терминологии. О признании научных заслуг Сеше в области современной фонологии свидетельствует текст следующей телеграммы, направленной ему участниками Международной фонологической конференции (Прага, 21 декабря 1930 г.): “...наметив основные направления исследований в области фонологии, участники конференции приветствуют в Вашем лице одного из основателей новых методов в лингвистике”. Таким образом, А. Сеше, наряду с И.А. Бодуэном де Куртенэ, принадлежит приоритет в создании современной фонологии.

Самое главное, на наш взгляд то, что работу Сеше можно рассматривать как своего рода “репетицию” написания “Курса” Соссюра. Р. Якобсон точно подметил, что Сеше в своей книге “один из первых четко сформулировал и развил положения соссюровской доктрины” [Якобсон 1985: 54]. Именно благодаря этой работе он оказался хорошо подготовленным к этой миссии.

Большой интерес вызывает также предположение В.М. Алпатова: «когда книга Сеше вышла, его учитель, наконец, решился обнародовать (хотя бы устно), свои наиболее нетрадиционные идеи: ему надо было и “застолбить” их, и высказать свое несогласие с учеником по ряду вопросов» [Алпатов 2004: 70].

Многие положения, впервые сформулированные Сеше в его ранней работе, получили продолжение и развитие в его последующих широко известных в мировой лингвистике работах “Три соссюровские лингвистики” и “Очерк логической структуры предложения”. Поэтому научный приоритет Сеше должен быть восстановлен. Несомненно, В.М. Алпатов прав в том, что “в наши дни, когда установленные Ф. де Соссюром и его последователями ограничения потеряли силу, можно не только объективно рассмотреть место А. Сеше в истории лингвистики, но и оценить должным образом его концепцию с позиций сегодняшнего дня. Многие вопросы, им поставленные, и сейчас не решены лингвистикой, оставаясь актуальными” [Алпатов 2003: 17].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 2003 – В.М. Алпатов. Альбер Сеше и история лингвистики // А. Сеше. Программа и методы теоретической лингвистики. М., 2003.
- Алпатов 2004 – В.М. Алпатов. Рец. на: В.Г. Кузнецов. Женевская лингвистическая школа: от Соссюра к функционализму. М., 2003 // НИАН СЛЯ. 2004. Т. 63. № 4.
- Ельмслев 1965 – Л. Ельмслев. Язык и речь // В.А. Звегинцев. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. 2. М., 1965.
- Сеше 2003 – А. Сеше. Программа и методы теоретической лингвистики. Психология языка. М., 2003.
- Соссюр 1977 – Ф. де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977.

⁶ Анри Амиель (Henri Amiel) (1821–1881) – швейцарский писатель, писавший свои произведения на французском языке.

- Соссюр 1990 – *Ф. де Соссюр*. Наброски рецензии на книгу А. Сеше // *Ф. де Соссюр*. Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
- Шор 1927 – *Р.О. Шор*. Кризис современной лингвистики // *Яфетический сборник*. Вып. 5. 1927.
- Шухардт 1950 – *Г. Шухардт*. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.
- Якобсон 1985 – *Р. Якобсон*. Избранные работы. М., 1985.
- Amacker 2000 – *R. Amacker*. Le développement des idées saussuriennes chez Bally et Sechehaye // *Historiographia linguistica*. XXVII. № 3. 2000.
- Bally 1913 – *Ch. Bally*. Ferdinand de Saussure et l'état actuel des études linguistiques. Genève, 1913.
- Engler 1968 – *R. Engler*. Lexique de terminologie saussurienne. Utrecht; Anvers, 1968.
- Godel 1957 – *R. Godel*. Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure. Genève; Paris, 1957.
- Hjelmslev 1928 – *L. Hjelmslev*. Principes de grammaire générale. København, 1928.
- Naville 1901 – *A. Naville*. Nouvelle classification des sciences. Études philosophiques. 2-e éd. P, 1901.
- Sechehaye 1902 – *A. Sechehaye*. Der Konjunktiv Imperfekt und seine Konkurrenten in den normalen hypothetischen Satzgefügen im Französischen. Inaugural – Dissertation. Göttingen, 1902.
- Sechehaye 1908 – *A. Sechehaye*. Programme et méthodes de la linguistique théorique. Psychologie du langage. Paris ; Genève, 1908.
- Sechehaye 1917 – *A. Sechehaye*. Les problèmes de la langue à la lumière d'une théorie nouvelle // *Revue philosophique*. T. 83. № 7. 1917.
- Sechehaye 1926 – *A. Sechehaye*. Essai sur la structure logique de la phrase. Paris, 1926.
- Sechehaye 1927 – *A. Sechehaye*. L'école genevoise de linguistique générale // *Indogermanische Forschungen*. Bd. XLIV. 1927.
- Sechehaye 1942 – *A. Sechehaye*. De la définition du phonème à la définition de l'entité de langue // *Cahiers Ferdinand de Saussure*. № 2. 1942.
- Wunderli 1976 – *P. Wunderli*. Saussure als Schuler Sechehaye? // *Amsterdam studies in the theory and history of linguistics*. V. 9. Amsterdam, 1976.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

О.Н. Селиверстова. Труды по семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 960 с. (Studia philological).

Писать рецензию на эту книгу и легко и очень трудно. Легко потому, что бесконечно богатые по своему содержанию работы Ольги Николаевны Селиверстовой дают пищу для размышлений и осмысления многих актуальных для современной лингвистики проблем, зачинателем в разработке которых была и Ольга Николаевна. Трудно, во-первых, потому, что ее уже нет с нами, и на те вопросы, которые неизбежно – именно в силу интеллектуальной щедрости, таланта и оригинальности лингвистического мышления автора рецензируемых работ – возникают в процессе чтения и в развитии идей и мыслей, высказанных в ее работах, она не сможет ответить. Это, с моей точки зрения, в определенном смысле ограничивает рецензента. Во-вторых, книга содержит в себе целый ряд самостоятельных фундаментальных работ, каждая из которых заслуживает и требует самостоятельного, отдельного разговора, даже если рецензии на эти работы и были в свое время написаны. И в одной рецензии охватить все проблемы, поднятые автором на пространстве почти в тысячу страниц, невозможно. Но уже сам факт того, что ее работы по семантике собраны и изданы как определенная целостность, заслуживает самого глубокого признания и благодарности в адрес тех, кто задумал и осуществил эту идею.

Составители включили в книгу монографические работы О.Н. Селиверстовой, вышедшие в свет с 1975 по 1998 годы и посвященные разработке, как справедливо отмечается в аннотации, фундаментальных теоретических и методологических проблем семантики: “значению, верификации семантических гипотез, компонентному анализу”. Конкретными объектами анализа являются местоимения, семантические классы глаголов мышления и восприятия, бытийные и посессивные модели предложений, дистантные, пространственные и

посессивные предлоги и наречия русского и английского языков; в процессе анализа из поля зрения автора не выходит – как один из важнейших факторов речевой реализации языковых единиц – коммуникативная структура предложения. Такой “голографический” подход (абсолютно правомерный и, возможно, наиболее продуктивный в современной лингвистической парадигме) делает работы О.Н. Селиверстовой не просто важными и интересными для широкого круга лингвистов, ее работы становятся источником материала, необходимого для адекватного описания языка в ходе дальнейших лингвистических исследований независимо от концепций и позиций авторов, что уже само по себе предсказывает рецензируемой книге долгую и продуктивную жизнь.

Две первые работы: “Об объекте лингвистической семантики и адекватности ее описания” (раздел из коллективной монографии “Принципы и методы лингвистических исследований”. М., 1976) и “Некоторые типы семантических гипотез и их верификация” (раздел в коллективной монографии “Гипотеза в современной лингвистике”. М., 1980) – предлагают рассмотрение в первую очередь методологического и концептуального аспектов лингвистического анализа содержательного пространства языка. В этом отношении принципиально важны и интересны уже зачины обеих работ. Первая работа начинается с вопроса о границе между языком и речью, как о факторе, определяющем в конечном счете цели и методы лингвистики (с. 28), а в заключение абсолютно справедливо утверждается неразрывная связь между ними. В начале второй – автор сетует на отсутствие в лингвистике “четкой границы между гипотезой и уже доказанной теорией, между гипотезой и уже доказанным результатом” (с. 59). Решению (или подходам к решению) этих задач и посвящены обе работы. В

первой из них дается очень глубокий и интересный обзор-анализ основных теорий и концепций семантического анализа, существовавших к середине семидесятых годов в западном и отечественном языкознании. Подводя итоги аналитическому обзору “положения дел” в области семантического анализа, О.Н. выделяет четыре типа информации, передаваемой через языковой знак: 1) смысловую, 2) стилистическую, 3) экспрессивную и, отметим, 4) конфигуративную, под которой понимаются условия дополнительной дистрибуции, определяющие запреты или допущения на синтагматику языковой единицы, на возможность/невозможность ее употребления в тех или иных грамматических построениях. Эта информация представляется нам принципиальной: она используется как операциональный метод верификации смыслов и значений.

Собственно зерно и итог этой работы сконцентрированы в последнем разделе, посвященном методике семантического описания и критериям правильности полученных результатов (с. 45). Из всего множества (в математическом смысле этого слова) рассмотренных автором проблем остановимся на двух, которые, как представляется, в настоящее время могут быть осмыслены несколько по-иному. Это, во-первых, сбор языкового материала, необходимого для построения первоначальных гипотез (“сбор фактов и их дедуктивное обобщение”), и, во-вторых – оценка правильности/неправильности употребления данной единицы (с. 46).

“Количество собранных случаев употребления анализируемых единиц должно быть достаточно большим, – совершенно справедливо утверждает автор. – Примеры могут выбираться как из устной, так и из письменной речи. Особенно полезным для выработки первоначальной гипотезы обычно оказываются предложения, взятые из художественных произведений...” Что касается количества употреблений, заметим, что наличие компьютера позволяет нам сейчас, с одной стороны, собрать на порядки больше употреблений, нежели это было возможно в докомпьютерную эпоху, когда писалась работа, а с другой – значительно расширить представительность материала. Количество же употреблений и диапазон их употребления позволяют выйти на новое качество анализа и в ряде случаев дают совершенно иное представление о состоянии языка. Что же касается художественной литературы, то отметим, что в настоящее время она является – пусть самым совершенным – но только одним из функциональных стилей. Среди других в первую очередь назовем функциональный стиль научной речи, окончательно

сформировавшийся в русскоязычном ареале не ранее начала восьмидесятых годов прошлого века и располагающий множеством подстилей (например, подстили лингвистики и медицины, химии и географии, литературоведения и экономики, юриспруденции и искусствоведения и пр.), различающихся отнюдь не только терминологией, но и синтаксисом, и наличием специфических единиц (ср., например, медицинское *кнутри и кпереди от почки*). Это стиль делового общения, пользованию которым, оказывается, нужно учить и носителей языка и инофонов, и стиль СМИ. Огромный источник живого употребления являет собой и язык нашего повседневного общения, который нельзя свести только к жанру “разговорный”. Не здесь ли возникают новации как в лексике, так и в грамматике? В этом отношениисправедливым представляется замечание нашей польской коллеги Беаты Милевской о том, что в результате последних глобальных изменений, в частности, возросшего языкового воздействия СМИ понятие литературного кодифицированного языка размывается, возникает своего рода “общий” язык (*B. Milewska. Przyimki wtórtne we współczesnej polszczyźnie. Gdansk, 2004*). Как бы то ни было, но в поле внимания и интересов лингвистики может и должен быть весь язык в целом со всеми типами употреблений. Выявление и фиксация функциональных стилей в настоящее время – это тоже насущная лингвистическая задача, о чем О.Н. подробно говорит и в монографии о компонентном анализе многозначных слов. Думается, что структура функциональных стилей в настоящее время несколько иная, нежели тридцать лет назад.

Что касается оценки степени правильности выделенных употреблений, О.Н. абсолютно справедливо обращается к положению Л.В. Щербы об “отрицательном материале”, но заметим, что следовало бы (нам, в настоящее время) более четко определить это понятие, поскольку это вопрос соотносительности системы и нормы в языке. Можно предположить, что носитель языка может постоянно нарушать норму, но, думается, не может выйти за рамки системы своего языка. И многие “неправильные” с точки зрения кодифицированной нормы употребления оказываются, по нашим наблюдениям, не просто частотными, а системными для определенных условий общения и выявляющими некоторые системные характеристики, в частности, русского языка. Мой личный опыт преподавателя русского языка как иностранного позволяет предполагать, что наиболее чистым “отрицательным материалом” являются ошибки инофонов, что касается информантов-носителей русского языка при проверке фактов русского же языка, то оказа-

лось, что, например, многие высоко оstepененные коллеги-филологи считают правильными выражения типа в *бытность моей учебы в университете*, хотя лично для меня это за рамками возможного употребления. Я сама могу не употреблять такие единицы, но зафиксировать факт их системного существования – святая обязанность исследователя. Другое дело – информанты-носители иностранного для лингвиста языка: в работах самой О.Н. обращение к англичанам-информантам подтверждает успешность применения этого метода в целях верификации правильности наблюдений в области разных типов языковых единиц английского языка и сделанных на их основе выводов, хотя субъективность в оценке ими правильности/неправильности предложенных вариантов остается.

В заключение статьи О.Н. перечисляет основные положения работы, из которых выделил два первых, поскольку, как мне кажется, они – с учетом современных данных – в некоторой степени входят в противоречие с заявленным здесь же тезисом о неразрывной связи языка и речи (не будем забывать, что это работа тридцатилетней давности): 1. Язык есть систематизированный инвентарь единиц, с помощью которого порождается речь, а не система порождающих процессов. 2. В основном язык представляет собой систему знаков, а не инвентарь правил (с. 54). Если язык и речь неразрывно связаны, то речь – это фактически реализация языка, происходящая по определенным правилам и с применением некоторых механизмов. И тогда те правила и механизмы его реализации, которые автор из языка исключает, но которые определяют смысловую и грамматическую правильность речевых построений, должны входить в язык. Эти правила и механизмы, в принципе единые фундаментальные характеристики языка, в своей конкретной реализации различны даже для близкородственных языков, и где же им храниться, как не в самом языке? Современный материал позволяет предложить такую формулировку системности языка как его имманентной характеристики: системность языка есть его свойство самоорганизации, самоструктурирования и саморазвития.

Основным объектом второй из названных работ является эксперимент в лингвистике и условия его применения на фоне широкого рассмотрения вопросов о лингвистической гипотезе, о взаимодействии смежных наук, например, лингвистики и нейрофизиологии, о корректности словарных толкований, о роли внеязыковых условий коммуникации на выбор возможных вариантов речевых построений для сообщения об одной и той же денотатив-

ной ситуации, о способах разграничения гипотезы, уже доказанных положений и самоочевидных фактов, о лингвистическом эксперименте и работе с информантами. Пожалуй, основной пафос этого раздела направлен на теоретическое обоснование компонентного анализа, которым автор (в числе других методов) блестяще пользуется в каждой из представленных в книге пяти крупных и в принципе хорошо известных лингвистам монографий. Именно их известность позволяет не пересказывать подробно их содержание, а остановиться в первую очередь на актуальности этих работ как для современной лингвистики, так и возможных направлений дальнейших исследований, а также на вытекающих из результатов этих работ положениях и их возможным, с моей точки зрения, применении в теории и практике описания языка.

Монография “Компонентный анализ многозначных слов” (М., 1975) развивает положения, обоснованные в первых двух работах на конкретном языковом материале. Объектом анализа являются глаголы *иметь* и *быть* в модели у X-а (есть) Y, а также глаголы *принять*, *получить*, *дать*, *взять*. Автора интересует семантический потенциал каждого из глаголов. Для каждого глагола автор выделяет типы информации, в первую очередь, смысловой. Практически общими для всех глаголов оказываются: информация о наличии свойства, чувства, представления, информация о наличии действия и его результата, информация о наличии элемента собственности, что говорит о правомерности объединения именно этих глаголов для данного анализа. Есть и другие виды смысловой информации, практически для каждого глагола в ряду видов смысловой информации рассматриваются некоторые специфические сочетания типа, например, *принять командование*, *принять совет* в главе о глаголе *принять* или *дать возможность*, *дать на анализ*, *на рецензию* в главе о глаголе *дать*. Предложенные автором интерпретации отличаются тонкостью анализа, глубиной проникновения в скрытые соотношения смыслов. Несомненно, все результаты, полученные О.Н., корректны и актуальны. Они – основа и образец как для исследования других групп лексики, так и продолжения работы над этой группировкой. Представлю одно из возможных направлений на примере глагола *получить*. Исследования последних лет показали, что в сочетаниях *получить письмо* – *получить рану/удар* – *получить возможность* глагол *получить* имеет разный языковой статус. Очевидно, что в сочетании типа *получить письмо* глагол выступает в своем иконическом значении, имея объектную валентность, ср.: *написать*

письмо, *прочитать* письмо, *послать* письмо и под.; и, вероятно, во многих других языках здесь системён соответствующий коррелят русского глагола. Модель “Х получил Y”. Сочетания *получить рану/удар* являют собой конверсивы к сочетаниям *нанести рану/удар*, которые в свою очередь суть описательные предикаты (в терминах В.А. Белошапковой), или глагольные лексические функции (в терминах Мельчука, Жолковского и Ю. Апресяна) глаголов *ранить* и *ударить*: *Х ранил/ударил Y-а – Х нанес рану/удар Y-у – Y получил рану/удар от X-а*. Как видно, *рана, удар* входят не в актантную рамку, а в состав предиката. Описательные предикаты представляют собой аналитические описания с грамматически зависимым, но содержательно главным существительным и строевым глаголом-экспликатором (термин Т.В. Шмелевой, компенсатор в терминах Г.А. Золотовой). Интересно, что если глагол *ранить* даёт страдательный оборот: *Его ранили – Он был ранен*; то глагол *ударить* страдательного залога не образует: *Его ударили – *Он был ударен*. Это, кстати, конфигуративная информация в концепции О.Н. Селиверстовой. Соответственно в русском языке возможен только структурный аналог конверсива *получить удар*, если в позицию подлежащего мы ставим имя пациента, Y-а. И здесь не глагол *получить* “выбирает” существительное, а слово *удар* – как основной представитель предиката – “выбирает” данный глагол. Этот глагол “выберут” далеко не все аналогичные слова: можно *получить рану, травму* (причем, даже если есть только X: *Он упал и получил травму*), множественные *переломы, ушибы, сотрясение мозга, инфаркт* (но не *инсульт?*), *воспаление легких*, но нельзя **получить грипп, ангину, корь* (которые “выберут” глагол *заболеть*), что абсолютно правильно, например, для китайского языка, где эти сочетания суть корреляты русских *Он болен/болеет ангиной, гриппом*, поскольку в китайском, как и в английском корреляты русских слов *болеть, болен* не сочетаются с названием болезни. Ср. принципиально другое значение в сочетании *получить инвалидность*: можно быть инвалидом, но не иметь инвалидности, то есть определенного социального статуса. Таким образом, мы выбираем глагол в зависимости от нужного нам существительного. Сочетания *получить право, получить возможность* как и *получить способность* суть фазисные модификаторы со значением начала состояния. Ср. их конверсивы: *дать/предоставить право чего/что делать, дать/предоставить возможность чего/что делать*, но не **дать способность*. И здесь содержательно “главным” является не глагол, а

существительное со значением внутрисинтаксической модальности, причем, только возможности, ср.: **получить необходимость/обязанность/долг/вынужденность/желание*. Важно, что само модальное слово есть строевой компонент – модификатор в структурно-семантической модификации модальности ядерной модели предложения, требующий постановки инфинитива или существительного в род, пад.: *Я голосую – Я имею право/получил право голосовать/голоса, Я учусь – Я могу/получил возможность учиться, Я читаю чужие мысли – После выхода из комы я оказался способен/получил способность читать чужие мысли*. Интересно, что нашим сочетаниям *дать возможность и сделать возможным/невозможным* соответствуют польские глаголы *umożliwić/unieemożliwić*, что косвенно говорит о вторичности наших сочетаний. Результаты О.Н., несомненно, позволят в дальнейшем объяснить “капризы” в сочетаемости тех или иных групп существительных с экспликаторами.

Следующая из помещенных в книгу работ О.Н. Селиверстовой, посвященная английскому глаголу *TAKE* в группе глаголов мышления и внутреннего восприятия (раздел “Константность и вариативность в семантической структуре многозначных слов типа *TAKE*” в коллективной монографии “Семантическое и формальное варьирование”. М., 1979), интересна не просто результатами анализа в рамках английского языка и выводами, отсутствующими в самых авторитетных английских словарях, но и перманентными сопоставлениями с русским языком. Она достойна отдельного внимательного рассмотрения, в том числе и в синтаксическом аспекте, поскольку глаголы мышления часто выполняют функции модификаторов авторизации, но, например, русский эквивалент глагола *take* в его первичном значении *брать, взять* до сих пор в нашем синтаксисе как способный выступать в составе группы глаголов мышления не упоминался, ср., однако, разговорное аналитическое: *не бери себе это в голову = не думай об этом*. Основные типы смысловой информации, свойственные глаголам, передающим идею мышления и внутреннего восприятия, выявленные автором в этой работе, должны быть учтены как при словарном толковании соответствующих глаголов, так и при анализе категории авторизации в русском языке, которая еще ждет своего описания.

Две следующие работы – очень разные по объектам описания – удивительно четко показывают универсальность используемой автором методики семантического анализа языковых единиц. Монография “Местоимения в языке и речи” (М., 1988), как следует из названия, посвящена одному из категориальных клас-

сов – местоимениям, а монография “Контрастивная синтаксическая семантика. Опыт описания” (М., 1990) – моделям предложений и типам предикатов. В работе о местоимениях, с одной стороны, представлен взгляд автора на категорию местоимений как части речи с учетом всего многообразия существующих в лингвистике подходов, а с другой, – буквально “под лупой” рассмотрены русские личные и указательные местоимения, неопределенные с *-то* и *-нибудь* (последнее и в сопоставлении с отрицательным *ни-*) и английские с *-one* и *-body*; в отдельной главе дан контрастивный анализ пары *любой* и *any*. Анализ неопределенных местоимений достаточно широко представлен как в собственно теоретической, так и прикладной дидактической литературе, посвященной описанию русского языка как иностранного. К сожалению, из всей этой литературы автор ссылается только на один из учебников 1966 г. Вместе с тем, к разряду неопределенных относятся не только местоимения с *-нибудь* и *-то*, но и с *-либо* и *кое-*. В теории и практике описания русского языка как иностранного выделены достаточно четкие параметры как инвариантного, так и вариативного употребления этих местоимений (пожалуй, не сформулирован пока алгоритм выбора между местоимениями с *-нибудь* и с *-либо*) в разных типах речевых построений. Нам был бы в высшей степени полезен критический взгляд с позиций концепции О.Н. Мы не можем взять все “в готовом виде” из этой работы и в силу сложности метаязыка, и в силу ряда других причин, но сопоставить и “пересформулировать” в прикладных целях ряд положений можно и нужно. Если же говорить об общелингвистических задачах, то выявился значительно более ограниченный синтагматический потенциал местоимений по сравнению с существительными, которые они призваны замещать. Так, местоимения не присоединяют родительный приименной, ср.: *все сотрудники института*, но не **все института*, а только *все в институте*; личные местоимения сами очень неохотно встают в эту позицию, и тогда их приходится замещать притяжательными или определительными, ср.: *с помощью ножа*, но не **с помощью него*, а только *с его помощью*; *в роли посредника*, но не **в роли него*, а только *в этой роли*; в некоторых категориях (время, состояние) анафорическое местоимение вообще не выступает, ср.: *Это наш дом, и в нем есть магазин* (локатив), но: **Завтра среда, а в нее у меня семинар* (темпоратив); *Он был под арестом три дня*, и **Его взяли под арест, и он был под ним три дня* (статив). И что нам предлагает язык в этом случае? Функционирование местоимений в динамике, в речевых постро-

ниях представляется мне одним из интереснейших направлений в лингвистических исследованиях ближайшего времени, и обращение к монографии О.Н. Селиверстовой даст нам много ценных фактов и идей.

Фундаментальная работа 1990 года, развивающая идеи работ 1975 и 1976 гг., заслуживает отдельного обсуждения и, думается, еще очень долгое время будет источником вдохновения, дискуссий и размышлений для нескольких поколений лингвистов. Она охватывает категории экзистенциальности, локативности и посессивности, оказавшиеся теснейшим образом связанными между собой как в русском, так и в английском синтаксисе и, соответственно, в русском и английском языковом сознании, но различным образом в нем структурированными. В силу уже названных причин не буду обсуждать здесь саму концепцию О.Н. Селиверстовой, очень многие положения которой я разделяю, в частности, положение о необходимости формализованной записи модели предложения (структурной схемы). Ограничусь очень частными мыслями, касающимися двух частных положений. Первый вопрос касается уровневой характеристики предикатов. В данной работе, как и в работе “Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикативных типов русского языка” // Семантические типы предикатов. М., 1982 г., не вошедшей в книгу, семантический тип предиката рассматривается в тесной связи с его частеречной выраженностью. Поэтому глагол *болеть* относится к процессам, а прилагательное *болен* к состояниям. Но независимо от того, болен человек или болеет, есть только две возможности: выздоровление или кончина. Даже стагнация заканчивается кризисом. Можно сказать, что состояние – на денотативном уровне – это замедленный процесс. У нас нет ни одного случая, когда бы эти слова можно было противопоставить, например, в модели : *Нет, он не болен, а болеет*. Как объяснить англичанину или немцу, в языках которых есть только прилагательное: *ill, krank*, или китайцу, который считает, что китайское слово с этим значением – это глагол, различия в значении и правила выбора глагола или прилагательного в русском языке? В нашей, прикладной модели мы, вслед за Т.В. Шмелевой и Е.В. Клобуковым, рассматриваем денотативные, а не семантические типы предикатов, возможно, понимая слова “денотативный уровень” не совсем так, как их понимают “чистые теоретики”, и считаем, что денотативный уровень формирует содержательный инвариант предложения, находящий свое иконическое, прототипическое выражение в изосемической изоморфной структуре,

а семантический – ракурс его подачи. С этой точки зрения предложения *Он болеет/болен гриппом* оба изосемичны и изоморфны, с тем, что (это свойственно славянским языкам) здесь информация о состоянии (болеет/болен) конкретизирована названием болезни, что невозможно при соответствующих словах ни в одном из трех упомянутых языков. Предложение *У него грипп* – это уже решение определенных коммуникативных задач, где подлежащее *грипп* и на денотативном, и на семантическом уровне конечно же предикат состояния. Члены предложения и части речи, с одной стороны, и денотативные роли, с другой, не связаны жесткой связью.

Второй вопрос связан с представлением тематической организации предложения. Жаль, что в нашей лингвистике до сих пор не выработаны общепринятые средства маркировки компонентов коммуникативной структуры предложения с учетом типов интонационных конструкций: глубоко и тонко разработанный автором материал русского и английского языков в буквальном смысле “вопиет”, требуя более формализованного представления, что обеспечивает однозначность понимания и прочтения.

Наконец, последняя из представленных работ О.Н. Селиверстовой “Русские простран-

ственные и дистанционные наречия и предлоги” (см. книгу Е.Н. Мальяр, О.Н. Селиверстова. Пространственные и дистанционные наречия и предлоги в русском и английском языках // Slavistische Beiträge. Bd 362. München, 1998) представляет очень успешный опыт выявления концептов, как называла эти смыслы сама О.Н., свойственных русским предлогам, способным выступать и в роли наречий. И как человек, занимающийся и предлогами, и пространственными отношениями, я могу только низко склониться перед памятью автора этой работы. О.Н. поставила перед нами новые задачи, дав путеводную нить к их решению.

Выше было сказано о некоторой сложности метаязыка в ряде работ автора. Это не в упрек. Одним из главных достоинств всей деятельности О.Н. можно назвать стремление найти формализованные способы представления языковых объектов, в том числе и структуры смыслов. Нашей науке очень не хватает этого аппарата формализации. Поэтому опыт Ольги Николаевны Селиверстовой и в этой области представляет несомненный интерес и заслуживает изучения.

М.В. Всеволодова

М.А. Робинсон. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М.: Индрик, 2004. 432 с.

В монографии М.А. Робинсона освещается положение славяноведения и его академической элиты в первые десятилетия советской власти. Материалом для книги послужили письма около шестидесяти ученых, преимущественно славистов (К.Я. Грота, Н.С. Державина, Н.Н. Дурново, Д.К. Зеленина, Г.А. Ильинского, В.М. Истрина, Н.М. Каринского, Е.Ф. Карского, Н.П. Кондакова, П.А. Лаврова, Б.М. Ляпунова, Н.К. Никольского, В.Н. Перетца, А.М. Селищева, М.Н. Сперанского, А.И. Соболевского, А.И. Томсона, М.Р. Фасмера, В.А. Францева, К.В. Харламповича, А.А. Шахматова, Р.О. Якобсона, а также их коллег и учеников), в настоящее время хранящиеся в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, М.А. Робинсон обращается к дневниковым записям ученых, их воспоминаниям, к протоколам заседаний и постановлениям Академии наук, к материалам, относящимся к деятельности карательных органов и высших партийных инстанций, а также к периодике и книгам как изучаемого исторического

периода, так и к более ранним и более поздним изданиям. Уже в привлечении большого количества документов эпохи, в публикации архивных документов есть очевидное историографическое достоинство монографии.

Книга состоит из предисловия, восьми глав, заключения, двух приложений, списка использованных при подготовке издания архивных фондов и именного указателя.

В Предисловии говорится об источниках, целях и проблематике исследования. Если в начале XX века отечественная славистика была развитой областью гуманитарной науки и имела безусловное признание как в самой России, так и за ее пределами, то Октябрьская революция 1917 г. прервала естественный процесс развития славяноведения в России. В то же время, детального изучения истории отечественного славяноведения 1917– начала 1930-х годов до сих пор не предпринималось, как и изучения более частных вопросов, связанных с отношением к ведущим научным школам прошлого и их лидерам, с историей ликвидации Отделения

русского языка и словесности как самостоятельной научной структуры в рамках Академии наук, с взаимоотношениями эмигрировавших славистов с учеными, оставшимися на родине.

На основании материалов, приведенных в первой главе ("Политика, наука, идеология"), можно видеть, что в то время как события Февральской революции были встречены академической элитой в основном с сочувствием, первые же шаги советской власти произвели на ученых самое негативное впечатление. Одни ученые (Н.П. Кондаков, А.П. Доброклонский, С.Г. Вилинский) эмигрируют, другие (С.Ф. Ольденбург) принимают новые власти, но большинство славистов остается на родине, укрепляясь при этом в своем неприятии новой политической системы. Именно в этих тяжелых условиях, во времена арестов и ссылок ярко проявилась одна из лучших академических традиций – солидарность членов научного сообщества друг с другом. С другой стороны, несмотря на все трудности бытового и идеологического характера, ученые-слависты не отказывались от научно-исследовательской работы – напротив, она зачастую становилась для них смыслом существования, опорой в тяжелейшие моменты жизни.

Во второй главе рассказывается об "ученых в условиях выживания", о преодолении ими – на протяжении всего послереволюционного пятнадцатилетия – материальных трудностей, прежде всего, голода и холода. Тяжелые испытания, выпадавшие на их долю, зачастую побуждали ученых отказываться от научной деятельности как основного источника заработка: характерен в этом отношении пример И.Е. Евсеева, занявшегося хлебопашеством. Представители старшего поколения славистов переносили возникшие трудности особенно тяжело: так, уже в августе 1920 г. из жизни уходит глава академического Отделения русского языка и словесности А.А. Шахматов... Как видно по письмам, солидарность ученых в это время сказывается в том, что они оказывают друг другу посильную помощь продовольствием, стараются поддерживать друг друга морально. В этом отношении особенно показателен пример А.И. Соболевского, никогда не жаловавшегося коллегам на трудности быта. Лишь начиная с 1925 г. тема материальных трудностей постепенно уходит из переписки ученых и положение академической элиты если не улучшается, то стабилизируется на "терпимом уровне" (с. 121) – однако в эпоху коллективизации ученым вновь предстоит пережить холод и недоедание. Именно материальные условия существования зачастую определяли в это время место жительства ученых, что вело как к рас-

пылению высококвалифицированных кадров, так и к возникновению на территории страны новых научно-педагогических центров. Повышение же уровня жизни в Москве и Ленинграде после Гражданской войны вело к концентрации науки именно в этих городах, что иногда отрицательно влияло на жизнь провинциальных университетов.

В третьей главе («"Новая религия" вместо науки: противники и сторонники») говорится о "марксистских течениях" в гуманитарных науках (марризм в лингвистике, так называемое социологическое направление в литературоведении) и о сложных отношениях их представителей с традиционной академической славистикой. По мнению автора, "новые веяния политико-методологического характера имели для славистики в широком смысле особенно серьезные негативные последствия" (с. 145). Дело в том, что "обоснованием славяноведения как особой отрасли научного знания служили не только факты исторической и культурной близости славянских народов, но всегда и прежде всего их языковое родство" (там же). Теория же Н.Я. Марра (в позднем ее варианте, после 1923–1924 гг.) отвергала существование языковых семей и языкового родства в целом, заменяя соответствующие понятия представлениями о стадийности языкового развития и различных "типах"-стадиях (их у Марра выделялось то три [Марр, I: 89], то четыре [Марр, II: 405] – см. об этом [Томас 1957: ch. 6]) единого "глоттогонического" процесса. Кроме того, такие видные слависты, как Г.А. Ильинский, не могли оставаться в стороне от публичных обсуждений теории Марра – пусть те и имели вид скорее общественной расправы с его оппонентами. Так, в феврале 1929 г. Е.Д. Поливанов выступил с докладом "Проблема марксистского языкознания и яфетическая теория" в Коммунистической Академии в Москве. Цель доклада состояла в том, чтобы доказать несостоятельность притязаний марризма не только на лингвистическую ценность, но и на его марксистскую принадлежность. Единственным ученым, который публично поддержал Поливанова, стал именно Ильинский – что впоследствии стоило ему издания его "Праславянской грамматики", над которой ученый работал много лет, а также выборов в советскую Академию наук в 1931 г. Позиция же славистов, поддерживавших Марра или занимавших лояльную позицию в отношении его теорий (Н.С. Державин) не могла не вызывать презрения большинства академической славистической элиты. Однако, как показывает М.А. Робинсон, наряду с открытой оппозицией и лояльностью, существовал и еще один путь, который позволял ученым-славистам сохра-

ниться в новой научной среде: “временно отойти в сторону, не поднимать принципиальных методологических вопросов, сохраняя при этом свои убеждения” (с. 184). Так поступил, например, Б.М. Ляпунов, возглавивший открывшийся в 1933 г. Кабинет славянских языков в Институте языка и мышления (которым руководил лично Марр) и в то же время активно добывавший издания книг по славистике, в которых отвергались основные методологические приемы марризма.

Четвертая глава (“Ученые-эмигранты и российская славистическая элита”) повествует о жизни эмигрировавших после революции 1917 г. славистах (В.А. Францев, М.Р. Фасмер, Р.О. Якобсон) и их связях с учеными, оставшимися на родине. Эмигрировавшие слависты не только взяли на себя задачу восстановления личных связей, которые существовали между членами мирового славистического сообщества до начала Первой мировой войны, но и по мере возможности оказывали помощь своим оставшимся на родине коллегам. В 1927–1928 гг. переписка русских ученых, находящихся по обе стороны границы, оживает. Эмигрировавшие слависты направляют в Россию и своих новых учеников. Однако эпоха “великого перелома” и начало политических процессов в СССР, как и уход из жизни виднейших славистов, оставшихся на родине, стали важными факторами в прекращении контактов.

В пятой главе (“В.Н. Перетц и его научная школа”) на примере знаменитого киевского “Семинария русской филологии при императорском Университете св. Владимира” под руководством В.Н. Перетца рассказывается о такой замечательной традиции дореволюционной славистики, как формирование научных школ. М.А. Робинсон обращает особое внимание на отношения самого Перетца с его учителем Соболевским, показывая их важность для формирования личности Перетца как педагога. Такие положения, как необходимость для ученого заниматься самостоятельными поисками новых источников, уважение учителя к личности ученика, которые были очевидны для самого Соболевского в отношениях с Перетцем, были поставлены последним и во главу угла его собственной педагогической работы. Из его научной школы, выросшей из киевского Семинария, вышли такие замечательные исследователи-слависты, как В.П. Адрианова-Перетц, М.Н. Тихомиров. Именно они в значительной степени способствовали возрождению и развитию традиций академической науки, когда в России появилась возможность освобождения от привнесенной в науку коммунистической идеологии.

В шестой главе рассказывается о по-своему трагической судьбе К.Я. Грота и “отношении нового славноведения к предшественникам”. К.Я. Грот – известный русский славяновед и один из первых учеников В.И. Ламанского – принял и Октябрьскую революцию, и советскую власть (см. опубликованную в Приложении 1 рукопись его записки “Мой взгляд на переживаемую эпоху”). Это объяснялось его следованием научно-идеологическим схемам Ламанского, в частности, положению последнего о противоположности и борьбе западно-германского и греко-славянского миров, об “особом пути” развития России [Ламанский 1892]. Однако от новой власти пострадал и Грот: некоторые его статьи не печатались, вину ему вменялось отсутствие в его работах “передовых”, марксистских методов. В той же главе М.А. Робинсон показывает, как отношение к личности и трудам Ламанского (см., в частности, приводимую в Приложении 2 машинописную копию доклада В.Н. Кораблева “Славяноведение на службе самодержавия (Из деятельности академика В.И. Ламанского)” и сравнение ее с оценкой деятельности Ламанского Державиным в годы Великой Отечественной войны) на разных этапах существования советского славноведения может считаться важным критерием идеологизированности последнего.

В седьмой главе (“Реформирование “Отделения родного языка”») речь идет о ликвидации самостоятельности академического Отделения русского языка и словесности в 1927 г. Ответственность за это во многом лежала не столько на новых властях, сколько на руководстве самой Академии наук. Действия эти отнюдь не были направлены на улучшение использования научных сил, но являлись первым шагом на пути советизации Академии. В частности, введение в список дисциплин, имеющих отношение к Отделению гуманитарных наук, экономики, социологии “и т. п.” (с. 341) открывало “широкий путь к пополнению Отделения партийно-государственными функционерами и <...> марксистско-ориентированными учеными” (там же).

В заключительной главе (“Начало конца “старой” Академии») говорится о тенденции к полному подчинению Академии наук государству: в конце двадцатых годов все большую роль в структуре Академии начинали играть выдвинуты последние лет, происходило внедрение в высшую школу коммунистической идеологии, безграмотность носителей которой не могла не волновать старых академиков. Крайне болезненно воспринималась членами бывшего Отделения русского языка и словесности и невозможность полноценной реализа-

ции своих научных сочинений: многим было гораздо легче опубликовать свои труды за границей, чем в СССР. Как фактический “конек Академии” охарактеризовал итоги выборов в Академию в 1928 г. Ильинский (с. 358): в то время одним из главных успехов проведенного реформирования Академии считалось избрание в академики кандидатов-коммунистов. Наконец, не удовлетворяясь организационной победой над старой Академией, советские власти направляли значительные усилия и на вытравливание самого духа Академии и уничтожение прежних академических традиций: института научных школ, формировавшихся вокруг личности учителя, традицию терпимости к иным как научным, так и политическим взглядам...

Подводя итоги исследования в *Заключении*, М.А. Робинсон особенно подчеркивает, что огромные трудности как идеологического, так и бытового характера все же не могли отвратить ученых от исследовательской и преподавательской работы. Радикальные же меры по уничтожению лучших академических традиций, предпринятые властями, не имели полного успеха. Именно поэтому изучение славянских языков и литератур, продолженное учениками славистов старших поколений, не прекращалось в СССР даже в пору самых жестких гонений на славистику. Как резюмирует автор, стремление представителей отечественной научной элиты “следовать в любых, даже самых неблагоприятных обстоятельствах, высоким академическим традициям являет поучительный пример нравственного служения науке” (с. 385).

Книга М.А. Робинсона, несомненно, будет интересна как славистам, так и историкам науки. Отметим, правда, что об истории науки как таковой (зарождение и развитие концепций, взаимовлияние научных теорий) речь в монографии не идет. Автор рассказывает прежде всего о судьбах ученых, не отделяя их в то же время от истории науки: “История всякой науки складывается не только из истории идей, концепций, исследований, но также из истории научных институций и судеб отдельных ученых” (с. 12). При этом вполне понятные симпатии и сочувствие М.А. Робинсона тем достойным представителям академической элиты, о которых идет речь в монографии, не всегда позволяют читателю должным образом дистанцировать позиции автора и его героев – тем более что некоторые фрагменты переписки славистов оставлены М.А. Робинсоном без комментариев. Конечно, в каких-то случаях никакие комментарии и не нужны – например, когда говорится о негативной оценке представителями академической славистики, ориентированной по преимуществу на исторический

(диахронический) подход, зарождавшейся в то время фонологии (с. 175). В других же случаях – особенно если речь заходит о малоизвестных в современной России ученых – комментарии автора могли бы оказаться полезными. Например, в одном из писем Перетцу Соболевский негативно отзывался как о человеческих качествах, так и о научных достижениях чешского этнографа, фольклориста и литературоведа Ч. Зибрта (с. 233) – последний определен в Именном указателе только как литературовед. Но в описываемую эпоху существовали и прямо противоположные мнения об этом ученом, причем не только в Чехии, но и в России (см. об этом [Вельмезова 2004]), где в 1912 г. Зибрт был избран членом-корреспондентом Российской Академии наук по Отделению русского языка и словесности (последнее отмечается в Именном указателе).

Особенно же отчетливо тенденция к сближению авторской позиции с точкой зрения тех, о ком исследователь пишет, проявилась в третьей главе книги, где говорится о научных и идейных противниках гонимых славистов – марристах. Конечно, писать о марризме с научной точки зрения сегодня – тем более в России и в контексте описываемых в книге трагических событий в истории отечественной науки – непросто. Однако объявляя, вслед за славистами изучасмой эпохи, марризм не более чем “галиматей” (с. 160), говоря о “полной ненаучности идей Марра” (с. 147), автор тем самым фактически отказывает его концепции в изучении. Это приводит к неточностям в изложении теории Марра, на которых хотелось бы остановиться подробнее.

Прежде всего, нельзя говорить о том, что учение Марра “полностью отрицало все предшествующее языкознание” (с. 146): даже пострадавший от марризма Н.Н. Дурново в 1929 г. писал (и это цитируется в книге), что “Марр выдает за свои откровения, по [большей] ч[асти], мнения, высказывавшиеся лингвистами лет 70–80 тому назад” (с. 159). Сходство теорий Марра с воззрениями некоторых лингвистов – его предшественников (например, стадийной концепцией братьев А.В. и Ф. Шлегелей) – уже отмечалось и исследователями марризма (см. [Алпатов 1991: 37]), общие положения были и в концепциях Марра и некоторых других лингвистов той эпохи: Г. Шухардта (принцип языкового скрещения), Л. Щербы (понятие диффузных звуков) и т.д. Спорил же Марр в основном с представителями сравнительно-исторического языкознания – соответствующие положения, правда, разделяли и большинство славистов, о которых идет речь в книге.

Преследования славистов марристами отчасти объясняются М.А. Робинсоном тем, что

Марр отрицал сами понятия национальных языков и языкового родства как ненаучные. Однако в этом отношении теория Марра была скорее неоднозначна и противоречива: отрицание национальных языков и языкового родства не мешало тому же Марру писать – пусть зачастую (но не всегда!) и давая им отличную от общепринятой интерпретацию – о “славянах” и “славянских языках” как таковых даже в поздних своих работах (см. хотя бы [Марр, V: 262, 264]). Не стоит забывать и о том, что при Институте языка и мышления в 1933 г. был открыт Кабинет славянских языков (об этом в книге говорится). Гораздо более категоричной по данному вопросу была позиция других ученых – современников описываемых событий, например, члена группы “Языкофронт”, борвшейся с Марром и его школой с позиций марксизма, Г.К. Данилова, отрицавшего национальные языки в угоду “языкам общественных классов” [Данилов 1929].

Не совсем верно и ставить, как это делает автор (с. 148), знак равенства между яфетическими и кавказскими языками: так, в позднем варианте “нового учения о языке” Марр относил к яфетической “стадии” не только кавказские языки (например, яфетическим языком считался и баскский, см. [Марр, I: 290–311]).

Приводя многочисленные суждения славистов 1920-х гг. о ненормальности Марра, автор книги ссылается и на В.М. Алпатова – автора единственной монографии о Марре и марризме, опубликованной в России [Алпатов 1991]. Однако прямых доказательств той психической “ненормальности”, о которой пишет В.М. Алпатов [Алпатов 1991: 77], у нас сегодня все же нет, а косвенные ее подтверждения, о которых пишет автор “Истории одного мифа” (стиль работ Марра, его “графомания”, мнения других лингвистов – не врачей! – и т. д.) позволяют не более чем строить гипотезы по этому поводу. На книгу В.М. Алпатова ссылается М.А. Робинсон и приводя отдельные постулаты концепции Марра (в частности, положение о четырех первоэлементах, с. 175). Первичные же источники, то есть работы самого Марра, историк при этом не цитирует (за исключением немногочисленных фрагментов его переписки) – в каком-то смысле, следуя мнению славистов двадцатых годов, для которых теория

Марра была совершенно бессмысленной (с. 167 и 177). Впрочем, в такой оценке марризма автор монографии не одинок. В какой-то степени он следует здесь и отечественной академической традиции, когда к теории Марра подходят с чисто историографических позиций, объявляя саму теорию ненаучным бредом. Однако здесь хотелось бы вспомнить замечательный принцип “эпистемологического нейтралитета”, провозглашенный современным французским историком лингвистики С. Ору [Auroux 1989: 16]: любая теория, какой бы ошибочной и неверной она ни казалась, заслуживает внимательного к себе отношения и изучения. Ведь и одна из лучших академических традиций, о которых говорится в книге М.А. Робинсона, предполагала терпимое и уважительное отношение ученого к своим научным противникам. Тем более важен этот принцип для историка науки.

Конечно, речь о марризме идет лишь в одной из восьми глав книги, в которой, к тому же, говорится прежде всего не о самих марристах, а о трагических судьбах их противников. Поэтому некоторые неточности в изложении концепции Марра ни в коей мере не умаляют всей значимости огромной исследовательской работы, проделанной М.А. Робинсоном.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов 1991 – В.М. Алпатов. История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
 Вельмезова 2004 – Е.В. Вельмезова. К 140-летию Ченека Зибрта // Живая старина. 2004. № 4.
 Данилов 1929 – Г.К. Данилов. Язык общественного класса // Уч. зап. Ин-та языка и лит-ры РАНИОН. 1929. Т. III.
 Ламанский 1892 – В.И. Ламанский. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892.
 Марр – Н.Я. Марр. Избранные работы. Т. I–V. М.; Л., 1933–1937.
 Auroux 1989 – S. Auroux. Introduction // S. Auroux (éd.). Histoire des idées linguistiques. V. I–II ; V. I. Liège; Bruxelles, 1989.

Е.В. Вельмезова

Е.Ю. Протасова. Феннороссы: жизнь и употребление языка. СПб.: Златоуст, 2004. 308 с.

“Цель этой книги – попытаться понять, насколько язык влияет на жизнь человека, насколько жизнь человека влияет на его язык,

насколько человек способен повлиять на свою жизнь и на свой язык”, – пишет автор в предисловии и на протяжении десяти глав последова-

тельно идет к поставленной цели и, с моей точкой зрения, успешно ее достигает.

В первой главе “Социолингвистические, психологические и антропологические подходы к исследованию двуязычия и идентичности” автор рассматривает обширную литературу, посвященную плюрицентричным языкам, языковым правам человека в многоязычных государствах, этапам межкультурной адаптации. Специальный параграф посвящен дискурсу и идентичности. Приводятся отличительные черты коммуникации в иммигрантской среде, говорится о формульности языка иммигрантов, т. е. употреблении готовых речевых оборотов и конструкций. Подводя итоги данной главы, автор заключает, что “эмигрантология вынуждена считаться с взаимным переплетением в языковых судьбах информантов явлений лингвистического, психологического и социального порядка”.

Вторая глава посвящена методам исследования в эмигрантологии. Подчеркивается, что методы исследования в эмигрантологии носят междисциплинарный и трансдисциплинарный характер, сочетая различные принципы и подходы анализа.

Один из методов – интервьюирование. Здесь упоминаются часто возникающие вопросы о характере взаимоотношений интервьюера и интервьюируемого, уместности задаваемого вопроса, влияния вопроса на ответ, достоверности получаемых данных, подсказках, лжи и т. д. Приводятся как отрицательные стороны метода интервью: интервьюер во многих случаях предопределяет тип получаемых ответов и может манипулировать ими в своих целях, так и положительные: именно в ходе интервью, формулирования мыслей, вербализации соображений, оставшихся до этого смутными и неопределенными, и выстраивается та интеракция, в ходе которой человек уточняет, а иногда и заново определяет свою идентичность.

В исследовании языка мигрантов существенным может оказаться изучение контактов группы между собой и возникающих вследствие этого стереотипов.

Методом исследования речевого континуума часто является анализ дискурса, т. е. исследование механизма согласования отрезков коммуникации по смыслу, намерению и единству.

Если в первых двух главах автором рассматривались общие вопросы эмигрантологии, адаптации индивида в инокультурном социуме, отношения к иммигрантам в различных сообществах, то в главе “Русский язык зарубежья” тема сужается. Дается обзор новейшей литературы и Интернет-сайтов о существовании русского языка в новых геополитических условиях, о русской эмиграции в различных странах,

ее культурных аспектах, литературе, языку, образовании, о старой и новой русскоязычной эмиграции. Упоминаются исследования по языку староверов за пределами России, освещается литература об изменении русского языка в ближнем зарубежье.

С главы “Финляндские русскоязычные (феннороссы)” автор вплотную приступает к предмету своего исследования и начинает с истории финляндских русскоязычных. Первая волна иммигрантов – крестьяне, переселенные из России на Карельский перешеек в начале XVIII в. на бывшие шведские земли, образовавшие Выборгскую губернию. В 1724 г. в Гельсингфорсе было 13 русских, но в окрестностях Выборга стояли русские войска. Вторая волна – русские служащие, военные, православные священники и купцы, получившие разрешение на жительство в Финляндии; в 1880 г. – 4200 чел., в 1900 – 6000 и в 1910 г. – 7200. Третья волна иммиграции началась в связи с революцией и была самой многочисленной, в 1922 г., достигнув максимума, составляла 335000, это были русские эмигранты, ингерманландцы и беженцы из Восточной Карелии.

Среди новых иммигрантов самую большую группу составляют ингерманландские финны и прочие финны с основным языком русским, вторая по численности группа – этнические русские, приехавшие из России или Эстонии, и самая малочисленная – бывшие граждане Советского Союза, не являющиеся ни русскими, ни эстонцами, для которых основным язык – русский.

Е.Ю. Протасова не ограничивается изложением сухих исторических фактов, но обращается и к русским литературным источникам XIX–XX вв., живописующим красоты Финляндии и любовь их авторов к этой стране.

В короткой главе “Исследование языка и культуры русских в Финляндии” делается обзор литературы по следующим проблемам: расхождение между речью красноселов и разговорной речью в России; языковой, социальный, психологический статус русскоязычных переселенцев; особенности лексических заимствований, произношения, топонимических названий; наблюдение над речью “старых” и “новых” русских в Финляндии (заметьте, что, как это видно, значение термина “новые русские” в диаспоре отличается от данного термина применительно к метрополии); поведение русскоязычных учеников в финских школах. Отмечается, что положение русского языка в Финляндии уникально: здесь представлены все типы двуязычия в разных поколениях.

Прежде чем обратиться к основной проблеме главы “Языковая политика Финляндии и русский язык”, автор останавливается на ос-

новых языках Финляндии и законах о них. В отношении языков в стране действуют три принципа:

1. Индивидуальный: каждый может и должен сам определять свою языковую идентичность вне зависимости от происхождения и знания языка; на основании выбора языка своими гражданами коммуны устанавливают, являются ли они финно-, шведо- или двуязычными.
2. Территориальный: только по-шведски говорят на Аландских островах, имеющих автономию; кроме того, существует еще пять одноязычных шведских коммун.
3. Принцип коллективных прав: саамы, которые считают саамский родным языком, имеют право говорить на нем в северных коммунах с чиновниками; есть также саамские школы, радиопередачи и т.д.

В Финляндской Конституции, вступившей в силу в 2000 году, понятие “национальное меньшинство” не используется. К слову сказать, до этого момента данный термин активно употреблялся, например, № 4 за 1999 год издаваемого Министрством иностранных дел Финляндии журнала “Finfo” целиком посвящен именно национальным меньшинствам Финляндии. Кстати, на с. 11 в нем говорится, что, по закону о среднем образовании, вступившем в силу в начале 1999 года, саамские дети, проживающие в “Саамском Доме” имеют право получать основную часть образования с 1 по 9 класс на саамском языке. Однако, как пишет Е.Ю. Протасова, саамы считают, что закон опоздал на три поколения, т. к. носителей языка осталось слишком мало.

В параграфе “Коренные и некоренные жители” приводятся интересные данные о структуре населения Финляндии по языковому и религиозному признаку с 1900 по 2003 гг., о гражданстве иностранцев в Финляндии с 1990 по 2003 гг. и отдельно об ингерманландцах, приехавших в Финляндию с 1998 по 2003 гг.

Приводятся результаты социологического опроса об отношении финнов к иммигрантам. Оказывается, хуже всего финны относятся к сомалийцам и арабам, отличающимся от них своим видом, и к русским, которые представляют собой исторического врага: 12% финнов считают себя явными расистами, 41% – в невысокой степени и лишь 18% не видят в себе таких качеств. Все иностранцы знакомы с проявлением расизма и дискриминации на работе и в повседневной жизни. Исследования показывают, что аккультурация и интеграция возможны только в том случае, если общество готово принять переселенцев. Специально изучаются особенности русскоязычной иммиграции, под-

черкивается, что уровень образования прибывающих из России высок, но безработица также находится на высоком уровне.

Управление образования Финляндии способствует тому, чтобы дети-иммигранты имели возможность изучать родной язык, литературу и культуру. Однако, насколько мне известно, финские исследователи пишут о некотором прогрессе в преподавании миноритарных языков в школах Финляндии, но тем не менее констатируют, что состояние их преподавания (в том числе и преподавания русского языка) далеко от совершенства (см., например, S. Latomaa. *Minority languages in Finnish schools* // International conference on minority languages. Sweden, Kiruna, June 6–7, 2003).

Интересен, с моей точки зрения, раздел “Русский язык в финляндской системе образования”, начинающийся с того, как по указу Александра I в 1812 г. впервые в Финляндии стали преподавать русский язык, и заканчивающийся современностью; рассматриваются все уровни – от кружков до университетов.

Следующая глава – “Русскоязычные СМИ в Финляндии: особенности языка и самоопределения” – самая большая, и это не удивительно, так как в поле зрения автора попадают, видимо, все существующие периодические издания. Дается характеристика печатных изданий, описывается специфика тематики изданий: пристальное внимание к процессам употребления и преподавания языка, выявление и оценка межкультурных различий, выяснение признаков языковой и культурной интеграции в жизнь принимающей стороны, рефлексия над употреблением этнонимов и иных признаков самоидентификации, обсуждение понятий “мы” и “они”, “дом”, “родина” и т. д. Замечается, что влияние финского на русский язык СМИ на удивление ограничено. Исследуется употребление в СМИ “этнических” определений: “финский”, “финляндский”, “русский”, “российский”, “русскоязычный”, “русскоговорящий” и т.д. Приводится подборка высказываний финнов о русских и русских о финнах; и те, и другие, как оказывается, находятся в плену у стереотипов.

Не ускользнуло от внимания автора и общение в интернет-форумах, посвященных теме общения между русскими и финнами, а также язык радио и язык телевидения.

В следующей главе, сравнивая особенности устной речи в разных поколениях, Е.Ю. Протасова утверждает, что нельзя сказать, что “старые русские” говорили на более ярком, разнообразном, лексически богатом русском языке, чем “новые русские”, даже если последние – ингерманландцы, прожившие свою жизнь в деревне и не получившие образования. “Старые

русские”, прекрасно говорящие по-русски, тем не менее часто не ощущают различия в семантически близких словах “трехгодовалый / трехлетний / трехгодичный”, “давний / древний / старый / ветхий”; путают паронимы “окружность / окружение / окружающее”. У иммигрантов всех поколений наблюдается калькирование глагольного управления, у некоторых появляются более протяженные гласные и более твердые, усиленные согласные. Автор заключает, что на том, как именно адаптирует человек свою речь к условиям жизни в Финляндии, сказывается в наибольшей степени его собственный языковой опыт (не только финляндский, но и опыт изучения иных языков, посещения стран и национально-территориальных образований, контактов с представителями иных этносов, языков и культур; расширение собственного словарного запаса, взгляд на жизнь и употребление языка), и так отвечает на один из вопросов, как мы помним, поставленных в предисловии: “человек лишь отчасти может сам определить свои установки по отношению к применению языков, но не всегда, как бы этого ни хотел, в состоянии контролировать и регулировать свою речь”.

Каковы же особенности письменной русской речи у живущих в Финляндии? Влияние двуязычия на особенности письменной речи русскоязычного человека, живущего за рубежом, происходит на разных уровнях – оформление отдельного слова и текста, ошибок в произношении, отражающихся в правописании, и в реинтерпретации слова под влиянием иноязычной речи. Часть ошибок смыкается с детскими, часть – с просторечными, а некоторые отражают недостаточный опыт чтения и письма именно на русском языке. Отдельные особенности связаны с влиянием другого языка, другой культуры и другого мышления. Порог смущения или переживания собственных ошибок у живущих за границей ниже, чем в России, считает автор (однако заметим вскользь, что, судя по “грамотности” общения в российских интернет-форумах, порог этот у живущих в России русскоязычных также достаточно низок).

Несколько особняком стоит последняя глава “Языковые биографии финнороссов”, безусловно, представляющая отдельный интерес. Приводятся записи устных интервью, проводимых автором, и письменного анкетирования среди русскоязычных жителей Финляндии разных поколений. Делалось это для выяснения специфики связей индивидуального варианта языка и биографии человека. В анкетах и интервью задавались вопросы об усваиваемых языках, их количестве и соотношении; о языке (языках) родителей, бабушек и дедушек; о на-

циональности; переездах; об использовании в настоящий момент языка (языков) в разных функциях, соотношении этих языков; о родном / важном / главном / основном языке (языках); о качестве русского языка респондента по его собственной оценке; о нужности / ненужности, по мнению респондента, сохранения русского языка в диаспоре.

Языковые биографии у всех разные, кому-то в силу обстоятельств было проще сохранить язык, кому-то труднее, кто-то овладел большим количеством языков, кто-то – меньшим и т.д. Бросается в глаза, что почти каждый из респондентов говорил об испытанном им бытовым негативным отношении финнов к себе.

Помимо проблем, которые ставит и решает автор, опубликованные языковые биографии финнороссов неожиданно высвечивают и другие, выходящие за рамки тематики данной книги. Например, Т.А. Ниеминен, удивительно талантливый человек с непростой судьбой, родившийся в 1927 году в Карелии, рассуждает: «С 5-го класса начали изучать немецкий язык. Так что я его изучал только 2 года и по 2 урока в неделю. Так что это только в пределах “Anna und Marta baden” [...] За 4 года учебы [в техникуме], а английский был только на 2 курсах, да и очень мало часов, так что изучить язык при таком отношении к нему не было никакой возможности. Мне сейчас кажется, что это тоже была государственная политика, чтобы основное население не могло изучить языки. Это было возможно только для избранных. В школе немецкий, в техникуме – английский, а в итоге – никакой».

Невозможно удержаться от сравнения с другой языковой биографией – Ольги 12 лет: “Я финский знаю, потому что всегда жила в Финляндии. Шведский начала учить в детском саду, и там все общаются и учатся на шведском языке... С самого начала я научилась писать по-шведски и по-русски. По-фински я не училась специально читать и писать, но умею хорошо без всяких уроков. Родители мои – русские. Они говорят на русском языке... Мой родной язык – русский. Мой важный, главный язык – шведский и русский. В школе говорю по-шведски. В городе говорю по-фински и с моими финскими друзьями. Дома говорю по-русски, а английский и французский в школе изучаю. В семье общение на русском... Читаю на шведском. Смотрю телевизор на всех известных мне языках. Общаюсь с друзьями на трех языках. Это зависит от того, что у меня русские, финские и шведские друзья”.

“Финнороссы: жизнь и употребление языка” охватывает все аспекты культурной и языковой интеграции русскоязычных иммигрантов в Финляндии. Книга эта не только решает

чисто теоретические, интересные специалистам проблемы взаимовлияния языка и жизни человека, но также (хотя, по всей видимости, автор не ставил такой задачи) в некоторых своих частях может служить пособием для потенциальных эмигрантов. Для тех, кто еще только задумывается об эмиграции как одном из вероятных вариантов своей судьбы, это –

возможность “примерить на себя” все описанные трудности, связанные с интеграцией в иную культурную среду. Те же, кто уже на все решился, по многим вопросам найдут на страницах данной книги подробную инструкцию.

Т.Б. Агранат

Ö. Dahl. The growth and maintenance of linguistic complexity. Amsterdam: John Benjamins, 2004. X + 336 p.

Выдающийся шведский лингвист Эстен Даль известен в нашей стране прежде всего как специалист по грамматическим категориям глагола (в первую очередь виду и времени). Его книга “Видо-временные системы”, опубликованная ровно 20 лет назад, стала образцом типологического исследования грамматической семантики и, наряду с работами Джоан Байби, заложила основу целого исследовательского подхода, известного как “подход Байби/Даля” (см. [Dahl 1985; Bybee, Dahl 1989]). Из более поздних публикаций в рамках данного направления можно упомянуть фундаментальный труд Дж. Байби и ее коллег “Эволюция грамматики: вид, время и модальность в языках мира” [Bybee et al. 1994], а также сборник статей “Вид и время в языках Европы” под редакцией Э. Даля, который, в частности, включает его обзорные статьи, посвященные типологическим особенностям европейских видо-временных систем и грамматикализации будущего времени в европейских языках [Dahl (ed.) 2000; Dahl 2000a; 2000b].

Новая книга Э. Даля, посвященная возникновению и сохранению “языковой сложности”, является в определенном смысле итоговой и обобщает ряд наблюдений автора, обсуждаемых в работах последних лет¹. В ее центре также находится “эволюция грамматики”; речь, однако, идет уже не о путях грамматикализации конкретных показателей (например, перфекта или будущего времени), а о способах развития и длительного сохранения в языке устойчивых грамматических моделей, “жизненный цикл” которых может исчисляться тысячами.

“Сложность” (complexity) понимается при этом с точки зрения соотношения между содержанием и средствами, используемыми для его выражения. Так, более сложным язык делает наличие обязательных грамматических показателей, которые используются даже в том случае, когда определенное значение уже и так выражено в предложении: ср. английское (или соответствующее русское) *I called her yesterday* ‘я позвонил ей вчера’, где обязателен показатель времени (в данном случае *-ed / -l*), несмотря на наличие наречия ‘вчера’. В ряде языков изолирующего строя соответствующее содержание будет выражено приблизительно как ‘я звонить она вчера’, без какого-либо маркирования глагола по времени. В этом смысле показатель времени в приведенных выше английском и русском предложениях является “типологически необязательным” (cross-linguistically dispensable), как и сама категория времени.

Большая сложность выражения не всегда соответствует его большей “тяжести”, или “многословности” (verbosity, по Э. Далю): так, прошедшее время в англ. фразе *I saw her yesterday* ‘я видел ее вчера’ выражается не сегментными средствами, а чередованием в глагольном корне. Нетрудно заметить, что языковые структуры, которые можно квалифицировать как “сложные”, являются обычно результатом длительного пути развития и предусматривают достаточно нетривиальную историю. Для описания такого рода явлений Э. Даль использует понятие “созревания”, или “взросления” (maturation) языковых структур – “грамматическое созревание” является одним из основных понятий в данной книге, поскольку именно оно, как правило, приводит к росту сложности в языке.

О сложности можно говорить применительно к разным аспектам устройства языка (с. 40–45). Так, в количественном отношении сложность соответствует богатству инвентаря лексических или грамматических единиц, имеющихся в языке; условно говоря, этот

¹ Стоит отметить, что благодаря участию Э. Даля в традиционных “типологических школах” часть российской аудитории уже знакома с некоторыми его идеями по поводу эволюции и стабильности грамматических структур (см. [Даль 2000; Dahl 2002]).

инвентарь определяет “выразительную силу” языка – то, что может быть выражено. От этого следует отделять системную сложность, т.е. сложность грамматических правил, регулирующих то, как должно выражаться содержание. Помимо сложности “языка в целом” можно оценивать и сложность конкретного языкового выражения: например, с точки зрения его фонетического веса, структурной сложности (количества морфем) или длины деривационной истории (т.е. количества шагов, необходимых для порождения данного выражения). Таким образом, “сложность” языка рассматривается скорее в теоретико-информационном смысле – как мера количества информации, необходимая для описания системы, – а не как синоним более “практического” понятия трудности для усвоения (*difficulty*). Важно, при этом, что языковое изменение обычно не бывает направлено в сторону большей или меньшей сложности “вообще” – нередко с увеличением сложности в одном аспекте она уменьшается в другом.

Ниже мы попытаемся воспроизвести основную линию аргументации автора, связанную с понятием “грамматической зрелости” и взаимодействием изменчивости и стабильности в языке.

Как уже говорилось, “зрелые” языковые явления подразумевают длительную и не всегда тривиальную историю; они не являются универсальными, хотя и свойственны многим языкам². К такого рода явлениям можно, в частности, отнести: сложную структуру слова (в том числе словоизменительную и словообразовательную морфологию и инкорпорирующие конструкции), индивидуальные лексические особенности (например, род существительного, тип склонения или спряжения, модель управления глагола), синтаксические явления, тесно связанные со словоизменительной морфологией (в первую очередь согласование и отчасти падежное маркирование), несегментные признаки морфем и словоформ и др. (с. 111–115). В целом, рост “зрелости” приводит к увеличению нелинейности – возникновению просодических признаков в фонетике и несегментных средств выражения в грамматике.

Процесс “созревания” грамматических моделей включает три основных компонента: распространение модели (*pattern spread*), “выравнивание” модели (*pattern regulation*) и “приспособление” модели (*pattern adaptation*). Ра с

пространение модели состоит в ее постепенном использовании во все большем числе контекстов – например, когда конструкция с глаголом “хотеть” начинает употребляться и с неодушевленными субъектами при описании наступающего события (“хочет пойти дождь” = “вот-вот пойдет дождь”). Одна из ключевых особенностей “грамматического созревания” состоит в том, что распространение модели ведет к умнению информационно значимости выражения, т.е. к ее “риторическому обесцениванию” (*rhetorical devaluation*). На протяжении книги Э. Даль не раз использует “денежную” метафору при описании языковой эволюции: при расширении контекстов употребления семантическая нагрузка выражения становится все меньшей подобно тому, как деньги обесцениваются при чрезмерном увеличении их количества в свободном обращении. Подобные “инфляционные процессы” играют значительную роль не только в экономике и в языковых изменениях, но и в развитии культурных явлений в целом (ср., например, неизбежное “обесценивание” высокого титула при награждении этим титулом слишком большого числа людей за короткое время).

При “выравнивании” происходит “разграничение полномочий” между двумя и более грамматическими моделями, занимающими одну нишу (например, между старой и более молодой видо-временными формами с близким значением). Более старая форма может либо полностью исчезнуть из языка, либо между сферами действия одной и другой формы могут установиться определенные границы; с другой стороны, на протяжении длительного времени распределение форм в рамках одной “ниши” может оставаться нечетким.

Наконец, новая грамматическая модель, получающая все большее распространение, проходит через этап “приспособления”, т.е. фонетической редукции, в ходе которой формальная “тяжесть” конструкции уменьшается и в определенном смысле восстанавливается баланс между ее коммуникативной функцией и фонетическим весом. При рассмотрении фонетических изменений имеет смысл разделять два их типа; к одному можно отнести “фонетические законы” в понимании младограмматиков, которые применимы к любым языковым единицам без исключения. Однако для процесса “грамматического созревания” более важен другой тип звуковых изменений – “адаптивные” изменения, которые происходят в результате расширения употребительности языковой единицы (так, например, испанское выражение *Vuestra Merced* ‘ваша милость’ превратилось в *usted* вследствие использования в функции местоимения второго лица). Ключевую роль в

² Одной из сторон “грамматического созревания” является и грамматикализация в традиционном понимании, как “процесс превращения лексических единиц в грамматические” (с. 119).

данном случае играет не столько частотность редуцируемого элемента, сколько его низкая информационная значимость (свойственная грамматическим показателям) – на это указывает, например, тот факт, что одна и та же частотная лексема подвергается редукции не во всех своих употреблениях, а только в грамматизированных (например, числительное ‘один’ только в роли неопределенного артикля, глагол ‘идти’ только в конструкции со значением будущего времени типа англ. *gonna do* и т.п.).

Особое место в процессе “грамматического созревания” занимает создание особого рода сложных нелинейных структур (данное явление получает в книге название *featurization*, т.е. “проявление признаков” на высоких иерархических уровнях, прежде всего уровня слова в целом). Признаки, как правило, соответствуют значениям традиционно выделяемых грамматических категорий типа ‘настоящее время, индикатив, 3-е л., ед. число’ для латинского *habet* или французского *a* ‘он имеет’. Примеры морфологических явлений, возникающих на достаточно “продвинутых” этапах “грамматического созревания” и не поддающихся описанию в рамках элементарно-комбинаторной (или аддитивной) модели морфологии – фузия, кумуляция, супплетивное выражение, синкретизм, нулевое маркирование. Все такие явления приводят к росту системной сложности, поскольку определенные абстрактные сущности (признаки) не соответствуют напрямую каким-либо элементам плана выражения. Не удивительно, что при “субоптимальном” усвоении языка (например, как второго) говорящие испытывают значительные трудности именно с подобными нелинейными способами выражения грамматических значений.

Будучи очевидными примерами языковой сложности, “зрелые” грамматические структуры демонстрируют вместе с тем удивительную жизнестойкость. Язык в целом является достаточно стабильным по сравнению с целым рядом культурных явлений (таких, например, как государственное устройство или календарь). Как известно, в лексике большой устойчивостью отличается базисный “100-словный список” Сводеша, скорость “выпадения” которого составляет 15% слов за одно тысячелетие. В грамматике также имеются примеры чрезвычайно древних моделей: так, существование германского аблаута как средства выражения грамматических противопоставлений можно оценить по крайней мере в две тысячи лет, а история семитских разрывных аффиксов (трансфиксов) насчитывает как минимум пять тысячелетий. Можно утверждать, что на более поздних стадиях “созревания” грамматические модели являются наиболее устойчивыми. “Мо-

лодые” конструкции возникают часто, и конкуренция среди них является более сильной; немногие из них достигают сильно грамматизированной стадии. “Зрелые” же модели типа способов образования английских неправильных глаголов существуют длительное время и нет ощущения, что после тысяч лет сохранения в языке они близятся к закату. Эта ситуация, конечно, может измениться при “нестественном” ходе развития языка, например, при сильном контактном влиянии, в результате которого сложные структуры имеют тенденцию “отфильтровываться” (по мнению Э. Дала, именно такова причина широкомасштабных изменений в западноевропейских языках на протяжении последних двух тысячелетий).

Неверным, по мнению Э. Дала, является рассмотрение языковых изменений лишь в терминах “упрощения” структуры языка. Впервые, на вопрос о том, “становятся ли языки все более сложными со временем?” (таково название одного из разделов книги), следует дать утвердительный ответ: при нормальных “экологических условиях”, т.е. при оптимальной передаче языка от поколения к поколению, количество “усложняющих” языковых изменений скорее всего превышает количество “упрощающих”. Иначе, например, трудно было бы объяснить, почему действие “усложняющих” и “упрощающих” изменений не уравновешивает друг друга, а сами языки не остаются при этом на достаточно стабильном “простом” уровне³. Не исключено, что в более удаленной исторической перспективе (например, до эпохи земледелия) роль “разрушительных” контактных влияний языков друг на друга была меньшей – так, маловероятно, чтобы в эпоху палеолита на территориях с небольшой плотностью населения кочевые племена могли переживать массовую “субоптимальную” передачу языка. Представляется интуитивно верным, что поистине сложные языковые структуры характерны для языков доиндустриальных обществ, хотя “доказать или опровергнуть это предположение достаточно трудно, и существует достаточно большая вариативность среди языков, на которых говорят народы, живущие (или еще недавно жившие) за счет охоты и собирательства” (с. 295).

³ В данном случае речь идет о гипотезе, что на заре своей истории человеческий язык имел менее сложную структуру, чем сейчас; возможна, конечно, и альтернативная точка зрения, согласно которой уже при возникновении он имел достаточно высокий уровень сложности, сравнимый с тем, который демонстрируют современные языки (с. 276–280).

Во-вторых, что не менее важно, нельзя говорить об упрощении “вообще”, поскольку имеются различные виды языковой сложности, и упрощаться в ходе изменений могут лишь какие-то из них, при сохранении (или даже росте) прочих. Если представить “языковой ландшафт” в виде равнин (обозначающих “простые”, “естественные”, “немаркированные” состояния) и холмов (обозначающих состояния “сложные”, “неестественные” и “маркированные”), то “упрощенческая” модель будет предполагать, что языки постепенно “спускаются” в наиболее низкие участки и продолжают оставаться там. Напротив, по мнению Э. Даля, в языковом развитии имеется и тенденция к движению “вверх”, и в ходе своей истории язык может на длительное время “закрепиться” на достаточно высокой точке (с. 293).

Процесс “грамматического созревания” трудно назвать “циклическим” или “спиральным” в прямом смысле (т.е. предусматривающим возникновение структуры, ее развитие, утрату, возникновение на ее месте новой структуры и т.п.), скорее он является “диалектическим”. Распространение новой грамматической модели ведет к увеличению общей “избыточности” (или уже упоминавшейся “многословности”, *verbosity*) системы; процесс “приспособления” модели, напротив, направлен в сторону уменьшения этой избыточности. Результатом является, однако, не возвращение к начальному состоянию, а скорее “выгодное” использование избыточности в системе т.е. “разумная избыточность” (*smart redundancy*). Так в системе возникает “синтез” в обоих смыслах слова – и диалектический (как результат взаимодействия тезиса – распространения модели и антитезиса – приспособления модели), и лингвистическом (как сложная структура словоформы).

Конечно, само по себе наличие “зрелых” структур не является строго обязательным для любого языка. Тем не менее, в их наличии можно усмотреть определенные преимущества: благодаря “разумной избыточности” средств выражения передача информации становится более надежной. В связи с этим интересны и идеи автора о функции грамматического рода, являющегося одним из наиболее распространенных в языках мира примеров языковой сложности (согласование по роду обычно является обязательным и, кроме того, почти всегда выражается словоизменительными средствами). Говоря упрощенно, род в понимании Э. Даля является “механизмом предотвращения ошибок” (*error-checking mechanism*): наличие показателя согласования служит указанием на то, что в высказывании имеется существительное данного рода, поэто-

му отсутствие подобной комбинации является сигналом адресату о том, что его восприятие сообщения не было верным (с. 202).

В заключение Э. Даль отмечает, что распространённый тезис “языки меняются, но не эволюционируют” нуждается в пересмотре. Действительно, современные языки не делятся на “примитивные” и “высокоразвитые”, как предполагали некоторые лингвисты XIX века, усматривая корреляцию между уровнем развития общества и совершенством языковой структуры. Тем не менее, наличие во многих языках “зрелых” явлений, предусматривающих нетривиальную историю, говорит о том, что языкам свойственно двигаться в сторону возрастающей сложности. Корреляция между языком и культурой может оказаться в этом отношении как раз противоположной, нежели предполагалось ранее: возникновение крупных индустриальных обществ с мобильным населением может приводить к той “субоптимальной” передаче языка (*suboptimal transmission*), в которой “нивелируются” многие сложные структуры (с. 296)⁴.

В целом, содержание 12 глав книги далеко не исчерпывается обсуждением приведенных выше положений. Напротив, в ней затрагивается так много частных вопросов, что остановиться на всех из них в рамках одной рецензии не представляется возможным. Это обстоятельство не без иронии отмечает в предисловии и сам автор, говоря: “Как правило, научные руководители указывают своим аспирантам, что те должны ограничить тему исследования, не пытаться высказать свое мнение по всем важным проблемам лингвистики и не продолжать бесконечно совершенствовать свою рукопись. При написании этой книги я постепенно осознал, что сам нарушаю большую часть принципов, которые внушал своим студентам” (с. ix). Действительно, читатель может обнаружить в книге обсуждение целого ряда “важных проблем лингвистики” и смежных дисциплин, а также множество увлекательных “case studies” (укажем, например, на наличие специальных разделов, посвященных теории информации, роли врожденного компонента при овладении языком, проблеме однонаправленности грамматикализации, свойству обязательности грамматических значений, английским неправильным глаголам, типологии маркирования неотчуждаемой принадлежности, рассмотрению различных типов конструкций с инкорпораци-

⁴ Это касается и образования пиджинов, которые имеют максимально упрощенную грамматическую структуру и сравнительно редуцированный словарь.

ей внутри именной группы и пр.). Наряду с обсуждением теоретических проблем в книге на широком типологическом материале рассматривается большое число конкретных языковых явлений (так, указатель языков включает более 130 названий).

Книга, вне сомнения, будет интересна всем, занимающимся языковыми изменениями, теорией грамматикализации, морфологической типологией, исторической лингвистикой. К недостаткам работы можно отнести разве что то, что местами она имеет слишком "мозаичную" структуру, так что не всегда можно понять, как именно связан тот или иной раздел с основной темой (кроме того, значительная часть понятий и терминов, вводимых автором в первых главах, практически не используется в дальнейшем изложении). Вместе с тем, заключительная глава, несмотря на ее краткость (8 страниц), в значительной мере компенсирует этот недочет. Кроме того, мнение такого ученого, как Э. Даль, по целому ряду "важных проблем лингвистики", в любом случае является интересным, и его трактовка многих языковых явлений отличается глубиной и оригинальностью (из уже упоминавшихся тем отметим рассуждения о функции категории рода, инкорпорирующих конструкциях, проблеме "направленности" грамматикализации и др.).

Из мелких ошибок укажем на то, что на с. 200 (при обсуждении стабильности категории рода/класса) лезгинский и удинский языки упоминаются как единственные представители нахско-дагестанской семьи, утратившие классное согласование. В реальности, однако, таких языков три – к названным относится еще и агульский (также принадлежащий к лезгинской группе).

Можно отметить также техническое несовершенство указателя языков: приводимые в нем страницы зачастую не совпадают с теми, на которых данный язык в реальности упоминается в книге. Впрочем, как справедливо отмечает сам Э. Даль, хотя читатель обычно ожидает во введении к работе ритуальной формулировки типа "Все ошибки принадлежат автору", опре-

деленную ответственность за сохранившиеся ошибки "несет и широко известная компания по производству компьютерных программ, продукты которой иногда притворяются более интеллектуальными, чем они есть на самом деле" (с. ix).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Даль 2000 – Э. Даль. Динамика грамматических моделей // Вторая зимняя типологическая школа. Международная школа-семинар молодых ученых по лингвистической типологии и антропологии. М., 2000.
- Bybee, Dahl 1989 – J. Bybee, Ö. Dahl. The creation of tense and aspect systems in the languages of the world // *Studies in language*. V. 13. № 1. 1989.
- Bybee et al. 1994 – J. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Dahl 1985 – Ö. Dahl. Tense and aspect systems. Oxford, 1985. [<http://www.ling.su.se/staff/oesten/oesten.htm>]
- Dahl 2000a – Ö. Dahl. The tense-aspect systems of European languages in a typological perspective // Ö. Dahl (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe: Empirical approaches to language typology. Berlin, 2000.
- Dahl 2000b – Ö. Dahl. The grammar of future time reference in European languages // Ö. Dahl (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe: Empirical approaches to language typology. Berlin, 2000.
- Dahl (ed.) 2000 – Ö. Dahl (ed.). Tense and aspect in the languages of Europe: Empirical approaches to language typology. Berlin, 2000.
- Dahl 2002 – Ö. Dahl. The stability of linguistic phenomena // Третья зимняя типологическая школа. Международная школа-семинар молодых ученых по лингвистической типологии и антропологии. М., 2002.

Т.А. Майсак

B. Zeisler. Relative tense and aspectual values in Tibetan languages: a comparative study. Berlin: Mouton de Gruyter, 2004. xxv, 986 p.

Тибетский язык является одним из наиболее изученных сино-тибетских языков. Сохранилось много письменных памятников, самые ранние из которых относятся к середине VIII века н. э. Существует большое количество словарей, описаний, грамматик и отдельных ра-

бот, посвященных различным аспектам как классического тибетского, так и современных тибетских диалектов. Однако при всей изученности материала, некоторые вопросы тибетской морфологии до сих пор остаются не совсем ясными. Это, в частности, касается и гла-

гольной системы. Именно этой достаточно широкой теме и посвящена рецензируемая монография Беттины Цайслер "Категории аспекта и относительного времени в тибетских языках".

Автор рассматривает глагольные системы древнетибетского (середина VIII – конец X в. н.э.) и классического тибетского языка (под последним в данной работе понимается средне-тибетский язык XI–XVII вв. н.э.), а также тибетский язык XVII–XIX вв. Помимо этого, в монографии представлены подробные описания глагольных систем основных современных тибетских диалектов: лхасского, на котором говорят в Центральном Тибете и в тибетских общинах Индии и Непала, восточных диалектов амдо и кхам, западных диалектов балти и ладакхи. Автор проводит сравнение отдельных явлений в разных диалектах, а также сравнение глагольных систем в целом. Описание не ограничивается только синхронным уровнем. Б. Цайслер предлагает реконструкцию прототибетской глагольной системы и, что особенно ценно, прослеживает эволюцию глагольной системы тибетского языка от древнетибетского языка до современных диалектов. Тем самым перед нами не разрозненные описания отдельных диалектов, а попытка создания единой и цельной картины развития тибетского языка. Следует отметить, что такой детальный синхронный и диахронический анализ глагольных форм тибетского языка предпринимается впервые.

Исследование имеет типологическую направленность, поэтому на фоне тибетского в книге рассматриваются глагольные системы других языков, такие, как славянские (в том числе болгарский), древнегреческий, романские и германские, а также арабский.

Отдельно следует отметить качество приводимых примеров. К числу несомненных достоинств работы относится то, что исследование построено на реальном языковом материале, т.е. внимательно учитываются употребления глагольных форм в текстах, а не только данные словарей и грамматик. Таким образом анализируются все глагольные формы, независимо от того, считали ли их предшествующие исследователи регулярными или нерегулярными. (Эту особенность анализа отмечает и сам автор в предисловии к книге.) При анализе форм древнего и классического тибетского языков используются тексты соответствующего периода; в случае же современных диалектов привлекаются как тексты и материалы других исследователей, так и материалы, собранные самой Б. Цайслер во время экспедиций в Западный Тибет. Каждое утверждение автора иллюстрируется достаточно большим

числом примеров, а в необходимых случаях приводятся и статистические данные.

Монография состоит из предисловия и четырех частей. В Первой части, которая достаточно объемна и состоит почти из двухсот страниц, рассматриваются существующие в современной лингвистике концепции времени, аспекта и наклонения. Такое пристальное внимание к общим теоретико-типологическим проблемам описания словоизменительных глагольных категорий вызвано тем, что традиционная терминология, использовавшаяся при описании глагольных форм тибетского языка, не всегда удовлетворительна. Так, согласно традиционным тибетским и западным описаниям, тибетский глагол может иметь до четырех основ, которые обычно называются основами прошедшего, настоящего и будущего времени, а также основой императива. Данные тибетских языков свидетельствуют о том, что названия этих основ не соответствуют их употреблению, и, следовательно, их нельзя описать с помощью категорий абсолютного времени и наклонения. Для того, чтобы ответить на вопрос, с помощью каких же грамматических категорий можно описать глагольную систему тибетского языка, автор и обращается к типологическим исследованиям.

Вторая часть посвящена собственно темпоральным и аспектальным категориям тибетского глагола. В первой главе приводятся общие сведения о тибетском языке: его месте среди других сино-тибетских языков, а также классификация и фонетические особенности современных диалектов.

Вторая глава состоит из нескольких разделов и содержит описание тибетского глагола. Все глаголы можно разделить на контролируемые (т.е. обозначающие действия, выполнение которых контролируется агенсом) и неконтролируемые (т.е. обозначающие действия, которые происходят, так сказать, "сами по себе", без участия или намерения агенса). Принадлежность к одному из этих двух классов определяет морфологические особенности глагола. Так, контролируемые глаголы могут иметь все четыре основы, в то время как неконтролируемые могут иметь максимум две основы (настоящего и прошедшего времени). Кроме того, в современных тибетских диалектах от класса глагола зависит падежное оформление агенса и пациенса и выбор вспомогательных глаголов.

Все глагольные основы, образуя различные глагольные формы, имеют несколько функций (или значений), которые устанавливаются из контекстов. Все они приводятся в таблицах, при этом особо отмечаются функции, которые встречаются не во всех тибетских диалектах.

Предполагается, что противопоставление первых двух основ, а именно основ настоящего и прошедшего времени, можно описать с помощью категории относительного времени, т.е. основа “прошедшего времени” указывает на то, что ситуация имела место раньше некоторой другой, а основа “настоящего времени” – на то, что ситуация имела место одновременно или позже. Основа же “будущего времени” выражает скорее необходимость совершения действия, т.е. не темпоральное, а модальное значение. Основа императива изначально служила для выражения возможности совершения действия. В самостоятельных разделах рассматриваются отглагольные имена, отрицательные частицы, категории согласования и эвиденциальности.

После раздела, в котором приводятся общие сведения о тибетском глаголе, рассматриваются конкретные глагольные системы разных тибетских диалектов. Все глагольные системы описываются по единой схеме. В начале каждого описания приводятся сведения о фонетических, морфологических и морфонологических особенностях, а также словоизменительных глагольных категориях данных диалектов. Затем рассматриваются употребление и функции основ будущего, настоящего и прошедшего времени. В конце каждого описания приводятся таблицы, в которых представлены все функции (значения), которые могут принимать глагольные формы. Такая организация материала позволяет легко ориентироваться в тексте, и у читателя появляется четкая картина устройства глагольной системы данных языков.

Вначале описывается древний и классический тибетский язык, т.е. языки письменных памятников, а затем уже глагольные системы языков-потомков, т.е. современных тибетских диалектов. Уже в древнем и классическом тибетском языке основа будущего времени служила для обозначения необходимости действия, и, таким образом, она либо вообще не имела временной соотношенности, либо относилась к будущему. Значение необходимости могло ослабляться, и тогда временное значение становилось главным. Эта форма использовалась, например, в клятвах, обетах, законах, запретах и т. п.

Основа настоящего времени употребляется для описания актуальных ситуаций, находящихся в процессе развития в момент речи, и ситуаций, которые должны произойти в ближайшем будущем, а также для описания привычных ситуаций (общих фактов и привычных действий). Она может использоваться и при описании действий, относящихся к прошлому. Автор специально отмечает, что последнее

употребление обычно не рассматривается тибетскими грамматистами.

Основа прошедшего времени сочетает в себе функции аориста, имперфекта и перфекта. Она может также использоваться для описания ситуаций, которые относятся к будущему или для описания общих фактов. В этом случае акцент делается не на самом действии, а на его результате.

Описывая глагольные формы, автор пытается реконструировать значения отдельных тибетских аффиксов. Эта тема также мало изучена. В принципе доказано, что тибетские аффиксы (имеется в виду древнетибетский и классический тибетский) имеют параллели в других сино-тибетских языках и восходят к сино-тибетским морфемам. Однако их значения и функции до сих пор точно не установлены. Хотя методы внутренней реконструкции не всегда позволяют установить значения аффиксов, приведенный материал, как нам кажется, важен для сравнительного анализа, для сопоставления материалов тибетского языка с другими сино-тибетскими языками.

В четвертом разделе второй главы анализируется глагольная система лхасского диалекта тибетского языка. В этом диалекте нет отдельной основы будущего времени. Специальные морфемы и вспомогательные глаголы, присоединяясь к основам настоящего/будущего и прошедшего времени, образуют различные формы настоящего, прошедшего и будущего времени. В отличие от форм древнетибетского и классического тибетского языков, в лхасском диалекте появляются новые глагольные формы, такие как, например, форма ближайшего будущего. Появляются также формы перфекта, дуратива и комплетива и новые показатели эвиденциальности. Отдельно рассматривается вопрос о падежных показателях агенса и пациенса у разных форм переходных глаголов.

В пятом разделе второй главы описываются глагольные системы восточных тибетских диалектов амдо и хкам. Эти диалекты изучены существенно менее полно, чем лхасский. Тем не менее, имеющиеся данные позволяют составить представление об их глагольной системе. В них также нет отдельной основы будущего времени. Так же, как и в лхасском диалекте, специальные морфемы и вспомогательные глаголы, присоединяясь к основам настоящего и прошедшего времени, образуют различные глагольные формы. Интересно, что в восточных диалектах есть эвиденциальные формы настоящего, будущего и прошедшего времени, которые указывают на то, что говорящий не был свидетелем соответствующих ситуаций, но догадался о них, исходя из наблюдаемых фактов. Соответственно, в этих диалектах есть

несколько перфектных форм глагола. Кроме того, вспомогательные глаголы могут служить для передачи различных фаз действия.

Третья часть книги целиком посвящена западным тибетским диалектам ладакхи, пурик и балти. Б. Цайслер сама занималась изучением диалекта ладакхи, поэтому он рассмотрен максимально полно и подробно. Приводится исчерпывающая библиография по данным диалектам. Для определения границ диалектов подробно рассматриваются фонетические, морфонологические и лексические изоглоссы этого ареала. Отмечается сильное влияние таких языков, как урду, английский и арабский (многие носители западных диалектов – мусульмане), вплоть до угрозы полного исчезновения этих диалектов.

Западные диалекты обладают некоторыми характерными особенностями, отличающими их от всех остальных тибетских идиомов, например, суффикс прошедшего времени -s встречается после любых согласных, что было невозможно в древнетибетском и классическом тибетском. Другой пример – дательный/местный падеж субъекта переходных глаголов, обозначающих неконтролируемое действие (в других языках используется инструментальный падеж).

Как и в других тибетских диалектах, в западных диалектах существуют способы выражения различных фаз действия. В них также используется несколько показателей эвиденциальности (максимально – семь в диалекте лех).

В заключительной, четвертой части предлагается попытка реконструкции глагольной системы тибетского языка от пратибетского уровня к древнетибетскому и классическому тибетскому. Затем рассматриваются разные пути развития глагольных систем современных тибетских диалектов.

Предполагается, что изначально глагольные основы обозначали способы действия и/или модальность. Так, форма императива изначально имела значение возможности, у которой потом появилось вторичное значение императива. Основа будущего времени обозначала необходимость совершения действия. Основы настоящего и прошедшего времени древнетибетского и классического тибетского не противопоставлены как имперфектив и перфектив, т.к. основа прошедшего времени сочетает в себе функции аориста, перфекта и имперфекта. Предполагается, что то, что сейчас называется основой настоящего времени, изначально обозначало просто действие, направленное на изменение объекта, а то, что называется основой прошедшего времени, – результи-

рующее состояние после изменения. Каждая из основ имела свою аффиксальную маркировку.

Рассуждая о семантике основы прошедшего времени, автор анализирует тибетские глаголы с точки зрения количества их форм. Для тибетского глагола важным семантическим признаком является контролируемость/случайность действия. Глаголы, обозначающее осознанное, контролируемое действие морфологически более сложны, т.к. имеют четыре глагольных формы, а неконтролируемые – только две. Таким образом, контролируемые глаголы, будучи более сложными по структуре, являются производными. Автор предполагает, что это восходит к пратибето-бирманскому состоянию, в котором глагольные корни могли обозначать состояния и процессы, происходящие независимо от воли деятеля.

Носители языка и тибетские грамматисты разделяют действия, направленные на объект, и действия, направленные на изменения объекта, для которых этот объект – неотъемлемая часть действия. В первом случае он маркируется дативом/локативом, во втором – никаких падежных окончаний не присоединяется. Предполагается, что такое деление глаголов действия также восходит к пратибето-бирманскому.

Как нам кажется, делать такие общие выводы, основываясь на данные только одного языка из многих, не совсем корректно. Однако такой ход рассуждений задает направление исследования глагольных систем других сино-тибетских языков и, возможно, найдет свое подтверждение в будущем.

Автор предлагает также реконструкцию значений тибетских аффиксов и пути развития их функций и значений. Как уже отмечалось выше, вопрос о значениях тибетских аффиксов до сих пор остается открытым, поэтому попытка автора интерпретировать эту систему, исходя из данных тибетского языка и опираясь на тексты, представляется очень важной для тибетологии и сино-тибетологии. Это позволяет по-новому взглянуть на всю систему сино-тибетских аффиксов в целом, т.к. тибетский язык лучше других сохранил следы общей сино-тибетской морфологической системы. Как нам кажется, этот раздел очень важен для специалистов, занимающихся изучением сино-тибетских языков и реконструкцией морфологической системы праязыка.

Переходя от древнего состояния языка к современному, автор отмечает некоторые общие особенности развития морфологии современных тибетских диалектов, отмечая как функционируют в них старые аффиксы и морфонологические чередования. Рассматривается также эволюция составных глагольных форм,

вспомогательных глаголов, показателей эвиденциальности и т.п.

Отдельно рассматриваются конструкции с вспомогательными глаголами, которые указывают на направление действия к или от говорящего, а также на достижение результата, длительность или интенсивности действия. Похожие глагольные конструкции есть и в современном китайском языке (модификаторы и результативные морфемы).

В заключении автор приходит к выводу, что тибетские глагольные формы следует описывать в первую очередь с помощью категорий наклонения и относительного времени.

Хотя автор пишет, что ее книга ориентирована прежде всего на специалистов-тибетологов, а также типологов, занимающихся глагольными категориями времени и аспекта, нам кажется, что ее читательская аудитория шире. Помимо вышеперечисленных групп ученых, эта фундаментальная монография также представляет большой интерес для компаративистов, занимающихся сравнительным анализом сино-тибетских языков и реконструкцией морфологической системы праязыка, а также специалистов по другим сино-тибетским языкам, в частности, синологов. Специалисты по китайскому языку получают возможность сравнить глагольные системы современных и классических языков, в которых обнаруживаются некоторые сходства. Специалисты в области сино-тибетских языков имеют уникальную возможность, опираясь на материалы всего одной книги, получить исчерпывающие данные о глагольных системах тибетских языков, которые можно использовать для реконструкции глагольной системы прасино-тибетского языка.

Особо хочется отметить значение этой книги для российских ученых. Так сложилось, что в нашей стране крайне мало лингвистов, занимающихся изучением тибетского языка. В нашей стране, как и ранее в Советском Союзе, в основном, изучались отдельные аспекты тибетского языка, но не проводилось комплексного изучения всех языковых уровней. Прежде всего, востоковедов-филологов интересовали религиозные и литературные тексты. Во-вторых, материалы тибетского языка, в первую очередь классического тибетского языка, использовались компаративистами для сопоставления с данными других сино-тибетских языков на предмет составления классификаций, реконструкций сино-тибетской фонетической системы и этимологического словаря сино-тибетских языков. Издание данной монографии позволит включить тибетский язык в сферу научных интересов специалистов в разных областях лингвистики. Хотелось бы, чтобы эта книга была переведена и издана на русском языке и стала бы доступна в библиотеках.

Издательство Mouton de Gruyter, выпустившее эту книгу, уже достаточно давно выпускает монографии, посвященные различным сино-тибетским языкам. Таким образом, эта работа является одной из многих в серии, каждая из которых, на наш взгляд, заслуживает пристального внимания специалистов-востоковедов. Надеемся, что книги этого издательства станут доступными в России, и востоковеды получат возможность быть в курсе последних публикаций западных коллег.

О.М. Мазо

Deixis and demonstratives in Oceanic languages / Ed. by G. Senft. Canberra: Pacific Linguistics, 2004. 204 p.

Рецензируемая книга представляет собой коллективную монографию, посвященную вопросам дейксиса в языках Океании. Идея ее создания возникла в ходе работы семинара под названием "Пространственный дейксис в австронезийских языках", проходившего в ноябре 1998 года в Институте психолингвистики им. Макса Планка (Неймеген, Нидерланды) в рамках Второй Европейской конференции по языкам Океании.

Монография включает в себя предисловие, семь глав, каждая из которых посвящена одному из языков Океании, и, наконец, главу о прото-океанийской дейктической системе.

Предисловие (оно же первая глава монографии) написано организатором упомянутого семинара по пространственному дейксису Г. Зенфтом (Институт психолингвистики им. Макса Планка). Кроме обязательной для подобного жанра краткой аннотации представленных в монографии описаний дейктических систем конкретных языков, предисловие содержит также небольшой экскурс в историю изучения пространственного дейксиса – упомянув о греческом происхождении слова *дейксис*, автор через работы К. Бюлера переходит к современному этапу развития исследований в этой области. Сначала он затрагивает вопрос о различении двух систем ориентации в тех язы-

ках, дейктическая система которых содержит более двух элементов: в первой из этих систем, которую, согласно работам [Fillmore 1982; Anderson, Keenan 1985], обычно называют "ориентированной на расстояние" (Distance-Oriented), средний элемент оппозиции обозначает референт, находящийся на среднем расстоянии от дейктического центра. Во второй системе, "ориентированной на лицо" (Person-Oriented), средний элемент обозначает референт, близкий к адресату. Данное противопоставление активно используется почти во всех представленных в монографии статьях.

Во второй части предисловия Г. Зенфт уточняет, что представляемая им монография посвящена в первую очередь исследованию пространственного дейксиса, а среди всех возможных средств, используемых для пространственной референции (как то: предлоги, послелог, локативные наречия, глаголы движения и проч.) большее внимание будет уделено указательным местоимениям, двухэлементная оппозиция которых присутствует во всех языках мира (см. [Anderson, Keenan 1985: 308]), и которые, по мнению многих исследователей (например [Green 1995: 15]), составляют ядро дейктической системы языка. Однако автор предисловия все-таки выходит за пределы этого традиционного материала и в качестве примера использования указательных жестов (в монографии они систематически не рассматриваются) приводит один из многочисленных интересных фрагментов из недавней статьи Р. Диксона – в языках тукано и аравак, на которых говорят на границе Бразилии и Колумбии, указательные жесты используются аналогично традиционным указательным местоимениям. Так, для того, чтобы обозначить видимый и близкий объект, носители этих языков вытягивают вперед губы; для обозначения видимого и далекого объекта они прибавляют к этому жесту движение головы назад; наконец, в случае невидимого объекта они используют указательный палец, указывающий в направлении этого невидимого объекта [Dixon 2003: 87].

Последующие семь глав монографии, несмотря на географическое разнообразие мест работы авторов, различную методику сбора материала и различный объем самих статей, написаны в едином ключе: после небольшой общей справки о рассматриваемом языке авторы последовательно описывают морфологию, синтаксис, семантику и иногда прагматику употребления дейктических средств. Во многом эти разделы опираются на уже упоминавшуюся работу [Anderson, Keenan 1985], а также на работы Х. Дисселя [Diessel 1999a; 1999b]; разделы, посвященные анафорическому употреб-

лению указательных местоимений, часто апеллируют к известной работе Н. Химмельмана [Himmelman 1996]. В настоящей рецензии мы остановимся лишь на наиболее интересных, на наш взгляд, фрагментах описания дейктических систем конкретных языков, не ставя задачу подробного реферирования каждой главы монографии.

Вторая глава, написанная М. Россом, известным исследователем из австралийского национального университета г. Канберры, посвящена дейксису в языке такиа (западно-океанийский папуасский язык семьи бел), большинство носителей которого живут на вулканическом острове Каркар в провинции Маданг Папуа – Новой Гвинеи. Статья написана по материалам полевой работы автора; она также опирается на нарративные тексты, записанные автором в 1987–88 гг. Язык такиа, по мнению автора, первоначально был языком с системой, ориентированной на лицо – элементы особой *a*-серии описывали объекты, близкие к адресату. Однако в настоящее время этот показатель, по наблюдениям М. Росса, является очень частотным и используется в качестве маркера прагматической определенности (термин Н. Химмельмана [Himmelman 1996]). Таким образом, оказывается, что, с точки зрения семантического противопоставления, язык такиа перешел к более простой, двучленной системе 'близкий-далекий', а средний элемент стал использоваться в качестве основного анафорического средства. Данный факт, на наш взгляд, заслуживает дальнейшего изучения.

В третьей главе А. Маргет (Университет г. Мельбурна, Австралия) рассматривает дейктические средства языка салиба (западно-океанийский папуасский язык, на котором говорят жители острова Салиба в Папуа – Новой Гвинее). Особенностью этой статьи является то, что автор не ограничилась полевой работой и записью текстов различных жанров, она также использовала специальный пространственный опросник по употреблению указательных местоимений в языках мира, созданный в Институте психолингвистики им. Макса Планка [Wilkins 1999]. Подобный опросник, по нашему мнению, служит хорошим подспорьем при полевой работе и порой позволяет выявить очень тонкие различия в употреблении указательных местоимений (этот же пространственный опросник был опробован автором настоящей рецензии при работе с дейктической системой хпокского диалекта агульского языка, см. [Мерданова, Федорова 2002]).

Язык салиба, в отличие от языка такиа, до настоящего времени сохранил трехчленную систему, ориентированную на лицо (однако, описывая данное противопоставление, автор

настоящей статьи почему-то ссылается на психолингвистическое исследование [Kemmerer 1999], а не на работы-первоисточники [Fillmore 1982; Anderson, Keenan 1985]. А. Маргет отмечает асимметрию между сферой действия говорящего и сферой действия адресата – в первом случае она оказывается заметно уже, чем во втором. Подобная же асимметрия была обнаружена нами в хпюкском диалекте агульского языка [Мерданова, Федорова 2002: 225]; при этом стоит отметить, что оба факта были обнаружены при работе с одним и тем же пространственным опросником [Wilkins 1999].

Четвертая глава (автор Г. Зенфт, он же редактор сборника и автор предисловия) посвящена описанию пространственного дейксиса в языке киливила (западно-океанийский папуасский язык, на котором говорят жители островов Тробрианд в Папуа – Новой Гвинее). Данное исследование, пожалуй, носит самый фундаментальный характер – оно опирается на многолетнюю (девять экспедиций с 1982 по 1998 гг.) полевую работу автора, одного из активных участников “пространственного” проекта Института психолингвистики им. Макса Планка. Отличительной особенностью языка киливила считается обилие самых разнообразных именных классификаторов; автор утверждает, что в киливила их более двух сотен. Именные классификаторы в киливила активно используются при дискурсивном дейксисе – анафорическое местоимение образуется из пространственного местоимения путем прибавления того или иного классификатора. Таким образом, носителям этого языка удастся сводить к минимуму риск референциального конфликта – Г. Зенфт приводит небольшой фрагмент нарратива, в котором анафорическое местоимение появляется в тексте через 16 предложений после первого упоминания данного референта, сохраняя при этом однозначность интерпретации.

Язык пилени (полинезийский язык, на котором говорит примерно около тысячи жителей небольших коралловых островов, входящих в Соломоновы острова) описывается А. Нэссом (Университет г. Осло, Норвегия) в пятой главе. Статья написана на основании анализа нарративных текстов; автор также использует изданный в 1966 г. сборник сказок на языке пилени. Как и все описанные в предыдущих главах языки, язык пилени изначально имел трехчленную систему, ориентированную на лицо. Как и в вышеописанном языке такиа (глава 2), это противопоставление в современном языке претерпевает изменения. На первый взгляд кажется, что эти изменения очень похожи на изменения, происходящие в такиа – средний член оппозиции начиная все чаще и

чаще использоваться в анафорической функции, постепенно теряя значение близости к адресату. Однако А. Нэсс считает данные изменения свидетельством эволюции дейктической системы языка пилени от трехчленной, ориентированной на лицо, к трехчленной, ориентированной на расстояние. Впрочем, в этом конкретном случае аргументация автора (частотность употребления описываемого показателя, использование его в идиомах) не представляется нам достаточно убедительной.

Шестая глава написана И. Бриль (Национальный центр научных исследований, Париж, Франция) на материале языка нелемва, одного из канакских языков, на котором говорят на севере Новой Каледонии. Источник получения языкового материала в тексте статьи не указан, зато в приложении к работе приводится небольшой фрагмент рассказа на данном языке. Язык нелемва имеет трехчленную систему, ориентированную на расстояние – в нем выделяются указательные местоимения, обозначающие объекты, находящиеся близко к говорящему, на среднем расстоянии от него и далеко от говорящего. Удивительной особенностью языка нелемва является тот факт, что указательные прилагательные в нем, употребляясь как в препозиции, так и в постпозиции к имени, выполняют при этом разные прагматические функции: употребляясь в препозиции, они обозначают новый, только вводимый объект, а в постпозиции, наоборот, отсылают к уже известному, данному, объекту.

В седьмой главе Ф. Озан-Ривьер (Национальный центр научных исследований, Париж, Франция) описывает пространственный дейксис в языке иаи (язык Новой Каледонии, на котором говорят примерно две с половиной тысячи жителей острова Увеа). Автор опирается в первую очередь на свою полевую работу, проведенную в 1977 и 1983 гг., а также использует изданный еще в 1948 г. сборник, состоящий из 50 текстов, фрагмент одного из которых приводится в приложении к данной работе. Настоящая глава по объему является самой маленькой в сборнике, она состоит всего из неполных десяти страниц. Как нам представляется, обилие таблиц и другого фактографического материала в этой статье не подкреплено необходимым количеством комментариев и аргументацией, поэтому, на наш взгляд, читателю трудно сделать какие-либо серьезные выводы о структуре и функциях дейктической системы языка иаи. Несомненным представляется только тот факт, что система языка иаи является трехчленной, ориентированной на лицо.

Восьмая глава (автор У. Мозель, Университет г. Киль, Германия) посвящена описанию

указательных местоимений самоанского языка, одного из наиболее известных полинезийских языков, который наравне с английским является официальным языком Западного и Восточного Самоа. Можно сделать вывод, что автор не испытывал недостатка в материале – наряду с устными и письменными нарративами он привлекает к анализу даже самоанские письма, посылаемые по электронной почте. Данная глава является самой большой как по количеству страниц, так и по объему и разнообразию представленного материала. Автор последовательно рассматривает синтаксис и семантику указательных местоимений, пространственных имен, указательных частиц, глаголов движения, пространственных и временных наречий, подчеркивая при этом взаимосвязь различных элементов дейктической системы самоанского языка. Также подробно рассмотрены и различные анафорические средства описываемого языка.

Заключительная – девятая – глава настоящей монографии написана М. Россом (он же автор второй главы) и посвящена описанию элементов дейктической системы языков Океании в диахронической перспективе. По мнению автора, протосистема языков Океании была трехчленной, ориентированной на лицо, а четвертый член данной системы был зарезервирован для выражения анафорических отношений.

Подводя итог сказанному выше, можно сказать, что, во-первых, данная монография чрезвычайно интересна содержащимися в ней эмпирическими данными. Особенно ценно то, что большинство примеров дается в контексте, что позволяет читателю самостоятельно оценить правильность тех или иных выводов авторов. Учитывая недоступность для российского читателя описаний практически всех рассмотренных языков, за исключением самоанского, даже небольшие тексты, содержащиеся в приложении к некоторым главам, также представляют большой интерес.

Во-вторых, данная монография вносит весомый вклад в создание теоретической базы описания дейктических систем языков мира – некоторые описанные в книге дейктические феномены являются если не уникальными, то достаточно редкими и еще не нашли своего исчерпывающего описания в рамках общей дейктической типологии. Особенно, как нам представляется, это касается поведения среднего элемента трехчленной оппозиции в языках такиа и пилени.

Придирчивый критик мог бы посоветовать, что выборка языков, представленных в монографии, далека от совершенства – наряду с тем, что в нее включены по два представителя полинезийских (пилени, самоанский) и папуасских (салиба, киливила) языков, некоторые большие группы языков Океании не представлены вовсе (например, микронезийские языки). Однако, на наш взгляд, это не особенно снижает ценность данного сборника – безусловно полезного как лингвистам, интересующимся языками Океании, так и типологам, занимающимся вопросами дейксиса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Мерданова, Федорова 2002 – *С.Р. Мерданова, О.В. Федорова*. Дейктическая система хьюкского диалекта агульского языка // Исследования по теории грамматики. Вып. 2. Грамматикализация пространственных значений/В.А. Плунгян (ред.). М., 2002.
- Anderson, Keenan 1985 – *S. Anderson, E. Keenan*. Deixis // *Language typology and syntactic description*/T. Shopen (ed.). 1985. V. 3.
- Diessel 1999a – *H. Diessel*. Demonstratives: form, function, and grammaticalization. Amsterdam, 1999.
- Diessel 1999b – *H. Diessel*. The morphosyntax of demonstratives in synchrony and diachrony // *Linguistic typology*. 1999. V. 3.
- Dixon 2003 – *R.M.W. Dixon*. Demonstratives: a cross-linguistic typology // *Studies in language*. 27. 2003.
- Fillmore 1982 – *Ch.J. Fillmore*. Towards a descriptive framework for spatial deixis // *Speech, place and action: Studies in deixis and related topics*. Chichester, 1982.
- Himmelmann 1996 – *N. Himmelmann*. Demonstratives in narrative discourse: A taxonomy of universal uses // *Studies in Anaphora* / B. Fox (ed.). Amsterdam, 1996.
- Green 1995 – *K. Green*. Deixis // *New essays in deixis: discourse, narrative, literature*/K. Green (ed.). Amsterdam, 1995.
- Kemmerer 1999 – *D. Kemmerer*. “Near” and “far” in language and perception // *Cognition*. 73. 1999.
- Wilkins 1999 – *D.R. Wilkins*. The 1999 demonstrative questionnaire: “THIS” and “THAT” in comparative perspective // *Manual for 1999 field season*. Version 1.0. Nijmegen, 1999.

О.В. Федорова

В известном африканистическом издательстве Р. Кёппе (Кёльн) с интервалом в два года появились описания двух малоизученных языков банту Восточной Африки – гусии и курия. Речь идет о двух близкородственных языках, входящих в одну языковую зону и имеющих индексы Е.42 (гусии) и Е.43 (курия) по классификации М. Гасри. Языки распространены на соседних территориях: курия в юго-западной Кении и северо-восточной части Танзании; гусии – в юго-западной части Кении, в провинции Южная Ньянза. На данных языках говорят этносы гусии (абагусии) и курия (абакурия). Их соседями являются бантуязычные народы, говорящие на языках логоли, ната, занакки, а также народы, говорящие на нилотских языках (луо и др.). Общее число говорящих на курия в 2003 г., по данным автора, составляло несколько более 440 тыс. человек. Число говорящих на гусии значительно выше. По данным Дж. Камменги, в настоящее время на гусии говорят от 1 до 1.5 млн. человек. Определенный интерес представляет рост числа говорящих на этих языках в течение нескольких последних десятилетий. В большей степени это относится к языку гусии, число говорящих на котором увеличилось с 250 тыс. в 1956 году до 1.5 млн. чел. в настоящее время. И это происходит несмотря на сильное влияние соседних языков – луо, суахили (государственный язык Кении и Танзании), английского, что само по себе вызывает многочисленные изменения в языке, особенно у молодого поколения (так, Дж. Камменга пишет, что никто из его информантов гусии от 12 до 30 лет не знал старые названия месяцев). С другой стороны, сами информанты отмечают определенный интерес носителей к своему родному языку. Несмотря на то, что язык гусии малоизвестен, он играет большую роль в жизни Кении.

Один из первых исследователей языка гусии В. Вайтли писал о незначительных диалектных различиях в гусии, характерных как для фонетики, так и для грамматики и лексики. Дж. Камменга, напротив, выделяет в гусии диалект южный мугиранго, который заметно отличается от всех других вариантов/диалектов языка (северный мугиранго, гетуту, бассии и др.); при этом автор отмечает, что наиболее “аутентичным” гусии в глазах носителей является вариант гетуту. В области фонетики различия касаются инвентаря фонем. Так, в южном мугиранго представлена аффриката *ɕ*, в то время как в других диалектах ей соответствует *s*. В области лексики для лексемы ‘мяч’ су-

ществуют разные варианты: *emboombo* (в южном мугиранго) и *omopiira* (в гетуту), причем, последняя лексема является заимствованием, и вполне вероятно, в языке употребляются оба варианта – исконный и заимствованный.

В основе настоящего описания языка курия Дж. Камменги лежит вариант/диалект ньябааси (Nyabaasi), на котором говорят также представители племен кира, иреге, ренчока.

В своих описаниях языков гусии и курия, и прежде всего гусии, Дж. Камменга в значительной степени опирается на работы В. Вайтли, которого он считает своим учителем в этой области, однако, с другой стороны, полемизирует с ним по многим вопросам. Так например, определенные сомнения вызывают у Дж. Камменги минимальные пары, иллюстрирующие противопоставление по долготе-краткости в гусии. Дж. Камменга считает примеры не вполне корректными, так как в них не учитывается видимое вмешательство тонов. Опровергается также утверждение В. Вайтли, что наречия не имеют морфологических показателей – ни префиксов, ни суффиксов. Дж. Камменга обращает внимание и на другие неточности в интерпретации В. Вайтли различных явлений, считая при этом, что подобная критика оправдана стремлением к более адекватному описанию языка.

Граматики языков гусии и курия Дж. Камменги являются достаточно полными монографическими описаниями. Обе работы строятся по единому композиционному плану. В силу этого факта, а также генетической и типологической близости этих языков представляется вполне разумным сделать общий обзор основных положений данных монографий.

Большое внимание в работах уделяется анализу фонетики, фонологии и морфонологии (порядка 200 страниц). Определяется инвентарь фонем, формулируются многочисленные морфонологические правила, реализующиеся в языках в различных морфосинтаксических позициях. В данном разделе представлена и просодика, исчерпывающаяся анализом тональной системы. Дж. Камменга дискутирует с английским лингвистом В. Вайтли по поводу тонов, считая положения последнего недостаточными и отчасти не вполне корректными. Однако и свои собственные исследования в этой области он считает недостаточными и предварительными, требующими в дальнейшем специального глубокого анализа. Дж. Камменга ссылается также на работы Д. Оддена, пристально занимающегося про-

блемами тонологии, в частности, и на материале языков Восточной Африки.

Раздел “Морфология” содержит анализ основных разрядов слов, включая имя существительное, прилагательные, местоимения, числительные, глагол и наречия. С нашей точки зрения, представляется не вполне оправданным неравномерное внимание, уделяемое автором различным разделам книги (и разрядам слов). Так, если в языке курия описание фонетики и фонологии занимает более половины всего объема, в гусии – третью часть, то анализ имени существительного со всеми многочисленными проблемами, включая морфологический, согласовательный и семантический аспекты, укладывается всего в 40–50 страниц.

Набор именных классов (ИК), предлагаемый Дж. Камменгой для обоих языков, несколько отличается от набора, принятого другими исследователями, например, В. Вайтли. Дж. Камменга вводит несколько подклассов (1b, 9a, 10a) и особый класс (21), отсутствующий в традиционной системе К. Майнхофа. М. Гасри и других бантуистов. По нашему мнению, дополнения эти не вполне оправданы, так как префиксы существительных, дающие основания исследователю выделять подклассы 9a (*en-*) и 10a (*cin-*), являющиеся алломорфами префиксов классов 9 (*e-*) и 10 (*ci-*), условия реализации которых определяются контекстом. Тем более представляется неоправданным выделение класса 21 с префиксом *n'a* (*nya*), так как этот традиционный бантуский класс в других языках имеет совсем иную морфологию и семантику. С нашей точки зрения, имена с префиксом *n'a* (а также с префиксами *ke-/ge*, *bul/bo*) относятся к классу 9a (не путать с именами на *en-*, входящими в 9 кл.), поскольку имеют согласовательную парадигму, полностью (за исключением базового имени) совпадающую с парадигмой класса 9. В плане семантики речь идет об особой группе имен, включающей имена собственные, прозвища людей или домашних животных по внешнему виду (масти, форме рогов, их наличию или отсутствию и проч.), а также топонимы. В частности, такая интерпретация данных классов содержится в работах [Аксенова, Топорова 1994; (рук.)].

Большое внимание в обеих работах Дж. Камменги уделено проблемам деривации. Анализируются основные средства деривации, включая префиксацию, суффиксацию, редупликацию и т.д., и их использование применительно к различным разрядам слов.

Вызывает сожаление отсутствие в монографиях раздела “Синтаксис”, но, очевидно, автор не ставил себе такой задачи в данном случае.

Разделы, посвященные глаголу в языках гусии и курия, содержат описание глагольных

форм самых различных грамматических и деривационных разрядов, отличающееся полнотой охвата материала и скрупулезностью анализа.

В монографии выделяются глагольные формы, служащие для выражения морфосинтаксических значений. К этим разрядам форм относятся субъектные и объектные местоименно-согласовательные показатели глагола, а также аффиксы, служащие для выражения пассивного залога и значений актантной деривации, таких как каузатив, аппликатив, реципрок, декаузатив, рефлексив.

Наиболее системный характер имеет описание инвентаря глагольных форм аспектуальности, времени и наклонения. В соответствии с линейным характером форм аспектуальности, времени и модальности в языках банту при описании данных форм не проводится подразделения форм по категориальному признаку – на видовые, темпоральные и модальные. Описание построено как перечисление рядов (или серий) парадигм, основанных на признаке лично-числового спряжения. Особенно полно и многообразно представлена парадигматическая система форм аспектуальности, времени и модальности в гусии. Аспектно-темпорально-модальная система форм гусии уникальна в том отношении, что при относительно небольшом числе аффиксов, участвующих в образовании форм, инвентарь аспектно-темпорально-модальных (синтетических) форм, образованных на основе многочисленных и разнообразных комбинаций аффиксов и различающихся также тонами, насчитывает более ста пятидесяти единиц. Все эти формы с приписываемыми им значениями зарегистрированы в монографии Дж. Камменги. Для видо-временной системы глагола гусии характерно большое число форм с полисемантическими многовариантными планами содержания, и наряду с этим многие формы служат для выражения одних и тех же значений. Монография построена таким образом, что в большинстве случаев глагольные словоформы приводятся вне контекста синтаксических конструкций или дискурса. Если предположить, что значения некоторых из таких синонимичных форм включают какие-то синтаксические или модальные признаки, реализующиеся в условиях синтаксического или прагматического контекста, то наличие более обширного иллюстративного материала могло бы еще более точно раскрыть содержание ряда форм.

В монографии большое внимание уделяется рассмотрению систем маркированного в глаголе субъектного и объектного согласования и местоименного субъекта и объекта. В параграфе, посвященном объектным показателям,

приводятся многочисленные примеры глагольных форм с цепочками объектных показателей. В работах авторов, ранее занимавшихся проблемой объектных показателей глагола на материале языка гусии, отмечались формы с двумя объектными показателями. В рецензируемом описании впервые в истории изучения гусии демонстрируются глагольные словоформы с тремя и даже четырьмя объектными показателями. Судя по данным, приводимым Дж. Камменгой, линейный порядок объектных показателей не является жестко фиксированным и связанным с реализацией определенных дейктических или ролевых значений. Объектные показатели, занимающие одну и ту же линейную позицию и имеющие одно и то же дейктическое значение, могут выражать различные ролевые значения, и, напротив, одно и то же ролевое значение может быть выражено посредством показателей, занимающих различные линейные позиции. При отсутствии примеров, в которых глагольные словоформы употребляются в различных синтаксических и дискурсивных контекстах, трудно определить, что именно является фактором, влияющим на реализацию определенного ролевого значения объектного показателя, и что является ориентиром для слушающего при определении того, какое ролевое значение говорящий приписывает тому или иному объектно-му аффиксу.

В монографии содержится описание элемента, который в русскоязычной бантуистике обозначается как “начальная гласная” префиксов существительных, а в англоязычной литературе как “augment”. Начальная гласная существительных ряда именных классов в гусии имеет способность опускаться в определенных случаях и рассматривается многими лингвистами как значимый элемент-аффикс. При этом тип синтаксических конструкций и тип дискурса играет немаловажную роль при выборе варианта префикса с или без начальной гласной. В работе Дж. Камменги существительные, противопоставленные по наличию/отсутствию начальной гласной именного префикса, рассматриваются в связи с принадлежностью имени к определенному именному классу и в связи с лексическим значением существительного. Такой подход несколько сужает диапазон значений, выражаемых существительными с начальной гласной и без нее.

Впрочем, автор рецензируемых описаний не ставит своей задачей всестороннее исследование планов содержания глагольных форм, но концентрирует внимание на плане выражения, а именно, на особенностях морфонологических процессов, происходящих при комбини-

ровании аффиксов различных разрядов в рамках одной глагольной словоформы.

Описание морфологии, и в частности, описание видо-временной системы глагола гусии, проведенное Дж. Камменгой, является продолжением и дополнением работы выдающегося британского африканиста В. Вайтли [Whiteley 1960]. Работа В. Вайтли явилась основой, на которую ориентировался Дж. Камменга. Дж. Камменга самым тщательным образом регистрирует обнаруженные им расхождения между данными, содержащимися в работе В. Вайтли, и данными, полученными им самим в ходе работы с информантами, проводившейся через тридцать с лишним лет после исследований В. Вайтли, корректирует неточности и пополняет сведения, отсутствующие в работе его предшественника.

Отмеченные расхождения относятся главным образом к тоновой характеристике ряда глагольных форм, для которых тон играет роль грамматического смысловозначительного элемента. Некоторые расхождения отмечены и в определении семантического содержания некоторых форм. Правда, сам Дж. Камменга замечает при этом, что в ряде случаев расхождения могут объясняться особенностями идиолектов носителей языка. Заметим, что с нашей точки зрения, расхождения, о которых говорит автор описания, могут объясняться также изменениями, появившимися в языке народа гусии за довольно значительный период времени, разделяющий работы этих исследователей. Тем более, что народ гусии находится в тесной географической близости и в тесном контакте с носителями нилотского языка луо.

Сам автор считает свой труд по описанию языков гусии и курия далеко не полным и требующим дальнейшей доработки и уточнений во многих областях.

Несмотря на высказанные замечания и некоторые уточнения, факт появления двух грамматик близкородственных языков Восточной Африки – гусии и курия – Дж. Камменги является важным событием для бантуистов и может служить полезным стимулом для дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Аксенова, Топорова 1994 – *И.С. Аксенова, И.Н. Топорова*. Язык курия. М., 1994.
Аксенова, Топорова (рук.) – *И.С. Аксенова, И.Н. Топорова*. Грамматика языка гусии. М. (рук.).
Whiteley 1960 – *W.H. Whiteley*. The tense system of Gusii. Kampala, 1960.

И.С. Аксенова, И.Н. Топорова

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международная конференция “Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка – IV)”

Проведение конференций, посвященных актуальным проблемам исследования социальных вариантов языка, стало традиционным в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова. 21–22 апреля 2005 г. в НГЛУ на базе филологического факультета прошла международная конференция “Язык в современных общественных структурах (социальные варианты языка – IV)”. В оргкомитет конференции, который возглавил ректор НГЛУ Г.П. Рябов, вошли заведующие кафедрами русского языка ведущих вузов Нижнего Новгорода, а также представители Администрации г. Нижнего Новгорода.

Данный форум является уже четвертым, и организаторы намерены продолжить эту серию, учитывая пожелания участников, было принято предварительное решение в дальнейшем проводить конференции с такой тематикой один раз в два года.

Заявки и материалы для публикации прислали более ста сорока ученых из 37 городов Российской Федерации, Украины и Финляндии. В форуме участвовали лингвисты из сложившихся научных центров – Волгограда, Воронежа, Москвы, Перми, Пскова, Саратова, – а также представители продуктивно работающих в данной сфере лингвистики вузов Йошкар-Олы, Липецка, Орехова-Зуева, Череповца и др.

На конференции работали следующие секции: “Общие проблемы социальной диалектологии”, “Социальные варианты языка и лексикография”, “Социальное варьирование в области концептосферы языка”, “Социальные и территориальные диалекты и литературный язык”, “Особенности языка отдельных социальных групп”, “Факторы социального варьирования языка”, “Языковая личность”, “Отражение социального варьирования языка в рек-

ламе и СМИ”, “Социальные варианты языка в диахронии”.

Конференция начала свою работу с пленарного заседания. М.А. Грачев (Нижний Новгород) отметил недостаточную изученность молодежного жаргона как явления, с одной стороны, характеризующего состояние речевой культуры молодежи, с другой – содержащего определенные интенции языкового развития. Одной из важнейших задач лингвистической науки в настоящее время докладчик считает поиск средств сохранения традиционной речевой культуры как в молодежной среде, так и в российском обществе в целом.

На распространение нарушений литературной нормы в устной речи политиков, представителей СМИ, вузовских работников указала Ю.С. Язикова (Нижний Новгород). По ее мнению, так называемая “демократизация” языка противоречит “традиционно сформировавшемуся в русском обществе отношению к литературно-языковой норме как обязательной характерной черте литературного языка”.

На необходимость создания четкой и непротиворечивой терминологии в сфере неологии обратил внимание А.Т. Липатов (Йошкар-Ола). Докладчик отметил, что особую область исследований образуют неологизмы, рождающиеся в недрах сленга, и показал особенности семантических отношений между литературным и сленговым лексическим материалом.

Значительный интерес вызвал доклад Т.Н. Синеоковой (Нижний Новгород), посвященный теоретическим и прикладным аспектам исследований речевых явлений при измененных состояниях сознания. Возможность использования психолингвистических методик при изучении социальных вариантов языка обещает открыть новые возможности как для психолингвистики, так и для социолингвистики.

Секционные заседания, проходившие 21 и 22 апреля, характеризовались оживленной дискуссией. Как отметили участники конференции на заключительном пленарном заседании, общий уровень докладов можно характеризовать как весьма высокий. Среди прочитанных докладов следует выделить выступление Т.В. Романовой (Нижний Новгород), которая обратила внимание на возможность интеграции методик исследования социолингвистики и когнитивной лингвистики. О проблемах, связанных с созданием двуязычного словаря социолектизм, рассказала О.С. Сапожникова (Нижний Новгород). Весьма содержательным и интересным был доклад Е.В. Ерофеевой (Пермь), выделившей переходные формы существования языка, существующие между территориальными диалектами и литературным языком. Живой интерес участников вызвало выступление Н.Н. Шарандиной (Тамбов), посвятившей свой доклад отражению гедонистских устремлений в аргументации. Дискуссионными и содержательными были доклады В.С. Захарова (Орехово-Зуево), В.М. Никонова (Липецк) и ряда других участников.

В середине второго дня был проведен круглый стол участников конференции по актуальным проблемам изучения социальных вариантов языка. Перед началом круглого стола с докладом выступили организаторы конференции Г.В. Глинских и М.А. Грачев (Нижний Новгород), предложившие участникам высказаться по комплексу вопросов, затрагивающих теорию и практику социолингвистических исследований. Как отметили докладчики, на сегодняшний день при изучении социальных вариантов языка преобладает эмпирический подход. Разнообразие классификаций, зачастую

создаваемых по принципу *ad hoc*, делает практически несопоставимыми результаты анализа. Отсутствие более или менее общепринятых классификационных принципов для описания социальных вариантов языка тормозит дальнейшее развитие исследований.

Докладчики остановились также на необходимости разработки новых подходов для изучения чрезвычайно динамичного материала социальных вариантов языка. Использование традиционных методик лишь частично решает проблему. В этой связи представляется перспективным привлечь для изучения социолектов методы психолингвистики и когнитивной лингвистики. В качестве первого шага в этом направлении в Нижегородском лингвистическом университете создана лаборатория социопсихолингвистических исследований. Одной из важнейших задач, стоящих перед лабораторией, является объединение усилий ученых, работающих в рамках данных лингвистических направлений, для изучения различных характеристик социальных вариантов языка.

Проблемы, затронутые в докладе, нашли отклик у присутствующих, которые приняли живое участие в их обсуждении. В ходе дискуссии было отмечено, что назрела необходимость создать терминологический словарь социолектологии. Выступавшие высказались в поддержку основных идей доклада организаторов конференции.

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги работы секций, были высказаны пожелания о регулярности проведения конференций по данной проблематике.

Г.В. Глинских, М.А. Грачев
(Нижний Новгород)

CONTENTS

A.L. Zaliznjak, V.L. Yanin. (Moscow) Birch codici from excavatoins of 2005; G.A. Zolotova (Moscow). On the possibilities of grammatical science; I.A. Sekerina (New York) The method of event-related brain potential in experimental psycholinguistics; A.I. Solopov (Moscow). Toponyms with elements *Augusta*, Σεβαστή, Σεβάστεια, Σεβαστόπολις, Αὐγουστόπολις in Greek-Latin geographical nomenclature; W. Breu (Konstanz). Inflective and derivational verbal aspect in Molisian-Slavonic language; N.Sh. Alexandrova (Berlin). Native language, foreign language and linguistic phenomena having no name; E.M. Vereščagin (Moscow) Viacherlav Ivanov's. "Tale of Svetomir" read in narrative "poglasitsa"; **Reviews:** M.V. Vsevolodova (Moscow). *O.N. Seliverstova*. Works in semantics; E.V. Velmezova (Moscow). *M.A. Robinson*. The fates of academic élite: Russian Slavonic linguistics (1917 – begining of the 1930-th); I. B. Agranat (Moscow). *E.Yu. Protasova*. Finnish Russians: life and usage of language; T.A. Maisak (Moscow). *Ö. Dahl*. The growth and maintenance of linguistic complexity; O.M. Mazo (Moscow). *B. Zeisler*. Relative tense and aspectual values in Tibetan languages: a comparative study; O.V. Fedorova (Moscow). Deixis and demonstratives in Oceanic languages; I.S. Aksenova, I.N. Toporova (Moscow). *J. Cammenga*. Phonology and morphology of Ekegusii. A Bantu language of Kenya. *J. Cammenga*. Igikuria phonology and morphology. A Bantu language of South-West Kenya and North-West Tanzania. **Chronical features:** G.V. Glinskikh, M.A. Gračev (Nizhni Novgorod). International conference: "Language and contemporary social variants of language-IV".

Сдано в набор 21.02.2006	Подписано к печати 20.04.2006	Формат 70 × 100 ¹ / ₁₆
Офсетная печать	Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 18,7 тыс.	Уч.-изд. л. 15,6 Бум. л. 5,0
	Тираж 1412 экз.	Зак. 1316

Свидетельство о регистрации № 0110167 от 4 февраля 1993 г.
в Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредитель: Российская академия наук

Издатель – Научно-производственное объединение «Издательство «Наука»»,
117997 Москва, Профсоюзная, 90
Адрес редакции: 119019, Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-25-16
Оригинал-макет подготовлен МАИК «Наука/Интерпериодика»
Отпечатано в ППП «Типография «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 6